

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Похищенная бацилла
Герберт Джордж Уэллс

Аннотация
Герберт Джордж Уэллс. Похищенная бацилла
Похищенная бацилла
В обсерватории Аву
Цветение странной орхидеи
Гордость набивщика чучел
Остров Эпиорниса
Человек, который делал алмазы
Отпечаток большого пальца
Бабочка Genus novo
Замечательный случай с глазами Дэвидсона
Над жерлом домны
Эликсир Уэйда
В бездне
Морские пираты
История Платтнера
Что произошло с покойным мистером Элвеше-мом
Хрустальное яйцо
Звезда
Бог по имени Джимми Лупоглазый
«Новейший ускоритель»

Филмер
Правда о Пайкрафте
Игрок в крокет

Аннотация

Герберт Уэллс – не только автор культовых романов, но и мастер малой прозы. Его рассказы словно окна в будущее, раскрывающие загадки времени, пространства и души. Встречи с неведомыми реликтами, сохранившимися с древних времен, тайны, что поджидают человечество на дне океана, порталы в другие миры, трагедии непризнанных гениев и многое другое – все это есть на страницах книги.

В сборник вошли «В бездне», «Цветение странной орхидеи», «Остров Эпиорниса», «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» и другие рассказы, а также поздняя повесть «Игрок в крокет».

Герберт Джордж Уэллс
Похищенная бацилла

© Перевод. Э. Березина, наследники, 2026
© Перевод. Н. Дехтерева, наследники, 2024
© Перевод. М. Загот, 2026
© Перевод. Н. Рахманова, 2026
© Перевод. К. Чуковский, наследники, 2026
© Перевод. С. Рюмин, 2024
Школа перевода В. Баканова, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Похищенная бацилла

— А это, — сказал Бактериолог, вкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, — это препарат холерной бациллы — зародыш холеры.

Бледный человек заглянул в микроскоп. Он, по-видимому, не привык к подобным вещам и заслонял свободный глаз тонкой белой рукой.

— Я почти ничего не вижу, — сказал он.

— Поверните этот винт, — сказал Бактериолог. — Может быть, микроскоп поставлен для вас не в фокусе. Зрение бывает ведь различное. Легкий поворот в ту или другую сторону.

— Ага! Теперь вижу, — сказал посетитель, — хотя тут, собственно говоря, и видеть-то нечего. Маленькие полоски и розовые нити. И эти крошечные частицы, эти незаметные атомы могут размножиться и опустошить целый город? Поразительно!

Он выпрямился и, вынув стеклянную пластинку из микроскопа, повернул ее к свету.

— Чуть-чуть видно, — сказал он, рассматривая препарат. Он запнулся. — Они живые? Они сейчас опасны в таком виде?

— Они окрашены и умерщвлены, — сказал Бактериолог. — Как бы я хотел, чтобы мы были в состоянии окрасить и убить все бациллы холеры, имеющиеся в мире!

— Я думаю, — сказал с легкой улыбкой бледный человек, — вы вряд ли станете держать около себя подобные экземпляры в живом, активном состоянии?

— Наоборот. Ведь нам это необходимо, — сказал Бактериолог. — Ну, вот, например… — Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из герметически закупоренных пробирок. — Вот вам живой экземпляр. Это культура настоящей живой болезнетворной бактерии. — Он запнулся. — Холера, разлитая, так сказать, в бутылки…

Слабый отблеск удовлетворения скользнул по лицу бледного человека.

— Чертовски опасно иметь при себе такую штуку, — сказал он, пожирая трубочку глазами.

Бактериолог наблюдал, как болезненное удовольствие оживляло лицо его посетителя. Этот человек, явившийся к нему с рекомендательной запиской от старого приятеля, заинтересовал его именно в силу противоположности их натур. Длинные черные волосы и запавшие серые глаза, блуждающий взор и нервные жесты, порыви-

стый, обостренный интерес гостя представляли для Бактериолога прелесть новизны. Как это не походило на флегматические рассуждения людей науки, с которыми Бактериологу главным образом приходилось иметь дело. И естественно, что ему захотелось перед таким впечатлительным слушателем блеснуть парочкою смертоносных эффектов.

Бактериолог задумчиво держал пробирку в руке.

— Да, — сказал он, — это холера в плену. Стоит только разбить такую пробирку над резервуаром питьевой воды и сказать этим крошечным живым частицам, которые видимы, только когда они окрашены, да и то под самым сильным микроскопом, и не имеют ни запаха, ни вкуса, — стоит только сказать им: «Ступайте, растите и размножайтесь и наполняйте цистерны», — и смерть, таинственная, неуловимая смерть, смерть быстрая и ужасная, мучительная и бесстыдная, будет выпущена в город и начнет бродить по площадям и закоулкам в поисках жертв. Здесь она отнимет мужа от жены, там — ребенка у матери; здесь оторвет государственного деятеля от его долга, там — труженика от его забот. Она проскользнет в водопроводную магистраль и поползет вдоль

улиц, захватывая и карая дома, в которых не хотят кипятить питьевую воду. Она заберется в заведения искусственных минеральных вод, смешается с салатом и притаится в мороженом. Она спрячется в водопое для лошадей и будет подстерегать неосторожных детей в питьевом фонтане на площади. Она просочится в почву и снова появится в родниках и колодцах, в тысяче нежданных мест. Только пустите ее в водопровод — и прежде чем мы сумеем окружить ее и захватить, она истребит всю столицу.

Бактериолог вдруг замолчал. Ему не раз говорили, что красноречие — его слабость.

— Но здесь она не страшна. Здесь она совершенно безопасна.

Бледный человек кивнул головой. Его глаза сверкнули. Он откашлялся.

— Эти подлецы анархисты, — сказал он, — безумцы, слепые безумцы. Зачем бросать бомбы, когда есть такой способ. Я думаю…

Послышался легкий стук — едва заметное прикосновение ногтей к наружной стороне двери. Бактериолог открыл дверь.

— На одну минуту, милый, — шепнула его жена.

Когда он вернулся в лабораторию, гость его

смотрел на часы.

— Я никак не думал, что заставил вас потерять со мной целый час, — сказал он. — Без двенадцати четыре… Я должен был уйти отсюда в половине четвертого. Но ваши препараты, право, более чем интересны. Нет, я положительно должен бежать. У меня деловое свидание в четыре.

Он пошел к выходу, рассыпаясь в благодарностях. Бактериолог проводил его до парадной двери и задумчиво пошел по коридору обратно в лабораторию. Он думал о национальности своего посетителя. «Этот человек определенно не принадлежит ни к тевтонскому типу, ни к латинскому; какой-то нездоровый выродок, — подумал Бактериолог. — Как он смотрел на эти бациллы!» Внезапная мысль встревожила его. Он повернулся к столу около паровой ванны, а затем поспешно бросился к своему письменному столу. Потом он торопливо обшарил карманы и кинулся к двери. «Я, может быть, оставил ее на столе в столовой», — подумал он и хрипло закричал:

— Минни!

— Что, милый? — донесся издали голос его жены.

— Было у меня что-нибудь в руке, когда я разговаривал с тобой?

Пауза.

— Ничего не было, милый. Я помню это потому, что…

— Черт возьми! — воскликнул Бактериолог и немедленно помчался к парадному ходу, а оттуда по лестнице выскочил на улицу.

Минни, услышав резкое хлопанье двери, испуганно кинулась к окну. В конце улицы худой человек садился в кеб. Бактериолог — без шляпы, в ночных туфлях — бежал, отчаянно жестикулируя, по направлению к кебу. Он потерял одну туфлю, но это не остановило его. «Он сошел с ума, — сказала Минни. — Проклятая наука!» И, открыв окно, она хотела окликнуть его. Худой человек вдруг оглянулся и был, по-видимому, поражен той же мыслью. Он поспешно указал вознице на Бактериолога и что-то сказал ему. Фартук кеба защелкнулся, кнут взвился, копыта лошади застучали, и в одну минуту кеб и рьяно преследующий его Бактериолог промчались по улице и скрылись за углом.

Минни с минуту стояла, высунувшись из окна, и затем отошла. Она была подавлена. «Конечно, он всегда отличался эксцентричностью, — раздумывала она, — но бежать по Лондону в разгар сезона в одних носках…»

Счастливая мысль пришла ей в голову. Она поспешно надела шляпу, схватила башмаки мужа, сняла с вешалки его шляпу и летнее пальто и, выбежав на улицу, окликнула кеб, очень кстати проезжавший мимо.

— Поезжайте прямо и потом по Хейвлок-кресцент, пока мы не увидим джентльмена, который бежит по улице в бархатной куртке и без шляпы.

— Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Хорошо, мэм!

И возница деловито хлестнул лошадь, словно он всю жизнь привык гоняться за джентльменами в бархатных куртках и без шляп.

Через несколько минут маленькая группа извозчиков и зевак, которая толпится всегда вокруг извозчичьей биржи на Хейверсток-Хилле, была поражена зрелищем бешено мчавшегося кеба, запряженного худой пегой клячей.

— Это Гарри Хикс. Что с ним такое? — сказал полный мужчина, известный под прозвищем Старого Тутлса.

— Ну и жарит же он ее кнутом, вот это да! — сказал конюх.

— Глядите-ка, — сказал старикан Томми Байлс, — еще один сумасшедший. Ей-ей, он спятил!

— Это Джордж, — сказал Старый Тутлс. — И он везет сумасшедшего, ты верно сказал. Смотрите! Да он сейчас вывалится. Что за черт! По-моему, он гонится за Гарри Хиксом…

Группа вокруг извозчичьей биржи оживилась. Раздались возгласы: «Валяй, Джордж!», «Вот это скачки!», «Догоняй его!», «Жарь кнутом!».

— Как на бегах! — сказал конюх.

— Провались я на этом месте! — закричал Старый Тутлс. — Я, кажется, сам рехнусь через минуту. Еще один. Гляди-ка, еще один едет. Да что это? Все кебы в Хемпстеде спятили, что ли, сегодня?

— Глядите-ка, баба! — сказал конюх.

— Она за ним гонится, — сказал Старый Тутлс. — Обыкновенно бывает наоборот.

— Что у нее в руке?

— Да смахивает на шляпу.

— Вот так дьявольская потеха! Держу три против одного за старого Джорджа, — сказал конюх. — Идет?

Минни проехала под гром рукоплесканий. Это ей не особенно понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг. Она ехала, не спуская глаз со спины старого Джорджа, который с таким непонятным азартом мчал прочь от нее ее блуд-

ного мужа.

Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, плотно скрестив руки. Он сжимал в кулаке маленькую пробирку, заключавшую в себе такие огромные возможности разрушения. Его настроение было странным смешением страха и упоения. Он боялся главным образом того, что его схватят раньше, чем он выполнит свое намеренье, но за этим таился более смутный, но и более сильный страх перед чудовищностью его преступления. И вместе с тем восторг его значительно превышал его страх. Еще ни один анархист даже не приблизился к его идее. Равашоль, Вайян — все эти знаменитости, славе которых он так завидовал, — что они в сравнении с ним! Ему нужно только добраться до воды и разбить эту маленькую пробирку над резервуаром. Как блестяще он задумал весь этот план! Он подделал рекомендательное письмо и проник в лабораторию. А как блестяще он воспользовался случаем! Наконец-то мир услышит о нем. Все эти людишки, которые издевались над ним, пренебрегали им, предпочитали ему других, находили его общество не интересным, — о, теперь они вынуждены будут считаться с ним! Смерть, смерть, смерть! Они всегда обращались с ним, как с ничтожеством.

Весь мир был в заговоре, чтобы держать его в неизвестности. Он им покажет теперь, что значит обходить такого человека. Какая-то знакомая улица. Сэнт-Эндрюс-стрит. Ну да, конечно. Как обстоит дело с погоней? Он высунулся из кеба. Бактериолога отделяют от него едва пятьдесят ярдов. Это плохо. Его могут поймать. Он пошарил в кармане и нащупал полсоверена. Он протянул деньги через окошечко на крыше кеба прямо в лицо вознице.

— Вот еще! — сказал он. — Только бы удрать.

Монета мигом исчезла из его рук.

— Ладно! — сказал возница. Окошечко захлопнулось, и кнут скользнул по лоснящемуся крупу лошади. Кеб покачнулся, и анархист, привставший под окошечком, опустил руку, державшую стеклянную пробирку, на фартук кеба, чтобы сохранить равновесие. Он почувствовал, как хрупкая пробирка треснула, и отломившаяся половина ее упала со звоном на пол кеба. Он с проклятьем упал на сиденье и с отчаянием смотрел на две-три капли жидкости на фартуке.

Он вздрогнул.

«Что ж? Вероятно, я буду первой жертвой. Пусть. Во всяком случае я буду мучеником. Это чего-нибудь да стоит. Но это гнусная смерть, как-никак…

Хотел бы я знать, неужели это действительно так мучительно...»

Вдруг его осенила мысль. Он начал шарить под ногами. Маленькая капля еще висела на обломанном конце трубочки. Он проглотил ее, чтобы действовать наверняка. Лучше действовать наверняка. Во всяком случае он уж не промахнется!

Затем он сообразил, что ему больше незачем спасаться от Бактериолога.

На Уэллингтон-стрит он велел извозчику остановиться и вышел из кеба. Он поскользнулся на подножке и почувствовал, что в голове у него неладно.

Быстро действующая штука — этот холерный яд.

Мановением руки он, так сказать, вычеркнул извозчика из своей жизни и стоял теперь на тротуаре, скрестив руки на груди, ожидая появления Бактериолога. В его позе было нечто трагическое. Сознание неминуемой смерти придавало ему какое-то величие. Он приветствовал своего преследователя вызывающим смехом.

— Vive l'anarchie![1] Вы опоздали, мой друг! Я

---

[1] Примечания: 1

Да здравствует анархия! (*франц.*) — *Примеч. ред.*

выпил это. Холера на свободе.

Бактериолог, не вылезая из кеба, с любопытством уставился на него сквозь очки.

— Вы это выпили? Анархист. Ага, понимаю.

Он хотел еще что-то сказать, но сдержался.

Улыбка зазмеилась в уголке его рта. Он расстегнул фартук кеба, собираясь вылезти. Увидев его движение, анархист попрощался с ним драматическим жестом руки и направился к мосту Ватерлоо, старательно задевая своим зараженным телом как можно большее число людей. Бактериолог был так поглощен этим зрелищем, что даже не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни с его шляпой, башмаками и пальто.

— Очень любезно, что ты принесла мне мои вещи, — сказал он, все еще не сводя глаз с удаляющегося анархиста. — Отчего ты не садишься в кеб? — прибавил он, не поворачивая головы.

Минни теперь окончательно убедилась, что он сошел с ума, и, на свою ответственность, приказала вознице ехать домой.

— Надеть башмаки? Конечно, милочка, — сказал он, когда кеб повернул и скрыл от его взора гордо выступающую черную фигурку, казавшуюся маленькой вдали. Затем ему вдруг пришла в

голову какая-то забавная мысль, и он засмеялся. Потом заметил: «Как-никак это все-таки очень серьезно».

— Понимаешь, этот субъект оказался анархистом. Пожалуйста, не падай в обморок… Как я тогда доскажу тебе эту историю до конца? Я хотел поразить его — я не знал, что он анархист, — и показал ему культуру этого нового вида бактерий, о которой я говорил тебе, что они, по моему предположению, вызывают синие пятна у многих обезьян. Я по глупости сказал ему, что это азиатская холера. И он сбежал с этой пробиркой, чтобы отравить лондонский водопровод. Этот почтенный город мог основательно посинеть. А теперь он проглотил содержимое пробирки. Разумеется, я не могу сказать наверно, что с ним будет, но ты знаешь — котенок окрасился в синий цвет, и три щенка покрылись пятнами, а воробей стал ярко-голубым. Вся беда в том, что мне предстоят теперь снова хлопоты и расходы, чтобы приготовить новую культуру… Надеть пальто? Зачем? Ведь страшно жарко. Ах, потому, что мы можем встретить миссис Джаппер? Милочка, миссис Джаппер ведь не сквозняк. С какой стати мне надевать пальто в такой жаркий день из-за какой-то миссис… Ну, хорошо, хорошо.

1894

В обсерватории Аву

Обсерватория Аву на острове Борнео стоит на вершине горы. К северу от нее поднимается потухший вулкан, черный ночью, на фоне безбрежной синевы неба. От небольшого круглого здания с грибовидным куполом склоны круто обрываются вниз к мрачным тайнам тропического леса. Ярдах в пятидесяти от обсерватории находится домик, где живут главный астроном и его помощник, а немного поодаль — хижины их туземных слуг.

Тэдди, начальник обсерватории, болел лихорадкой и не выходил из дому. Его помощник Вудхауз постоял немного, любуясь тропической ночью, прежде чем приступить к своей одинокой вахте. А ночь выдалась на редкость тихая. Время от времени в хижинах туземцев слышались голоса и смех или из таинственной глубины леса доносился крик какого-нибудь неведомого зверя. Словно призраки, появлялись из мрака ночные насекомые и порхали вокруг фонаря. Вудхауз, может быть, думал о том, как много неизвестного еще таится в черной чаще там, внизу, ибо для

естествоиспытателя девственные леса Борнео — до сих пор страна чудес, полная удивительных загадок и едва намечающихся открытий. Желтый огонь фонаря, который он держал в руке, спорил с бесконечной гаммой цветов, от лилово-голубого до черного, в которые был окрашен ландшафт. Лицо и руки Вудхауза были смазаны мазью, предохраняющей от укусов москитов.

Даже в наши дни, когда научились фотографировать небо, нелегко работать в обсерватории временного типа, оборудованной только телескопом и самыми примитивными приборами, ибо приходится вести наблюдения в неудобной позе и подолгу не двигаться. Вудхауз вздохнул, когда подумал о предстоящей ему утомительной ночи, потянулся и вошел в обсерваторию.

Читатель, весьма возможно, знаком с устройством обыкновенной астрономической обсерватории. Здание строится в форме цилиндра с очень легкой полукруглой крышей, которую можно вращать изнутри. В центре на каменной подставке стоит телескоп, а часовой механизм, компенсирующий вращение земного шара, позволяет не выпускать из поля зрения намеченную к наблюдению звезду. Помимо этого, у основания телескопа имеется целая система колес и винтов,

с помощью которых астроном его регулирует. В подвижной крыше, разумеется, есть прорез, перемещающийся при обозрении неба вместе с объективом телескопа. Наблюдатель сидит или лежит на наклонной деревянной скамье, которую он может откатывать в любое место в зависимости от положения телескопа. Чтобы наблюдаемые звезды казались ярче, в обсерватории должно быть темно, насколько это возможно.

Когда Вудхауз вошел в круглое здание, пламя фонаря ярко разгорелось, и окружающий мрак отступил в черные тени позади огромного телескопа, а потом, когда пламя начало слабеть, снова разлился по всему помещению. Через прорез в крыше виднелась бездонная прозрачная синева неба, в которой шесть звезд сияли тропическим блеском, и их сияние роняло бледный отсвет на черную трубу телескопа. Вудхауз переместил крышу; перейдя к телескопу, он повернул сначала одно, затем другое колесо, и огромный цилиндр медленно качнулся и занял новое положение. Потом он посмотрел в искатель, маленький подсобный телескоп, еще немного сдвинул крышу, сделал кое-какие приготовления и пустил часовой механизм. Он снял куртку, потому что ночь была очень жаркой, и откатил на место

неудобную скамейку, к которой был прикован на ближайшие четыре часа. Вздохнув, он покорно приступил к наблюдению над тайнами пространства.

В обсерватории стало тихо, огонь в фонаре постепенно меркнул. Далеко в лесу какой-то зверь порою рычал от страха или боли или звал свою самку, а у хижин переговаривались слуги-малайцы. Вот один из них затянул странную песню, которую время от времени подхватывали остальные. Вскоре все они, по-видимому, улеглись спать, потому что больше никаких звуков оттуда не долетало, и шепчущая тишина ночи становилась все более и более глубокой.

Мерно тикал часовой механизм. Москит назойливо гудел, исследуя все уголки помещения, и загудел еще злее, когда налетел на покрытое мазью лицо Вудхауза. Потом погас фонарь, и обсерватория погрузилась во мрак.

Телескоп медленно передвигался, и Вудхаузу пришлось изменить позу, когда сидеть стало совсем уже неудобно.

Он наблюдал за небольшой группой звезд в Млечном Пути, в одной из которых его начальник заметил или вообразил странную игру цвета. Это не входило в работу, для которой обсервато-

рия была предназначена, и, очевидно, именно потому Вудхауз испытывал глубокий интерес. Он, должно быть, отрешился от всего земного. Все его внимание было направлено на огромный синий круг в поле телескопа — круг, усеянный, как казалось, неисчислимым множеством звезд и сверкающий в своей черной оправе. Ему чудилось, что он стал бестелесным, словно сам парил в эфире. Бесконечно далеко было бледно-красное пятнышко, за которым он наблюдал.

Вдруг звезды скрылись. На миг их заслонило что-то черное, потом они появились снова.

— Вот странно, — сказал Вудхауз. — Птица какая, что ли?

Явление повторилось, и тотчас же огромная труба качнулась, как от сильного толчка. Потом в куполе обсерватории раздался ряд громовых ударов. Звезды словно смело в сторону, когда телескоп, который не был закреплен, сдвинулся с прореза в крыше.

— Великий боже! — воскликнул Вудхауз. — Что здесь происходит?

Казалось, какое-то огромное черное тело, хлопая подобием крыльев, барахтается в прорезе. Через мгновение отверстие в крыше снова очистилось, и светлый туман Млечного Пути засиял

тепло и ярко.

Внутренняя поверхность крыши была совершенно черной, и только какое-то царапанье выдавало присутствие неизвестного существа.

Вудхауз поднялся со скамейки. От неожиданности его бросило в пот, и он весь дрожал. Где это существо, кто бы оно ни было, здесь или снаружи? Во всяком случае, ясно: оно очень большое. Что-то пронеслось мимо прореза, и телескоп качнулся. Вудхауз вздрогнул и поднял руку. Значит, оно в обсерватории, здесь, с ним! Оно, должно быть, уцепилось за крышу. Что же это, черт возьми? И видит ли оно в темноте?

С минуту он стоял в полном оцепенении. Зверь, кто бы он там ни был, царапался с внутренней стороны купола, потом что-то захлопало крылом почти у самого лица Вудхауза, и он увидел мимолетный отблеск звездного света на шкуре, подобной промасленной шагреневой коже. Сильным ударом со столика сбросило графин.

Ощущение, что какое-то существо, похожее на птицу, летает в нескольких ярдах от его лица, было чрезвычайно неприятно Вудхаузу. Когда к нему вернулась способность соображать, он решил, что это, видимо, какая-нибудь ночная птица или огромная летучая мышь. Как бы то ни

было, он должен увидеть, что это такое; достав из кармана спичку, он чиркнул ею о подставку телескопа. Протянулась дымящаяся полоска фосфорического света, спичка на мгновение вспыхнула, и он заметил взмах огромного крыла, глянец серо-коричневой шерсти, и в ту же минуту на его лицо обрушился удар, и спичку вышибло из руки. Зверь метил Вудхаузу в голову, когти рванули его щеку. Он пошатнулся и упал, послышался звон разлетевшегося вдребезги фонаря. Последовал новый удар. Вудхауз был оглушен и чувствовал, как по щеке у него течет теплая кровь. Инстинктивно он понял, что в опасности глаза; желая защитить их, он перевернулся лицом вниз и сделал попытку уползти под телескоп.

Теперь он получил удар в спину и почувствовал, как разорвалась рубашка, а потом неведомое существо ударилось о крышу обсерватории. Он протиснулся, насколько мог, глубже между деревянной скамейкой и трубой прибора, так что незащищенными оказались главным образом ноги. Ими он сможет по крайней мере лягнуть. Он все еще не отдавал себе отчета в происходящем. Странное существо металось в темноте и вдруг вцепилось в телескоп, телескоп закачался, загрохотал приводной механизм. Один раз оно за-

хлопало крыльями совсем рядом, и он, не помня себя, нанес удар и почувствовал под ногой мягкое тело. Теперь он был ужасно перепуган. Оно, очевидно, очень большое, если так качнуло телескоп. На миг он увидел контур головы, черной в звездном свете, с остроконечными торчащими ушами и гребнем между ними. Она показалась ему величиной с голову большой собаки. Тут он стал что есть силы звать на помощь.

Тогда тварь напала на него снова. В эту минуту его рука нащупала что-то рядом на полу. Он лягнул наугад, и в следующее мгновение в его лодыжку впились острые зубы. Он снова закричал и попробовал освободить ногу, отчаянно брыкаясь другой. Потом он сообразил, что под рукой у него разбитый графин, и, схватив его, приподнялся, пошарил во мраке и поймал бархатистое ухо, напоминавшее ухо большой кошки. Он сжал в руке горлышко графина и обрушил сильный удар на голову странного зверя. Он повторил удар и потом стал колоть и тыкать обломанным краем графина туда, где, как ему казалось, была морда.

Маленькие зубы разжались. Вудхауз высвободил ногу и сильно лягнул ею. Его затошнило, когда под каблуком у него хрустнули кости. Он почувствовал зубы зверя у себя на руке и ударил

повыше, туда, где, по его расчетам, была морда; удар пришелся по мокрой шерсти.

Наступила передышка, потом он услышал царапанье когтей и звук волочащегося по полу тяжелого тела. Потом все смолкло, только слышалось, как порывисто дышал Вудхауз и зверь зализывал раны. Все было черно, кроме квадрата синего неба со сверкающими пылинками звезд, под которым теперь силуэтом обрисовывался край трубы телескопа. Ожидание тянулось нескончаемо долго.

Неужели оно нападет снова? Вудхауз пошарил в кармане брюк и нашел еще одну спичку. Он попробовал зажечь ее, но пол был мокрый, и она зашипела и погасла. Он выругался. Было непонятно, где находится дверь. В пылу битвы он совсем потерял ориентацию. Неведомый зверь, встревоженный вспышкой света, зашевелился снова.

— Тайм! — крикнул Вудхауз в порыве внезапного веселья, но зверь не напал на него. «Должно быть, я ранил его разбитым графином», — подумал он и почувствовал тупую боль в ноге. Вероятно, идет кровь. Интересно, удержится ли он на ногах, если встанет. Ночь была удивительно тихой. Не доносилось ни малейшего звука. Эти сонные болваны не слышали ни хлопанья

крыльев о крышу, ни его криков, незачем кричать понапрасну. Чудовище забило крыльями, и это заставило его принять оборонительное положение. Он ударился локтем о скамейку, и она с грохотом опрокинулась. Он выругал сначала скамейку, а потом окружающий мрак.

Внезапно квадрат звездного света словно закачался из стороны в сторону. Что он, теряет сознание? Только этого не хватало! Он сжал кулаки и стиснул зубы, стараясь овладеть собой. Где же, в конце концов, дверь? Ему пришло в голову, что он мог бы определить это по звездам, видимым в прорез крыши. Звезды, которые он увидел, находились в созвездии Стрельца и к юго-востоку от него, — значит, дверь должна быть на севере. Или это будет северо-запад? Он напряженно думал. Если бы удалось открыть дверь, он мог бы убежать. Очень возможно, что эта тварь ранена. Ждать больше стало невмоготу.

— Вот что! — сказал Вудхауз. — Если ты не нападаешь, я сам нападу на тебя.

Тут оно стало карабкаться по стене обсерватории, и он увидел, как черная тень постепенно закрывает прорез. Что оно, удирает? Он забыл о двери, прислушиваясь, как шатается и скрипит купол. Теперь он почему-то не испытывал больше

ни страха, ни возбуждения. Им овладела какая-то странная слабость. Резко очерченный квадрат света с пересекающим его черным силуэтом становился все меньше и меньше. Это казалось удивительным. Вудхауз чувствовал сильную жажду, но не собирался достать чего-нибудь попить. Ему казалось, что он проваливается в какую-то бесконечно длинную трубу.

Он почувствовал, что ему обжигает горло, и до его сознания дошло, что уже совсем светло и один из слуг-даяков как-то странно смотрит на него. Потом над ним очутилось перевернутое лицо Тэдди. Чудак этот Тэдди, как это он так ходит? Сознание стало проясняться, и он понял, что голова его лежит у Тэдди на коленях и тот вливает ему в рот бренди. А потом он увидел трубу телескопа, всю измазанную красным. Он начал вспоминать.

— Ну и беспорядок вы устроили в обсерватории, — сказал Тэдди.

Мальчик-даяк сбивал желток с бренди, Вудхауз проглотил эту смесь и приподнялся. Он почувствовал острую боль. У него были забинтованы нога, и рука, и половина лица. Осколки стекла, запятнанные красным, валялись на полу, скамейка опрокинулась, и у противоположной стены

виднелась темная лужица. Дверь была растворена, и он увидел серую вершину горы на фоне ослепительно-голубого неба.

— Фу! — сказал Вудхауз. — Кто это здесь резал телят? Уведите меня отсюда.

Потом он вспомнил страшного зверя и свою борьбу с ним.

— Что это было? — сказал он Тэдди. — Что это за тварь, с которой я дрался?

— Вам лучше знать, — сказал Тэдди. — Но не думайте об этом сейчас. Дать еще попить?

Тэдди, однако, очень хотелось поскорее все узнать, и ему пришлось выдержать большую борьбу с самим собой, чтобы выполнить свое намерение оставить Вудхауза в покое, уложить его в постель и дать ему выспаться после дозы мясного экстракта, который Тэдди считал для него полезным. Потом они вместе обсудили ночное происшествие.

— Больше всего, — сказал Вудхауз, — оно было похоже на огромную летучую мышь. У него короткие остроконечные уши, мягкая шерсть и перепончатые крылья. Зубы у него небольшие, но дьявольски острые, челюсть, однако, вряд ли особенно сильная, иначе оно прокусило бы мне ногу.

— Оно почти так и есть, — сказал Тэдди.

— Насколько я понял, оно довольно ловко пускает в ход когти. Вот, кажется, и все, что мне известно об этом звере. Мой разговор с ним был хоть и интимным, если можно так выразиться, но отнюдь не откровенным.

— Даяки толкуют что-то о большом колуго, клангутанге, что бы это ни означало. Он редко нападает на человека, но вы, наверно, его раздразнили. Они говорят, что бывает большой колуго и маленький колуго, и еще какой-то, с непонятным названием. Все они летают ночью. Мне известно, что в этих местах водятся летающие крысы и летающие лемуры, но они не такие крупные.

— Есть многое на небе и земле, — сказал Вудхауз, и Тэдди вздохнул, услышав эту цитату, — и в частности в лесах Борнео, что и во сне твоей учености не снилось. Впрочем, если фауна Борнео вздумает обрушить на меня еще какую-либо неожиданность, я предпочел бы, чтобы она сделала это не ночью, когда я работаю в обсерватории совсем один.

1894

Цветение странной орхидеи

Покупка орхидей всегда сопряжена с известной долей риска. Перед вами сморщенный бурый корень — во всем остальном полагайтесь на собственное суждение, или на продавца, или на удачу, как вам угодно. Может, растение это обречено на гибель или уже погибло, может, вы сделали вполне солидную покупку, стоящую потраченных денег, а может — и так не раз бывало, — перед вашим восхищенным взором медленно, день за днем, начнет разворачиваться нечто невиданное: новое богатство формы, особый изгиб лепестков, более тонкая окраска, необычная мимикрия. Гордость, краса и доходы расцветают вместе на нежном зеленом стебле, и как знать, возможно, и слава. Ибо для нового чуда природы необходимо новое имя, и не естественно ли окрестить цветок именем открывшего его? «Джонсмития»! Что ж, встречаются названия и похуже.

Быть может, надежды на такое открытие и сделали из Уинтера Уэдерберна завсегдатая цветочных распродаж — надежды и, вероятно, еще

то обстоятельство, что у него не было в жизни никаких других сколько-нибудь интересных занятий. Это был робкий, одинокий, довольно никчемный человек со средствами, достаточными для безбедного существования, и недостатком духовной энергии, которая заставила бы его искать занятий более определенных. Он мог бы с равным успехом коллекционировать марки или монеты, переводить Горация, переплетать книги или открывать новые виды диатомеи[2]. Но вышло так, что он занялся выращиванием орхидей, и все его честолюбивые помыслы оказались сосредоточены на маленькой садовой оранжерее.

— Почему-то мне кажется, — сказал он однажды за кофе, — что сегодня со мной непременно что-нибудь случится. — Говорил он медленно — так же как двигался и думал.

— Ах, ради бога, не говорите об этом! — воскликнула экономка, его кузина. Для нее туманное «что-нибудь случится» всегда означало лишь одно.

— Нет, вы меня неверно поняли. Я не имею в виду ничего неприятного… хотя что я, собственно, имею в виду, я и сам не знаю.

---

[2] Примечания: 2

Диатомея — кремнистая водоросль. — *Здесь и далее примеч. пер. (где не указано иное).*

— Сегодня, — продолжал он, помолчав, — у Питерсов распродажа кое-каких растений из Индии и с Андаманских островов. Хочу заглянуть к ним, посмотреть, что у них там хорошего. Как знать, а вдруг я приобрету что-нибудь ценное? Может, это предчувствие.

Он протянул чашку за второй порцией кофе.

— Это растения, собранные тем несчастным молодым человеком, о котором вы мне на днях рассказывали? — спросила экономка, наливая кофе.

— Да, — ответил Уэдерберн и задумался, так и не донеся до рта кусочек поджаренного хлеба.

— Со мной никогда ничего не случается, — заговорил он, продолжая свои мысли вслух. — Почему, хотел бы я знать. С другими происходит все что угодно. Взять хотя бы Харви. Только на прошлой неделе в понедельник он нашел шестипенсовик, в среду все его цыплята заболели вертячкой, в пятницу приехала двоюродная сестра из Австралии, а в субботу он вывихнул ногу. Целый водоворот волнующих событий по сравнению с моей жизнью.

— На вашем месте я предпочла бы поменьше волнений, — сказала экономка. — Не думаю, чтоб они пошли вам на пользу.

— Да, конечно, это беспокойно. Но все же… Вы подумайте, ведь со мной никогда ничего не случается. Когда я еще был мальчуганом, я ни разу не пережил ни одного приключения. Я рос и никогда не влюблялся. Так никогда и не женился. Хотел бы я знать, что испытывает человек, когда с ним случается что-нибудь действительно необычное. Этому любителю орхидей было всего тридцать шесть — он был на двадцать лет моложе меня, — когда он умер. А он был дважды женат, один раз разводился, четыре раза болел малярией и один раз сломал себе берцовую кость. Однажды он убил малайца, в другой раз его ранили отравленной стрелой. И в конце концов он погиб в джунглях от пиявок. Все это, разумеется, очень беспокойно, но зато как интересно, за исключением разве только пиявок.

— Все это не пошло ему на пользу, я уверена, — проговорила леди убежденно.

— Да, пожалуй. — Уэдерберн взглянул на часы: — Двадцать три минуты девятого. Я выеду без четверти двенадцать, времени у меня хватит. Я думаю надеть летний пиджак — сегодня достаточно тепло, — серую фетровую шляпу и коричневые ботинки. Дождя, мне кажется…

Он кинул взгляд сперва на безоблачное небо и

залитый солнцем сад за окном, затем, с тревогой, на лицо кузины.

— Я считаю, все-таки лучше взять зонтик, раз вы едете в Лондон, — сказала она тоном, не допускающим возражений. — Туда и обратно дорога не очень-то близкая.

Уэдерберн вернулся под вечер в необычном для него взволнованном состоянии. Он совершил покупку. Редко случалось, чтобы он действовал решительно, но на этот раз было именно так.

— Это ванды, а это дендробии и палеонофис, — перечислял он. Глотая суп, он любовно созерцал свои приобретения. Он разложил их перед собой на белоснежной скатерти и, пока обедал, сообщал кузине всяческие о них подробности. По заведенному обычаю каждую свою поездку в Лондон он заново переживал по возвращении, что доставляло удовольствие и ему и его слушательнице.

— Я так и знал, что сегодня что-нибудь произойдет. И вот я купил все это… Некоторые из них — я почему-то положительно убежден в этом, — некоторые из них окажутся замечательными. Ну как будто кто-то сказал мне, что будет именно так, а не иначе. Вот эта, — он указал на сморщенный корень, — не определена. Не то палеонофис, не то что-то другое. Весьма возможно, что это новый

вид или даже новый род. Это как раз последний экземпляр из того, что собрал бедняга Баттен.

— Мне неприятно смотреть на это. У нее отвратительная форма

— На мой взгляд, она пока лишена всякой формы.

— Ужасно не нравятся мне эти торчащие отростки.

— Завтра они спрячутся в горшке под землей.

— Похоже на паука, притворившегося мертвым.

Уэдерберн улыбался и, склонив голову набок, рассматривал корень.

— Да, признаться, не очень красивый образчик. Но об этих растениях никогда нельзя судить по корню. Может оказаться прекраснейшая орхидея. Сколько дел у меня на завтра! Сегодня вечером я должен обдумать, как мне рассадить все это, а уж завтра примусь за работу.

— Беднягу Баттена нашли в мангровом болоте — не то мертвым, не то умирающим, — вскоре заговорил он опять. — Одна из этих орхидей лежала под ним, примятая его телом. Уже несколько дней перед тем он был болен местной лихорадкой, очевидно, он потерял сознание; эти мангровые болота очень вредны для здоровья. Говорят,

болотные пиявки высосали из него всю кровь, всю до единой капли. Может, именно вот эта орхидея, которую он пытался достать, и стоила ему жизни.

— От этого она не кажется мне лучше.

— Пусть жены сетуют, удел мужей трудиться, — изрек Уэдерберн с глубочайшей серьезностью.

— Только подумать — умереть без всякого комфорта, в каком-то отвратительном болоте! Лежать в лихорадке, и ничего, только хлородин и хина, — если мужчин предоставить самим себе, они будут питаться одним хлородином и хиной, — и никого поблизости, кроме этих противных туземцев! Я слыхала, что все туземцы Андаманских островов ну просто ужасны, во всяком случае, едва ли можно ждать от них хорошего ухода за больным, раз никто их тому не обучал. И все это лишь для того, чтобы в Англии, кто пожелает, мог купить орхидеи!

— Разумеется, удобств там мало, но некоторые находят удовольствие в таком образе жизни, — сказал Уэдерберн. — Во всяком случае, туземцы, которые участвовали в экспедиции Баттена, были настолько культурны, что хранили собранные им растения, пока не вернулся его коллега, орнитолог. Хотя, правда, они дали орхидеям завянуть

и не смогли объяснить, к какому виду они принадлежат. Именно поэтому эти растения меня так интересуют.

— Именно поэтому они вызывают во мне отвращение. Я не удивлюсь, если окажется, что на них бациллы малярии. Только представить себе — на этих безобразных корешках лежало мертвое тело. Боже мой, мне сначала это не пришло в голову. Нет, заявляю категорически: я больше не в состоянии куска в рот взять.

— Я приму их со стола, если хотите, и переложу на скамейку у окна. Мне их оттуда так же хорошо видно.

В течение последующих дней он действительно с головой ушел в работу — возился в своей оранжерейке с углем, кусочками тикового дерева, мохом и другими таинственными аксессуарами всякого, кто выращивает орхидеи. Он считал эти дни преисполненными событий. По вечерам он рассказывал друзьям о новых орхидеях. И снова и снова говорил о своем предчувствии чего-то необычного.

Несколько ванд и дендробий погибло, несмотря на все заботы, но странная орхидея вскоре начала показывать признаки жизни. Он был в восторге, когда обнаружил это, и тут же потащил свою ку-

зину в оранжерею, не дав ей доварить варенье.

— Это бутон, — пояснял он, — а тут скоро будет множество листьев. А вот эти маленькие отростки — это воздушные корешки.

— Как будто из бурой массы торчат белые пальцы, — сказала экономка. — Нет, они мне не нравятся.

— Почему же?

— Не знаю. Похоже на пальцы, готовые схватить. Я не вольна в своих симпатиях и антипатиях.

— Не могу, конечно, поручиться, но, насколько мне известно, подобных воздушных корешков нет ни у одного вида орхидей. Впрочем, может, это моя фантазия. Посмотрите-ка, на концах они немного сплющены.

— Они мне не нравятся, — повторила экономка и, вздрогнув, отвернулась. — Я понимаю, это глупо с моей стороны, и очень о том сожалею, раз вы-то от них в таком восторге. Но у меня из головы не выходит этот труп.

— Но разве обязательно это то самое растение? Ведь это только мои догадки.

Она пожала плечами:

— Все равно они мне не нравятся.

Уэдерберна слегка задело такое отвращение к

его орхидее. Но это не помешало ему толковать об орхидеях вообще и об этой в частности, как только у него являлась к тому охота.

— Сколько всегда занятного с этими орхидеями, — сказал он как-то, — столько возможностей и неожиданностей. Дарвин изучал их оплодотворение и доказал, что все строение самого обыкновенного цветка орхидеи приспособлено к тому, чтобы насекомые могли переносить пыльцу с растения на растение. Но существует множество уже известных видов орхидей, которые не могут быть оплодотворены таким образом. Например, некоторые из киприпедий — не известно ни дно насекомое, которое могло бы переносить с него пыльцу. А у некоторых орхидей вообще никогда не находили семян.

— Но как же вырастают новые цветы?

— Из усов и клубней и тому подобного. Это легко объяснимо. Непонятно другое: для чего служат цветы? Весьма вероятно, — добавил он, — что моя орхидея окажется в этом отношении совершенно необыкновенной. Если так, я буду ее изучать. Я давно уж собираюсь заняться исследованиями, как Дарвин, но все как-то не находилось времени или что-нибудь мешало. Знаете, листья уже начинают разворачиваться. Мне бы очень хотелось,

чтобы вы зашли взглянуть на них.

Но она заявила, что в оранжерее слишком душно, у нее там разбаливается голова. Она видела растение уже два раза, — в последний раз воздушные корешки, к сожалению, напомнили ей щупальца, которые словно бы тянутся к добыче. Они стали преследовать ее во сне: будто растут прямо на глазах и стараются ее схватить. Поэтому она решительно заявила, что больше не хочет смотреть на орхидею, и Уэдерберну пришлось одному восхищаться развернувшимися листьями. Они были обычного размера, широкие, темно-зеленые и блестящие, покрытые у основания пурпуровыми пятнышками. Ему никогда еще не встречались такие листья. Он поместил орхидею на низкую скамью под термометром, а рядом устроил нехитрое приспособление: на горячие трубы батареи капала из крана вода, и воздух вокруг насыщался парами. Все послеобеденное время Уэдерберн теперь проводил в мечтах о приближающемся цветении странной орхидеи.

И наконец великое событие свершилось. Едва войдя в маленькое, крытое стеклом помещение, он уже знал, что бутон распустился, хотя огромный палеонофис скрывал от него его сокровище. В воздухе носился новый аромат —

сильный, необычайно сладкий, заглушавший все остальные запахи в этой душной, наполненной испарениями теплице. Уэдерберн поспешил к орхидее, и — о радость! — на свисающих зеленых ветвях качались три крупных белых цветка, источавших этот одуряющий аромат. Уэдерберн замер от восторга.

Цветы были белые, с золотисто-оранжевыми полосками на лепестках; тяжелый околоцветник изогнулся, и его чудесный голубоватый пурпур смешивался с золотом лепестков. Уэдерберн тотчас понял, что это совершенно новый вид. Но какой нестерпимый запах! Как душно в оранжерее! Цветы поплыли у него перед глазами.

Надо проверить, не слишком ли высока температура. Он шагнул к термометру. Внезапно все закачалось. Кирпичный пол поднялся и опустился. Белые цветы, зеленые листья, вся оранжерея — все накренилось, потом подскочило вверх.

В половине пятого, согласно раз и навсегда заведенному порядку, экономка приготовила чай. Но Уэдерберн к столу не явился.

«Никак не может расстаться со своей противной орхидеей, — подумала она и подождала еще минут десять. — Вдруг у него остановились часы? Надо пойти позвать его».

Она направилась прямо к оранжерее, открыла дверь, окликнула его. Ответа не последовало. Она заметила, что воздух в оранжерее очень спертый и насыщен крепким ароматом. И тут она увидела что-то, лежащее на кирпичном полу у горячих труб батареи.

С минуту она стояла неподвижно.

Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, — сблизившись, они образовали как бы клубок серой веревки, концы которой тесно охватили его подбородок, шею и руки.

Сперва она не поняла. Но тут же увидела на его щеке под одним из хищных щупальцев тонкую струйку крови.

Крикнув что-то нечленораздельное, она бросилась к нему и попробовала отодрать похожие на пиявки присоски. Она сломала несколько щупальцев, и из них закапал красный сок.

От одуряющего запаха цветов у нее начала кружиться голова. Как они вцепились в него! Она тянула тугие веревки, а все вокруг плыло, как в тумане. Она чувствовала, что теряет сознание, и понимала, что этого нельзя допустить. Оставив Уэдерберна, она поспешно открыла ближайшую

дверь, вдохнула свежий воздух, — и тут ее осенила блестящая мысль. Схватив цветочный горшок, она швырнула его в стекло в конце оранжереи. Затем с новыми силами принялась тащить неподвижное тело Уэдерберна. Горшок со странной орхидеей свалился на пол. С мрачным упорством растение все еще цеплялось за свою жертву. Надрываясь, она тащила к выходу тело вместе с орхидеей. Затем ей пришло в голову отрывать присосавшиеся корешки по одному, и уже через минуту Уэдерберн был свободен. Он был бледен, как полотно, кровь текла у него из многочисленных круглых ранок.

Поденный рабочий, привлеченный звоном бьющегося стекла, подошел как раз в тот момент, когда она окровавленными руками волокла из оранжереи безжизненное тело. На мгновение он представил себе невероятные вещи.

— Скорее воды! — крикнула она, и ее голос рассеял его фантазии. Когда поденщик с необычным для него проворством вернулся, неся воду, он застал экономку всю в слезах; голова Уэдерберна лежала у нее на коленях, она стирала кровь с его лица.

— Что случилось? — спросил Уэдерберн, приоткрыв глаза, и тут же закрыл их снова.

— Бегите живей, скажите Энни, пусть сейчас же идет сюда, а потом за доктором Хэддоном, — сказала она поденщику. И добавила, видя, что тот медлит: — Я все расскажу, как только вы вернетесь.

Вскоре Уэдерберн вновь открыл глаза. Заметив, что его тревожит необычайность его позы, она объяснила:

— Вам стало дурно в оранжерее.

— А орхидея?

— Я пригляжу за ней.

Уэдерберн потерял много крови, но, в общем, особенно не пострадал. Ему дали выпить коньяку с каким-то розовым мясным экстрактом и уложили в постель. Экономка вкратце рассказала доктору Хэддону обо всем, что произошло.

— Сходите в оранжерею и посмотрите сами, — предложила она.

Холодный воздух врывался в открытую дверь, приторный запах почти исчез. Воздушные корешки, разорванные и уже увядшие, валялись среди темных пятен на кирпичном полу. Ствол орхидеи сломался при падении горшка. Края лепестков сморщились и побурели. Доктор наклонился было разглядеть их получше, заметил, что один из воздушных корешков еще слабо шевелится, — и

передумал.

На следующее утро странная орхидея все еще лежала там, почерневшая, испускающая запах гнили. От утреннего ветерка дверь поминутно хлопала, и весь выводок орхидей Уэдерберна съежился и завял. Зато сам Уэдерберн, лежа у себя в спальне, ликовал, упиваясь рассказами о своем необыкновенном приключении.

1894

Гордость набивщика чучел

Набивать чучела — тут полно своих секретов. Тонкостями ремесла со мной поделился сам набивщик, будучи в приподнятом настроении. Дело было между первой и четвертой порциями виски, когда человек еще не пьян, но уже забыл об осторожности. Мы сидели в его каморке, она же библиотека, гостиная и столовая, а за бисерной занавесью, судя по тошнотворному запаху, располагалась святая святых, где он и творил свои чудеса.

Он сидел на складном стуле, ноги в дырявых и поношенных шлепанцах — когда он не подпихивал ими непокорные угольки — покоились на каминной полке рядом со стеклянными глазами. Его брюки — кстати говоря, вряд ли составлявшие предмет его гордости — были из кошмарной желтой клетчатой ткани, какая была в ходу, когда наши отцы носили бакенбарды, а матери щеголяли в кринолинах. Волосы черные, на лице румянец, жесткие карие глаза. Засаленная вельветовая кофта. Курит трубку с фарфоровой вставкой, на которой красуются три грации, очки

сидят криво, левый глаз, маленький и зоркий, смотрит на тебя как есть, а правый сквозь темную линзу чуть увеличен и расплывчат. И вот он рассказывает свою историю:

— Среди мастеров набивки, Беллоуз, мне нет равных. Я набивал и слонов, и бабочек, и они после моей работы выглядели лучше, чем живые. И людей приходилось набивать, все больше любителей-орнитологов. Однажды подвернулся чернокожий.

Закон этого не запрещает. Я сделал его с растопыренными пальцами и приспособил под вешалку для шляп, да только этот дурень Хомерсби как-то вечером с ним повздорил и испортил его. Это дело давнее, вас еще на свете не было. Я бы сделал другого, только где взять такую кожу?

Неприятное занятие? Кто вам сказал? Человека можно похоронить, кремировать, а можно и чучело сделать. И все твои близкие останутся с тобой. Так что у этого занятия есть будущее. Стоят себе покойнички, словно антиквариат какой, по всему дому — чем плохое общество? Да и обойдется дешевле. А снабдить их часовыми механизмами — будут еще по дому пользу приносить.

Конечно, их надо прихорашивать, но чтобы лысины сияли сверх меры, это незачем. Все должно

быть естественно. Взять старого Мэннингтри… Между прочим, с чучелами родни можно говорить и не бояться, что тебя перебьют. Даже с тетками. Набивка чучел — дело перспективное, попомните мои слова. К тому же ископаемые…

Тут он смолк.

— Нет, об этом говорить не буду. — Он задумчиво присосался к трубке. — Да, спасибо. Воды поменьше.

Конечно, то, о чем я вам рассказываю, — строго между нами. А вам известно, что я набил чучела дронта и бескрылой гагарки? Нет? Видимо, вы в нашем искусстве — дилетант. Дорогой друг, половина бескрылых гагарок в мире не более подлинны, чем плат святой Вероники или хитон Иисуса Христа. Мы набиваем этих птах перьями поганки или чем-то вроде этого. И яйца бескрылой гагарки делаем!

— Неужели?

— Да, из тонкого фарфора. Скажу вам, оно стоит того. Намедни за одно выручил триста фунтов! Получилось совсем как настоящее, хотя точно разве скажешь? Работа ювелирная, а потом надо пыльцой присыпать, ведь никто из тех, кому эти драгоценные яйца достанутся, не отважится их протирать. В этом вся прелесть. Даже если кто

что-то и заподозрит, с лупой разглядывать не станет. Уж больно хрупкое сокровище.

Не представляете, до каких высот поднялось искусство набивать чучела. Друг мой, до безоблачных! Я соперничаю с руками самой матушки-природы. Одну из подлинных бескрылых гагарок, — голос его понизился до шепота, — одну из подлинных бескрылых гагарок сделал я!

Не верите? Подучите орнитологию, сами увидите разницу. Мало того, ко мне обратился синдикат дельцов, мол, сделайте нам партию гагарок, мы их поместим на одну из неисследованных шхер на севере Исландии. Может, дойдут руки и до этого. Но сейчас у меня в работе другая штуковина. Про динорниса слышали?

Это большая птица в Новой Зеландии, недавно вымерла. Ее знают как моа, это и есть «вымершая». Моа больше нет. Понятно? Кости остались, кое-где на болотах можно найти и перья, и даже кусочки засохшей кожи. Так вот, я собираюсь, чего тут скрывать, смастерить чучело этой самой моа. А тамошний знакомый скажет, что нашел ее останки в каком-то пересохшем болоте и якобы сразу сделал набивку, пока птица не успела разложиться. Оперенье там особое, но у меня есть свой хитрый способ: надо перышки страуса

чуть подпалить и распушить. Да, запах, что вы унюхали, — как раз его перышки. Подделку без микроскопа не обнаружить, а кому надо ради этого дербанить такой прекрасный экземпляр?

Вот так я и двигаю помаленьку науку, вношу, как говорится, свой вклад. Все это — подражание природе. Но я пошел дальше. Я вступил с ней в состязание — и победил.

Он убрал ногу с каминной полки и доверительно наклонился ко мне.

— Я создал птиц, — сказал он полушепотом. — Новых. Внес улучшения. Сделал птиц, каких раньше в природе не было.

Повисла многозначительная пауза. Потом он принял прежнее положение.

— Обогатить вселенную, так-то. К примеру, я сделал новую версию пересмешника, такие красавцы вышли — глаз не нарадуется, хотя некоторые, признаюсь, выглядели подозрительно. Особенно *Anomalopteryx Jejuna. Jejunus-a-um* значит «пустой», потому что внутри ничего нет. Начисто пустая птица, если ее не набьешь. Сейчас этот экземпляр — у старины Джавверса, думаю, он им гордится не меньше моего. Это, Беллоуз, настоящий шедевр. Тут все вместе — и симпатичный неуклюжий пеликан, и горделивый

попугай, и сухопарый и нескладный фламинго, и разноцветная утка-мандаринка. Ах, какая птица получилась! За основу я взял скелеты аиста и тукана, перьев набрал разных. Набивать чучела, Беллоуз, — это такая радость, если ты художник в своем деле.

Как мне это пришло в голову? Все просто, как любое великое открытие. Одному из молодых да ранних, кто строчит статейки в «Научных заметках», подвернулась публикация на немецком о птицах Новой Зеландии. Он ее перевел, отчасти при помощи словаря, отчасти по наитию, да только наития ему от мамы не много досталось, видать, был из многодетной семьи. Короче, он попутал аптерикса, который еще есть в природе, с вымершим аномалоптериксом. И давай заливать о птице пяти футов ростом, мол, живет она в джунглях на Северном острове, создание редкое, малозаметное, просто так ее не найдешь, и все такое. А Джавверс — жуткий невежда даже для коллекционера — всю эту галиматью прочитал и говорит: куплю за любую цену! Стал наводить справки у торговцев птицей. Знаете, если человек настойчивый да волевой — он своего добьется. Этот фанатик поклялся себе, что пополнит свою коллекцию птицей, какой нет в природе и нико-

гда не было, да и будь у нее возможность явиться в мир, она, скорее всего, отказалась бы — кому охота коптить белый свет, если ты такая нескладная, что смотреть тошно? И он, представьте, ее добыл. Добыл.

Еще виски, Беллоуз? — спросил хозяин, отвлекаясь от преходящих мыслей о том, какие возможности таит сила воли и на какие чудачества способен коллекционер. Плеснув горячительной жидкости в стаканы, он попотчевал меня рассказом о хорошенькой русалке, которую смастерил своими руками, да только странствующий проповедник — она отбила у него всю паству — расколотил ее вдребезги во время Берслемской ярмарки, это, мол, идолопоклонство или еще что похуже. Участники этой истории — творец, будущий владелец и вандал — вступили в беседу, опубликовать которую никак нельзя в силу ее непечатности, и предавать этот забавный случай огласке не стоит.

Читатель, незнакомый с темными сторонами жизни коллекционера, в рассказе моего собеседника может, вероятно, усомниться. Но что касается яиц бескрылой гагарки и чучел птиц, каких не знала природа, его слова подтверждают уважаемые авторы-орнитологи. А статью о птице из Новой Зеландии напечатала газета с безупречной репутацией — этот мастер своего дела сохранил ее и с гордостью мне предъявил.

1894

Остров Эпиорниса

Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мой сверток.

— Орхидеи? — спросил он.

— Да, немного, — ответил я.

— Киприпедии?[3] — сказал он.

— Да, главным образом, — ответил я.

— Что-нибудь новенькое? Я не думаю. Я был на этих островах двадцать пять, нет — двадцать семь лет назад. И если вы нашли какую-нибудь новинку, то значит, что действительно последняя новость. После меня осталось немного.

— Я не коллекционер, — сказал я.

— В то время я был молод, — продолжал он. — Боже мой, как же я скитался по белу свету! — Он смерил меня взглядом. — Я был два года в Ост-Индии и семь лет в Бразилии. А затем отправился на Мадагаскар.

— Я знаю по именам некоторых охотников за орхидеями. Для кого вы собирали? — спросил я, предвкушая рассказ.

— Для Даусона. Не приходилось ли вам слы-

---

[3] Примечания: 3

Киприпедии — разновидность орхидей («Башмачки Киприды»).

шать имя Бутчера?

— Бутчер… Бутчер… — Фамилия медленно всплыла в моей памяти.

Потом я припомнил: Бутчер против Даусона.

— А! — воскликнул я. — Так вы тот человек, который требовал с них по суду жалованье за четыре года? Вас выбросило на необитаемый остров…

— Ваш покорный слуга, — сказал человек со шрамом, кланяясь. — Это был забавный процесс, не правда ли? Я сидел там и ничего не делал, а жалованье шло, и они не могли уведомить меня об увольнении. Мысль об этом частенько забавляла меня там. Я делал подсчеты — большие — по всему атоллу[4] мозаикой из камешков.

— Как же это случилось? — спросил я. — Я уже забыл.

— Видите… Вы слышали про эпиорниса?[5]

— Еще бы! Только в прошлом месяце Эндрюс говорил мне, что они нашли новый вид. Перед самым моим отъездом они нашли берцовую

---

[4] Примечания: 4

Атолл — коралловый остров, имеющий форму сплошного или разорванного кольца.

[5] Примечания: 5

Эпиорнис, или мадагаскарский страус, — бегающая птица, вымершая, по-видимому, лишь в XVII веке, достигавшая пяти метров высоты.

кость почти в ярд длиною. Вот, должно быть, было чудовище!

— Да еще какое! — сказал человек со шрамом. — Это было чудовище. Легендарная птица Рух Синдбада[6]. Когда же они нашли эти кости?

— Три или четыре года назад, — кажется, в девяносто первом. Зачем это вам?..

— Зачем? Затем, что я нашел их, черт возьми, двадцать лет назад. И если бы Даусон не стал артачиться из-за этого жалованья, то мы наделали бы с ним шуму… Как будто я виноват, что течение унесло проклятую лодку.

Он помолчал.

— Я думаю, что это в том же самом месте. Нечто вроде болота в девяноста милях к северу от Антананариво[7]. Вы слышали о нем? Надо плыть в лодках вдоль морского берега. Может, вы припомните?

— Нет, не помню. Кажется, Эндрюс что-то говорил о болоте.

— Наверное, это то же самое. На восточном берегу. И что-то есть в воде, что задерживает

---

[6] Примечания: 6

Легендарная птица Рух Синдбада — из книги «1001 ночь», см. «Сказку о Синдбаде-Мореходе».

[7] Примечания: 7

Антананариво — главный город острова Мадагаскар.

разложение. Пахнет креозотом, как в Тринидаде. А что, они нашли тоже и яйца? Мне попадались яйца длиной до полутора футов. Кругом было болото, и место было отрезано. Сколько я провозился с этим делом! Я нашел их случайно. Мы отправились за яйцами, я и два туземца, в челноке и нашли кости. С нами была палатка и на четыре дня провизии. Мы расположились на сухом месте. Даже теперь, как только вспомню, будто слышу тот смолистый запах. Нам удалось найти и кости, и яйца. Забавная это работа. Надо шарить в болоте длинными железными шестами. При этом почти всегда яйцо разбивается. Я бы хотел знать, когда именно жили эти эпиорнисы. Миссионеры говорят, будто в туземных сказаниях рассказывается о живых эпиорнисах, но мне никогда самому не приходилось это слышать[8]. Но те яйца, которые мы нашли, были совсем свежие, как будто только что снесенные. Свежие! И представьте себе, когда мы несли их к лодке, один из проклятых негров уронил яйцо на камень, и оно разбилось. Задал же я ему! Яйцо было свежее-пресвежее, даже не пахло нисколько, хотя

[8] Примечания: 8

Ни один европеец не видал живых эпиорнисов, за сомнительным исключением Мака Эндрюма, который посетил Мадагаскар в 1745 году. — *Примеч. авт.*

пролежало в болоте, пожалуй, лет четыреста. Негр сказал, что его сколопендра укусила. Но я лучше буду продолжать рассказ. Целый день мы копались в болоте и вытащили эти яйца совсем целыми, выпачкавшись, как черти, в грязи. Немудрено, что я был зол. Насколько я знаю, это был единственный случай, когда удалось достать яйца целыми. Я видел потом яйца в Естественном музее в Лондоне. Они были разбитые и склеенные, как мозаика, и местами кусочков не хватало. Мои были совсем целые, и я собирался выдуть яйца и сохранить одну скорлупу. Как же было не разозлиться, когда этот разиня погубил три часа нашего труда из-за какой-то сколопендры! Я таки задал ему за это.

Человек со шрамом достал глиняную трубку. Я пододвинул к нему мой кисет. Он закурил почти машинально.

— А другие яйца? Вы привезли их? Я что-то не могу вспомнить…

— Тут-то и начинается история. Три яйца остались. Совсем свежие яйца. Мы уложили их в лодку. Потом я ушел в палатку варить кофе, а негры мои остались на берегу. Один возился со своим укусом, а другой помогал ему. Мне и в голову не пришло, что эти мерзавцы пойдут на

такую затею. Но, я думаю, эта сколопендра да еще взбучка, которую я ему задал, взбесили того, — он и всегда был непокорным, — а другой пристал за компанию.

Помню, я сидел и курил трубку. И вода в котелке закипала на спиртовой лампе, которую я обычно брал в такие экспедиции. Я засмотрелся на отсвет заката на болоте. Это было очень красиво, кроваво-красные и черные полосы. По ту сторону болота место было повыше, холмы выступали в сером тумане, и за ними — небо, багровое, как жерло печи. А за моей спиной, в пятидесяти шагах, эти проклятые язычники, которым плевать было на вечерний покой, собирались угнать лодку и покинуть меня одного в палатке с маленьким бочонком воды и запасом пищи всего на три дня. Я услыхал крики сзади и смотрю — они в челноке (это была, собственно, не лодка) уже отплыли ярдов на двадцать от берега. Я сразу понял, в чем дело. Мое ружье лежало в палатке, и вдобавок пуль не было, только мелкая дробь. Они, конечно, это знали. В кармане у меня был револьвер. Я выхватил его и побежал к берегу.

«Назад!» — крикнул я и поднял револьвер. Они что-то залопотали по-своему, и один ухмыльнулся — тот, что разбил яйцо. Я прицелился в

другого, неукушенного (он греб), и дал промах. Оба засмеялись. Но я не считал себя побитым. Думаю: «Только похладнокровней!» И выстрелил еще раз. Пуля пролетела так близко, что он даже подскочил. Ему стало не до смеха. В третий раз я попал ему в голову, и он полетел через борт вместе с веслом. Для револьвера это был очень удачный выстрел. Пожалуй, ярдов на пятьдесят. Негр сразу пошел ко дну. Не знаю, убил я его или он утонул подстреленный. Я стал кричать другому, чтоб он вернулся, но тот, вместо ответа, повалился ничком и ничего не отвечал. Я выпустил в него остальные пули, но без толку.

Могу сказать, положение было глупое. Я остался один на этом гнилом плоском берегу. За мною было болото, а предо мною море. После заката стало холодно, а этот чертов челнок все уплывал в открытое море. Я вам скажу, и ругал же я и этого Даусона, и все торговые фирмы, и все музеи, как только мог. И негра того я звал и кричал, пока не охрип совсем.

Одно только и осталось — плыть вдогонку, а если встретятся акулы, тем хуже. Я раскрыл свой складной нож, взял его в зубы, скинул одежду и поплыл. Как только я очутился в воде, тотчас же челнок потерялся. Но я плыл все в одном направ-

лении и держал ему наперерез. Я надеялся, что моему негру теперь не до руля и челнок поплывет сам собою все в ту же сторону. И вот челнок опять показался на самом горизонте на юго-западе. Закат погас, и ночь быстро приближалась. Показались звезды. Я плыл, как чемпион по плаванью, хотя руки и ноги у меня ныли от усталости.

В конце концов я догнал челнок. Как только стало темнеть, в воде показались такие светящиеся искры, — знаете, фосфоресценция. У меня даже голова стала кружиться. И подчас трудно было разобрать, где звезды, а где водяные искры, и как именно я плыву — вверх головой или вверх ногами. Челнок был черен, как смертный грех, а струйки воды перед его носом сверкали жидким огнем. Я сперва опасался лезть через борт. Думаю, лучше подождать: что негр предпримет со своей стороны? Но он лежал на самом носу, по-прежнему ничком, и корма поднялась вверх из воды. И челнок плыл вперед и делал медленные обороты, знаете, вроде вальса. Я схватился за корму и потянул ее книзу, но негр не шевелился. Тогда я полез через борт, с ножом в руке, готовый к защите. Затем я сел на корме и стал ждать, что будет дальше. Челнок плыл по светящемуся морю, звезды сверкали над нами, было тихо.

Один раз я окликнул негра по имени, но он не отозвался. Я так устал, что не хотел рисковать и приближаться к нему. И так мы оба оставались на своих местах. Я, кажется, вздремнул раза два. Только когда рассвело, я увидел, что он мертв и весь побагровел и распух. Три яйца вместе с костями эпиорниса лежали на середине челнока, а бочонок с водою, и сухари, и кофе, завернутые в номер капской[9] газеты «Аргус», лежали у его ног. Рядом с ним стояла жестянка метилового спирта. Весла не было, и грести было нечем, — разве только крышкой от жестянки. Поневоле пришлось отдаться на волю течения и плыть вперед, пока не попадется судно. Я обследовал негра, вынес обвинительный вердикт змее или сколопендре и выбросил труп за борт.

Потом я выпил воды, пожевал сухарей и стал смотреть по сторонам. С такого челнока, конечно, далеко не увидишь. Мадагаскар давно исчез, и другая земля не появлялась. Один раз на юго-востоке мелькнул парус — должно быть, шкуна, — но само судно так и не показалось. Потом солнце поднялось высоко и стало жечь. Боже мой, я думал у меня мозги в голове закипят.

---

[9] Примечания: 9
Капская провинция находится на юге Африки.

Я пробовал окунать голову в море, потом вспомнил про капский «Аргус» и лег на дно челнока, накрывшись газетным листом. Чудная штуки эти газеты! До этого времени мне никогда не случалось прочесть газетный лист с начала до конца, но этот номер капского «Аргуса» я, кажется, перечитал раз двадцать. Жара была такая, что вся смола в челноке расплавилась и поднялись пузырями.

Десять дней меня носило, — продолжал человек со шрамом. — Рассказывать об этом недолго, не правда ли? Каждый день походил на другой. Жара была такая, что я мог высматривать суда только рано утром и поздно вечером. После того паруса три первых дня я ничего не видел; потом, если кого и видал, то они меня не замечали. На шестую ночь одно судно прошло мимо, быть может, за полмили. Все люки были открыты, фонари горели, и судно было, как большой светляк. И музыка играла на палубе. Я встал на ноги и кричал, и надрывался, но они не слыхали. На второй день я разбил одно яйцо эпиорниса, отковырял скорлупу и попробовал. К радости моей оказалось, что яйцо есть можно. Оно немного отзывалось не то чтобы тухлым, а как бы это сказать — будто утиным яйцом. С одной стороны желтка было

круглое пятно шести дюймов в ширину, с кровяными подтеками и в белой сеточке. Оно мне показалось странным, но я не стал его долго рассматривать. Яйца мне хватило на три дня вместе с сухарями и водой из бочонка. Я жевал также кофейные зерна — это подкрепляло. На восьмой день я разбил еще яйцо и испугался.

Человек со шрамом помолчал.

— Да, — сказал он, — яйцо было с зародышем. Вы, пожалуй, не поверите. Но мне пришлось поверить моим собственным глазам. Это яйцо пролежало в черном болоте по меньшей мере три сотни лет. И вот, несмотря ни на что, в нем был зародыш, с большой головой и изогнутой спиной. И сердце билось, и желток совсем опал, только пленки протянулись внутри скорлупы и по желтку. В небольшом челноке посреди океана у меня, можно сказать, насиживались яйца самой крупной из ископаемых птиц. Если бы только я мог дать знать старому Даусону! Это стоило бы жалованья за все четыре года. Как вы думаете, а?

Как бы то ни было, мне пришлось съесть эту замечательную редкость до самого последнего кусочка. Не могу сказать, чтобы это было очень вкусно. Третье яйцо я не стал трогать. Я только смотрел его на свет, но скорлупа была так толста,

что ничего не было видно. Правда, мне показалось, что я слышу биение пульса. Но, быть может, это только шумело у меня в ушах, как бывает от раковины, когда приложишь ее к уху.

Потом показался атолл. Как-то неожиданно, как будто вырос, можно сказать, перед самым моим носом на солнце. До берега уже оставалось не больше полумили, как вдруг течение повернуло, и мне пришлось грести изо всех сил руками и осколками скорлупы яйца эпиорниса, чтобы не проплыть мимо. В конце концов я добрался до берега. Это был обыкновенный коралловый атолл, четыре мили в окружности. Кое-где росли деревья, и в одном месте бил ключ пресной воды. В центре была лагуна, полная рыбы. Прежде всего я вынес на берег яйцо и отыскал для него подходящее место, выше линии прилива, на самом солнцепеке, чтобы оно выводилось. Потом я вытащил челнок и пошел осматривать остров. Правду сказать, скучное было место. Помню, еще мальчишкой я часто мечтал о приключениях Робинзона Крузо, но теперь оказалось, что этакий остров скучнее сборника воскресных проповедей. Я обошел кругом весь атолл, разыскивая съестное и размышляя. Могу сказать, что к вечеру первого дня мне там надоело до смерти. В тот же вечер по-

года изменилась. Гроза прошла по направлению к северу и захватила мой остров. Ночью завыл ветер и хлынул ливень. Счастье мое было, что я успел добраться до твердой земли. Быть бы мне на дне морском вместе с челноком.

Я спал под челноком, а яйцо лежало в песке, выше по берегу. И вдруг, как будто град камней запрыгал по доскам, и я оказался в воде. Мне снился город Антананариву, и я даже сел и окликнул Интоши и хотел спросить у нее, в чем, собственно, дело; потом стал искать руками стул, где обыкновенно лежали спички. Тут только я вспомнил, где нахожусь. Светящиеся волны набегали на берег так грозно, как будто собирались проглотить меня живьем, а кругом нее было черно, хоть глаз выколи. Ветер надрывался от визга.

Тучи стояли так низко, как будто хотели упасть на голову, и дождь лил такой, будто небо затопило и кто-то вычерпывал и лил воду вниз ведром. Огромный вал набросился на меня, как свирепый дракон, а я дал тягу. Потом я вспомнил про челнок и бросился назад за отхлынувшей волной, но челнока не оказалось. Тогда я подумал о яйце и ощупью добрался до того места, где оно лежало. Волны его не достигали, и оно было в безопасности. Я сел возле и прижался к нему, как будто к

товарищу. Боже мой, что это была за ночь!

К утру гроза прошла. И когда рассвело, на небе не было ни облачка. Но по всему берегу были разбросаны щепки и доски — скелет, так сказать, моего челнока. Делать было нечего. Я подобрал доски, потом отыскал два дерева, которые росли рядом, и к ним пристроил шалаш из этих досок для защиты от дождя. И в этот самый день мой птенчик вылупился.

Да, сэр, вылупился в то самое время, когда я спал, и яйцо было мне вместо подушки. Я услышал легкий стук, и голова моя качнулась. Я приподнялся и сел, и в эту минуту яйцо раскололось, и оттуда выглянула маленькая темная головка.

«Здравствуй, — сказал я, — добро пожаловать!» Он сделал усилие и выбрался наружу.

Это был бойкий птенчик, ростом с небольшую курицу, очень похожий с виду на любого птенца, но только покрупнее. Оперение у него было грязно-бурого цвета, с какими-то серыми струпьями, которые скоро спали, и он остался почти без перьев — на нем было что-то вроде пушистых волос. Я не сумею выразить, как приятно мне было видеть этого птенца. По-моему, даже Робинзон Крузо не описал по-настоящему, как трудно жить

совсем одному. А это был товарищ, и очень интересный. Он посмотрел на меня и мигнул глазом. Веки у него сдвигались от носа к уху так же, как у курицы. Потом он чирикнул и клюнул песок с таким развязным видом, как будто родиться на триста лет позже времени — сущий пустяк.

«Мое почтенье, Пятница!» — сказал я. Ибо я заранее решил, что если он выведется, то я назову его Пятницей.

Я сперва сомневался насчет его корма и бросил ему для пробы кусок рыбы. Он проглотил и тотчас же снова открыл клюв. Я был рад этому; потому что, если бы он оказался разборчив в еде, волей-неволей мне пришлось бы самому съесть его.

Трудно рассказать, какая занятная птица был этот маленький эпиорнис. С самого начала он стал ходить за мной повсюду. Когда я ловил рыбу в лагуне, он стоял возле, и я давал ему половину от каждой рыбы. И умный был. На берегу попадались такие зеленые штучки, как будто огурчики. Он проглотил одну и чуть не отравился. После того он не хотел даже смотреть на них.

Рос он здорово. Можно сказать, почти заметно для глаз. Я и раньше не особенно гонялся за человеческим обществом, и этот спокойный товарищ подходил к моему нраву точка в точку. Два года

мы прожили счастливо. Я знал, что жалованье мое у Даусонов нарастает и нарастает, и был спокоен. Иногда вдали появлялись парусники, но ни один не подходил к нам. От нечего делать я выкладывал узоры поперек всего острова из разноцветных раковин и морских ежей. Прежде всего вывел огромную надпись «Остров Эпиорниса» из цветных камешков, как делают в Англии у железнодорожных станций. Так же выводил чертежи и производил математические вычисления. Потом ложился на землю и смотрел на птенца, как он ходит кругом и все растет, и думал, что если вернусь домой, то стану возить его и показывать за деньги. Когда он вылинял в первый раз, у него появились синий гребень и бородка, и сзади выросли длинные зеленые перья, и он стал просто красавцем. Я ломал себе голову и все прикидывал, не придется ли отдать его Даусону. В бурю и в дождливое время мы сидели рядом в шалаше, который я смастерил из лодочных досок; я рассказывал ему всякие небылицы про моих родных и знакомых на родине. После бури мы отправлялись кругом всего острова искать, не выкинуло ли чего-нибудь на берег. Одним словом, нам жилось хорошо. Если бы еще у меня был табак, это была бы просто райская жизнь.

Когда второй год подходил к концу, наш маленький рай стал портиться. Мой Пятница уже имел четырнадцать футов в вышину, и клюв у него был крепкий, как заступ, и два больших глаза с желтыми ободками. Глаза у него сидели не так, как у курицы, с боков, а близко один к другому, совсем как у человека. Перья у него были первый сорт. Не такие, как у страуса, белые с черным, как будто траур, а скорей как у казуара. И тут-то он начал надувать свой гребень навстречу мне, стал зазнаваться и обнаруживать дурные повадки.

Один раз рыбная ловля была довольно неудачна, и он стал похаживать кругом с этаким странным видом. Я думал, что он опять наелся морских огурцов или какой-нибудь дряни, но потом оказалось, что он просто злился. Я тоже был голоден. И когда, наконец, я вытащил рыбу, я не хотел с ним делиться. В то утро мы оба были один не лучше другого. Он протянул клюв и схватил рыбу, а я ударил его по голове, чтоб выбить рыбу обратно. И тогда он показал мне… Боже! Он клюнул меня в лицо… — Человек показал на свой шрам. — А потом он стал лягаться. Он лягался, как ломовая лошадь. Я вскочил на ноги и, видя, что он не хочет отстать, пустился бежать, закрыв лицо руками. Но он на своих длинных ногах бежал, как при-

зовой скакун, и все угощал меня сзади своими твердыми лапами и долбил в затылок железным клювом. Я бросился в лагуну и забрел в воду по шею. Он остался на берегу и начал кричать, как павлин, но только погромче (он не любил мочить ноги); потом стал расхаживать по берегу.

Досада меня взяла. Это проклятое ископаемое ходит по берегу, а я стою в воде. Лицо у меня в крови. И все тело избито.

Я переплыл лагуну и решил оставить его в покое, пока он не угомонится. Я взобрался на самую высокую пальму и стал раздумывать. Никогда я не чувствовал такой обиды — ни раньше, ни позже. Неблагодарная тварь! Я был для него лучше родного брата. Помог ему вылупиться, выкормил его и вырастил. Просто долговязая допотопная птица. А я человек, царь природы и все такое…

Я сперва все ждал, что он образумится и ему станет самому стыдно за свой дурной поступок. Я думал, что если изловить пару хороших рыб и подойти к нему этак без лишних слов и угостить его, то, быть может, и он тоже пойдет на мировую. Но потом я испытал на деле, сколько злости и ехидства может скрываться в ископаемой птице. Именно злости!

Мне стыдно даже рассказывать, к каким улов-

кам я прибегал, чтобы только совладать с этой птицей. До сих пор щеки горят, как только вспомню, какими сердитыми пинками меня угощал этот ископаемый дьявол. Я швырял в него на безопасном расстоянии кусками коралла. А он только глотал их, и больше ничего. Я раскрыл свой нож и метнул ему в бок и чуть не лишился ножа навсегда. Хорошо еще, что нож был чересчур велик, чтобы его можно было проглотить.

Пробовал я усмирить эпиорниса голодом и перестал ловить рыбу. Но он начал собирать на берегу червей во время отлива и кое-как обходился. Половину времени я проводил в лагуне по шею в воде, а другую половину — на вершинах пальм. Одна пальма была ниже других, и если ему удавалось застигнуть меня на этой пальме, он устраивал моим икрам славный праздник. Сам не знаю, как я вытерпел все это. Вам, должно быть, не приходилось засыпать на пальмовых вершинах. У меня от такого сна бывали самые дикие кошмары. И вдобавок какой стыд! На моем собственном острове эта давно вымершая тварь расхаживает взад и вперед с видом герцога, а я не смею поставить ногу на землю. Я даже плакал с досады и утомления. Я говорил ему прямо, что я больше не намерен показывать пятки перед по-

добным проклятым анахронизмом. Я советовал ему найти себе для развлечения путешественника из своей собственной эпохи.

Но он только щелкал клювом в ответ. Скверная, несуразная птица: клюв, шея и ноги!

Мне неохота говорить, как много времени продолжалась эта возня. Я бы давно убил его, да не знал — как. Но под конец я все же придумал. Так убивают страусов в Южной Америке. Я свил свои рыболовные лесы и еще водоросли и древесные волокна, и вышла крепкая веревка ярдов двенадцать в длину или немного побольше. На каждый конец я навязал по куску коралла. Вся эта работа заняла довольно много времени, особенно потому, что беспрестанно приходилось бросать ее и лезть то в воду, то на дерево. Потом, когда веревка с камнями была готова, я повертел ее над головой и запустил в него. В первый раз я промахнулся. Но уже во второй раз моя веревка захватила ему ноги и обвилась кругом. Он опрокинулся. Я стоял по пояс в лагуне, и, как только он упал, я выскочил на берег и стал пилить ему горло ножом.

Мне и теперь неприятно вспоминать об этом. Даже в ту минуту, несмотря на всю свою злобу, я чувствовал себя убийцей. Он лежал предо мной на белом песке, весь в крови, и его длинные ноги

и гибкая шея подергивались в агонии… Да!

Тоска и одиночество на меня напали после этой расправы. Господи, вам трудно себе представить, как я жалел эту мертвую птицу. Я сидел над ее трупом и чуть не плакал, и этот унылый и безмолвный остров нагонял на меня дрожь. Я вспоминал, какой это был птенчик, игривый и ласковый, и какие веселые шалости он проделывал все время, пока не сбился с толку. И я еще думал, что было бы достаточно ранить его и что, быть может, после того он стал бы смирнее. Если бы было чем выкопать яму в коралловых скалах, я бы похоронил его. Я испытывал такое чувство, словно это был человек, а не птица. Во всяком случае у меня не хватило духу есть его. Я опустил его в лагуну, и проворные рыбы скоро объели все кости дочиста. Я не сберег даже перьев. А потом в конце концов нашелся чудак, который слонялся по морю на яхте и вздумал посмотреть, существует ли еще мой атолл.

Могу сказать, что он явился вовремя. Мне так надоело торчать одному на этом несчастном острове, что я совсем было решился развязаться с ним навек, и только не знал, что выбрать: кинуться ли мне в море или наесться морских огурцов…

Я продал кости одному человеку, по имени

Уинсло, торговцу по соседству с Британским музеем. Уинсло перепродал их старому Гаверсу. Гаверс, кажется, даже не разобрал, что эти кости были длиннее обычного. И только после его смерти на них обратили внимание. Им даже имя дали: Эпиорнис… — как дальше?

– *Aepiornis Vastus*, — сказал я. — Это забавная история. Мне рассказал о ней приятель. Когда была найдена берцовая кость в ярд длиной, ученые решили, что это самая большая, и назвали эту породу *Aepiornis Maximus*. Потом нашлась новая берцовая кость в четыре с половиной фута, — получился *Aepiornis Titan*. А когда умер старый Гаверс, явился этот ваш *Vastus* и, наконец, еще один — *Vastissimus*[10].

— Уинсло рассказывал мне об этом, — сказал человек со шрамом. — Он даже думает, что ежели они найдут еще других эпиорнисов, побольше, то у кого-нибудь из ученых лопнет жила от волнения. Но как вам угодно, а такие случаи бывают не с каждым человеком. Не правда ли, а?..

1894

---

[10] Примечания: 10

Vastus — «громадный»; *maximus* — «великий»; *titan* — «гигантский»; *vastissimus* — «громаднейший» (*лат.*).

Человек, который делал алмазы

Дела задержали меня на Чансери-лейн до девяти вечера. Начинала болеть голова, и у меня не было никакой охоты развлекаться или опять сесть за работу. Кусочек неба, едва видный между высокими скалами узкого ущелья улицы, возвещал о ясном вечере, и я решил пройтись по набережной, дать отдых глазам, освежить голову и полюбоваться на пестрые речные огоньки. Вечер, бесспорно, самое лучшее время дня здесь, на набережной: благодатная темнота скрывает грязную воду, и всевозможные огни, какие только есть в наш переходный век — красные, ослепительно-оранжевые, желтые газовые, белые электрические, — вкраплены в неясные силуэты зданий самых разных оттенков, от серого до темно-фиолетового. Сквозь арки моста Ватерлоо сотни светящихся точек отмечают изгиб набережной, а над парапетом подымаются башни Вестминстера — темно-серые на фоне звездного неба. Неслышно течет черная река, и только изредка легкая рябь колеблет отражения огней на ее поверхности.

— Теплый вечер, — сказал голос рядом со мной.

Я повернул голову и увидел профиль человека, облокотившегося на парапет подле меня. Лицо у него было тонкое, можно даже сказать красивое, хотя довольно изможденное и бледное. Поднятый и зашпиленный воротник пальто указывал на место незнакомца в жизни не менее точно, чем мог бы указывать мундир. Я почувствовал, что, если отвечу ему, мне придется заплатить за его ночлег и завтрак.

Я с любопытством посмотрел на него. Окупит ли его рассказ деньги, которые я на него затрачу, или это обыкновенный неудачник, неспособный даже рассказать собственную историю? Глаза и лоб выдавали в нем человека мыслящего. Нижняя губа слегка дрожала. И я решился заговорить.

— Очень теплый, — ответил я, — но все же стоять здесь холодновато.

— Нет, — сказал он, продолжая глядеть на воду, — здесь очень приятно… именно сейчас.

— Как хорошо, — продолжал он, помолчав, — что еще можно найти в Лондоне такое тихое место. Когда целый день тебя мучают дела, заботы о том, как бы прожить, как выплатить долги и избежать опасностей, не представляю, что бы

я стал делать, не будь таких умиротворяющих уголков.

Он делал длинные паузы после каждого предложения.

— Вероятно, вам знакомы житейские невзгоды, иначе вы не стояли бы здесь. Но вряд ли у вас такая усталая голова и так болят ноги, как у меня... Да! По временам я сомневаюсь, стоит ли игра свеч? Мне хочется все бросить — имя, богатство, положение — и заняться каким-нибудь скромным ремеслом. Но я знаю, что, как бы туго мне ни приходилось, если я откажусь от своих честолюбивых стремлений, я до конца моих дней не перестану раскаиваться.

Он замолчал. Я глядел на него с изумлением. Я никогда не встречал человека в более плачевном состоянии. Оборванный, грязный, небритый и нечесаный, он выглядел так, словно неделю провалялся в мусорном ящике.

И он мне рассказывает об утомительных заботах крупного дельца! Я чуть не рассмеялся. Или это помешанный, или он неудачно издевается над собственной бедностью.

— Если высокие цели и высокое положение, — сказал я, — имеют свою оборотную сторону — напряженный труд и постоянное беспокойство,

то они приносят и вознаграждение: влияние, возможность делать добро, помогать слабым и бедным; наконец, удовлетворенное тщеславие — уже награда.

Подшучивать при таких обстоятельствах было бестактно. Меня подстрекнуло несоответствие между его наружностью и тем, что он говорил. Я не успел кончить, как мне уже стало совестно.

Он обернул ко мне угрюмое, но совершенно спокойное лицо.

— Я забылся. Разумеется, вы не можете меня понять, — сказал он.

С минуту он присматривался ко мне.

— Конечно, все это кажется нелепым. Даже если я вам расскажу, вы все равно не поверите, так что я могу рассказывать, ничем не рискуя. А мне так приятно с кем-нибудь поделиться. У меня действительно на руках крупное дело, очень крупное. Но как раз сейчас начались затруднения. Дело в том, что я… изготовляю алмазы.

— Вы, вероятно, сейчас без работы?

— Мне надоело вечное недоверие, — нетерпеливо сказал он. С этими словами он вдруг расстегнул свое жалкое пальто, вытащил из-за пазухи холщовый мешочек, висевший на шнурке у него на шее, и вынул из мешочка темный

камень.

— Интересно, можете ли вы определить, что это такое? — Он протянул мне камень.

Надо сказать, что приблизительно год назад в свободное время я занимался подготовкой к экзаменам на ученую степень в лондонском университете, так что у меня есть некоторое представление о физике и минералогии. Камень напоминал неотшлифованный темный алмаз, но был слишком велик, почти с ноготь большого пальца. Я взял его и увидел, что у него форма правильного октаэдра с гранями, характерными для этого драгоценного минерала. Я вынул перочинный нож и поскреб камень — безрезультатно. Под газовым фонарем я испытал камень: чиркнул им по часовому стеклу и легко провел белую черту. С возрастающим любопытством я посмотрел на моего собеседника:

— Действительно, очень похоже на алмаз. Но тогда это гигант среди алмазов. Откуда он у вас?

— Я же вам говорю, что сам его сделал, — ответил он. — Отдайте его мне.

Он торопливо засунул камень обратно в мешочек и застегнул пальто.

— Я продам вам его за сто фунтов, — вдруг прошептал он.

Ко мне вернулись мои подозрения. В конце концов камень мог быть просто корундом — веществом почти такой же твердости — и лишь по чистой случайности походить формой на алмаз. Если это алмаз, то как он очутился у этого человека и почему он предлагает продать камень всего за сто фунтов?

Мы взглянули друг другу в глаза. В его взгляде выражалось ожидание — нетерпеливое, но честное. В эту минуту я поверил, что он пытается продать мне настоящий алмаз. Но я небогат, сто фунтов пробили бы заметную брешь в моих финансах, да и какой человек в здравом уме станет покупать алмаз при свете газового фонаря у оборванного бродяги, поверив ему на слово. И все же алмаз такой величины вызвал в моем воображении тысячи фунтов. Но тогда, подумал я, этот алмаз должен упоминаться во всех книгах о драгоценных камнях. Мне вспомнились рассказы о контрабандистах и ловких кафрах в Капской колонии. Я уклонился от прямого ответа.

— Откуда он у вас? — спросил я.

— Я сделал его.

Я кое-что слыхал о Муассоне, но знал, что его искусственные бриллианты очень небольшой величины.

Я покачал головой.

— Вы как будто разбираетесь в этих вещах. Я расскажу вам немного о себе. Быть может, тогда вы передумаете и купите алмаз.

Он отвернулся от реки, засунул руки в карманы и вздохнул:

— Я знаю, вы все равно мне не поверите.

— Алмазы, — начал он, и по мере того, как он говорил, я перестал чувствовать, что это говорит бродяга: речь его становилась свободной речью образованного человека, — алмазы делаются так. Углерод выделяют из соединения в определенном плавильном флюсе и при соответствующем давлении. Тогда углерод выкристаллизовывается не в виде графита или угольного порошка, а в виде мелких алмазов. Все это давно известно химикам, но никому еще не удалось напасть именно на тот флюс, в котором надо плавить углерод, и определить давление, которое может дать наилучшие результаты. Поэтому-то алмазы, сделанные химиками, такие мелкие и темные и не имеют настоящей ценности.

И вот я посвятил этой задаче свою жизнь — всю свою жизнь. Я начал изучать условия, при которых получают алмазы, когда мне было семнадцать лет, а теперь мне тридцать два. Я знал,

что на это уйдет лет десять, а то и двадцать, которые могут отнять у человека все его силы, всю его энергию, но даже и тогда игра стоила свеч. Предположим, что кто-то, наконец, натолкнулся на разгадку секрета; тогда, прежде чем тайна выйдет наружу и алмазы станут дешевле угля, этот человек сможет заработать миллионы. Миллионы!

Он замолчал и взглянул на меня, словно ища сочувствия. Глаза его сверкали голодным блеском.

— И подумать только, — сказал он, — что я почти всего достиг, и вот теперь… Когда мне исполнился двадцать один год, у меня было около тысячи фунтов, и я думал, что эта сумма и небольшой приработок уроками дадут мне возможность продолжать изыскания. Учение, главным образом в Берлине, заняло года два, а затем я стал работать самостоятельно. Самое трудное было — соблюдать тайну. Видите ли, если бы я проболтался, моя вера в осуществимость идеи могла бы подстрекнуть других, а я не считаю себя таким гением, чтобы наверняка прийти к открытию первым, если начнется борьба за первенство. Как вы сами понимаете, важно было, раз уж я действительно решил сколотить состояние, чтобы люди не знали о том, что алмазы можно делать искусственным путем и

производить тоннами. Поэтому я был вынужден работать совершенно один. Сперва у меня была маленькая лаборатория, но когда мои ресурсы начали истощаться, мне пришлось продолжать опыты в жалкой комнатушке без мебели в Кэнтиш-тауне. Я спал на соломенном матрасе прямо на полу, посреди приборов. Деньги буквально испарялись. Я отказывал себе во всем, чтобы покупать необходимое для моих исследований. Я старался продержаться, давая уроки, но педагог я неважный, нет у меня ни университетского диплома, ни достаточного образования, кроме химического. Мне приходилось тратить уйму времени и труда, а получать за это пустяки. Но я все приближался и приближался к цели. Три года назад я решил проблему состава флюса и почти достиг нужного давления, поместив флюс и особую углеродную смесь в ружейный ствол; я добавил туда воды, герметически закрыл ствол и принялся нагревать.

Он помолчал.

— Довольно рискованно, — сказал я.

— Да. Ружье разорвалось и разбило все окна и значительную часть аппаратуры. Зато я получил что-то вроде алмазного порошка. Пытаясь добиться большого давления на расплавленную

смесь, чтобы выкристаллизовать из нее алмазы, я обнаружил, что некий Добре, работавший в Парижской лаборатории пороха и селитры, взрывал динамит в плотно завинченном стальном цилиндре, таком прочном, что он не мог лопнуть. Я узнал, что Добре мог дробить скалы, превращая их в породы, подобные южноафриканским, в которых залегают алмазы. Я заказал стальной цилиндр, сделанный по его чертежу, хотя это сильно подкосило меня в смысле средств. Я забил в цилиндр весь материал и взрывчатые вещества, развел огонь в горне и вышел прогуляться.

Меня рассмешило, что он рассказывает это так деловито.

— А вы не подумали, что может взорваться весь дом? Были там другие жильцы?

— Этого требовали интересы науки, — сказал он, помолчав. — Этажом ниже жила семья торговца фруктами, рядом со мной — сочинитель просительных писем, а наверху — две цветочницы. Возможно, я поступил несколько необдуманно, но не исключено, что не все жильцы были дома. Когда я вернулся, цилиндр лежал на том же месте в куче раскаленных добела углей. Взрывчатка не разорвала корпуса. Теперь передо мной встала новая проблема. Видите ли, время

— важный фактор при кристаллизации. Если сократить процесс, кристаллы получатся мелкие. Только длительное выдерживание увеличивает кристаллы. Я решил охлаждать цилиндр в течение двух лет, постепенно снижая температуру. Деньги у меня к этому времени кончились. Мне приходилось все время поддерживать огонь в горне и платить за комнату, надо было также утолять голод, и у меня не осталось ни гроша.

Вряд ли я теперь припомню все, чем я промышлял, пока занимался изготовлением алмазов. Я продавал газеты, держал под уздцы лошадей, открывал дверцы экипажей. В течение многих недель я надписывал конверты. Мне пришлось служить помощником у продавца с ручной тележкой, я должен был сзывать народ по одну сторону улицы, в то время как он выкликал товар по другую. Один раз у меня целую неделю не было никакой работы, и я просил милостыню. Что это была за неделя! Однажды, когда погас огонь в горне и я весь день ничего не ел, какой-то парень, гулявший с девушкой, хотел пустить ей пыль в глаза и дал мне шесть пенсов. Да благословит бог тщеславие! Какое благоухание доносилось из лавок, где торговали жареной рыбой! Но я пошел и на все деньги купил угля, снова раскалил горн,

а потом… Да, от голода человек глупеет. Наконец, три недели назад, я погасил огонь и вынул цилиндр. Он был еще такой горячий, что жег мне руки, пока я его развинчивал. Я выскреб крошащуюся лавообразную массу долотом и растолок ее на железном листе. И нашел в ней три крупных алмаза и пять маленьких. Когда я сидел на полу, стуча молотком, дверь отворилась и вошел мой сосед, сочинитель просительных писем. Он был по обыкновению пьян.

«Ан-нархист», — сказал он.

«Вы пьяны», — отрезал я.

«Разрр-рушитель, мерр-завец!» — продолжал он.

«Подите к дьяволу», — отвечал я.

«Не бес-по-койтесь», — сказал он, икая и подмигивая мне с хитрым видом.

Потом он прислонился к двери и, устремив глаза на косяк, начал болтать о том, как он рылся в моей комнате, как ходил сегодня утром в полицию и там записывали все, что он говорил, «как будто я джнт-мен», — сказал он.

Тут я вдруг понял, что влип. Или я должен выдать полиции мой секрет, и тогда о нем узнают все и каждый, или же меня арестуют как анархиста. И вот я взял соседа за шиворот, встряхнул его

как следует, а потом убрался подобру-поздорову со своими алмазами. Вечерние газеты назвали мою каморку «кэнтиш-таунской фабрикой бомб». И теперь я никак не могу отделаться от своих алмазов. Если я захожу к почтенным ювелирам, они просят меня обождать, и я слышу, как они шепчутся с приказчиком и посылают его за полисменом, и тогда я заявляю, что не могу ждать. Я нашел скупщика краденого: он прямо вцепился в алмаз, который я ему дал, и предложил мне потребовать его обратно через суд. Теперь я ношу алмазы на себе — несколько сот тысяч фунтов — и не имею ни пищи, ни крова. Вы первый, кому я доверил свою тайну: мне нравится ваше лицо, а меня, что называется, приперло к стене.

Он посмотрел мне в глаза.

— Было бы сумасшествием, — сказал я, — купить алмаз при таких обстоятельствах, да я и не ношу с собой сотен фунтов. И все же я готов поверить вам. Если хотите, сделаем так: приходите завтра ко мне в контору…

— Вы думаете, я вор, — с горечью сказал он. — Вы сообщите в полицию. Нет, не пойду я в ловушку.

— Я почему-то убежден, что вы не вор. Вот моя карточка, и во всяком случае возьмите еще вот

это. Не будем назначать свидания. Приходите когда угодно.

Он взял карточку и то, что я дал ему в залог моей доброжелательности.

— Надеюсь, вы передумаете и придете, — сказал я.

Он с сомнением покачал головой.

— Когда-нибудь я отдам ваши полкроны и с процентами, с такими процентами, что вы ахнете, — сказал он. — Ведь вы сохраните все в тайне? Не ходите за мной.

Он перешел через улицу к ступенькам под аркой, ведущей на Эссекс-стрит, и исчез в темноте. Больше я его никогда не видел.

Впоследствии я дважды получал от него письма с просьбой прислать банкноты (но не чеки) по такому-то адресу. Взвесив все, я поступил так, как счел наиболее благоразумным. Один раз он заходил, когда меня не было на месте: по описанию посыльного мальчишки, это был очень худой, грязный, оборванный человек, мучительно кашлявший. Он ничего не просил передать. И это все, что я знаю о нем. Иногда мне очень хочется узнать, что стало с ним. Был ли это просто маньяк, мошенник, торговавший фальшивыми камнями, или он действительно сделал эти алмазы, как утверждал? Последнее настолько правдоподобно, что по временам я спрашиваю себя, не упустил ли я самую блестящую возможность всей своей жизни? Быть может, он умер, и алмазы его выбросили, как сор, — повторяю, один был величиной с ноготь. А может быть, он все еще бродит по улицам, пытаясь сбыть свои сокровища? Может случиться и так, что он еще предстанет когда-нибудь миру и, пересекая мой путь на безоблачной высоте, доступной лишь богачам и патентованным знаменитостям, безмолвно упрекнет меня за отсутствие предприимчивости. Иногда я думаю, что, пожалуй, надо было рискнуть. Хотя бы пятью фунтами.

Отпечаток большого пальца

Мы втроем пришли на занятия пораньше и, стоя у окна лаборатории, смотрели на разрушенный дом напротив. Утро выдалось ветреным и дождливым, дорога блестела от влаги, а за почерневшими руинами сквозь ползучую пелену облаков прорывались ярко-синие клочья неба. Перед домом по-весеннему бойко зеленели молодые каштаны и цвели лилии, что никак не вязалось с черным фасадом. Здание было выжжено изнутри дотла, крыша почти полностью рухнула, через обугленные очертания окон, где кое-где остались обломки стекла, виднелись обгоревшие стены и прочие следы неописуемого опустошения, каким всегда сопровождается мощный пожар. Любопытная деталь: часть стены над портиком просто вывалилась наружу, но небольшая спальня наверху осталась нетронутой, и мы видели, что на дальней стене с вымокшими обоями висит взятая в рамочку фотография солдата.

Наш новый сокурсник, белолицый брюнет — кажется, его звали Шабо, — смотрел на сгоревший дом с неослабным вниманием.

— Никто не пострадал? — спросил он.

— К счастью, никто, — ответил Уайлдерспин.

Новенький хмыкнул.

Тут вошел Порч и закричал:

— Что, братцы, слыхали? Разгул анархии! Весь Лондон в панике! А вы почему не дрожите? Это все экзамены, пропади они пропадом! Нет времени, чтобы с утра газету открыть.

Мы дружно обернулись к нему.

— Слушайте, — многозначительно начал Порч, — еще вчера здесь жил инспектор Балстрод, да, тот самый инспектор Балстрод, а мы и знать не знали! И вот вам, пожалуйста!

— Кто сказал, что это дело рук анархиста? — спросил новенький, а в лабораторию тем временем вошел Эскин.

— Сейчас на анархистов валят все подряд, — заметил Уайлдерспин.

— Полиция что-то знает, — пояснил Порч. — Это покуражился анархист, и газеты так пишут. Но подробностей пока нет. Молодцы анархисты — выбрали дом прямо перед нашими окнами. Хоть дух переведем, а то всю неделю сидели и зубрили.

— Вот и Смит где-то застрял, — сказал Уайлдерспин, глядя на часы.

— Я видел его на той стороне улицы, — сообщил Эскин, — когда сюда шел.

— Ишь ты! И что он там делал? — быстро спросил новенький.

— Вынюхивал что-то, надо думать, — предположил Эскин. — Говорил с полицейским, а в руках — коробка с каким-то черным порошком. Наверное, нам несет, исследовать.

— Вон он! — воскликнул Уайлдерспин.

Мы снова прилипли к окну. Господин Сомерсет Смит, наш обожаемый преподаватель химии, возник у боковой двери дома напротив и шел вдоль боковой стены к калитке. Он нес коробку с надписью «Мыло Хадсона», в ней виднелась какая-то черная масса, а еще — разбитая стеклянная банка. Выражение его широкого своеобычного лица было непроницаемо. Глубоко задумавшись, он пересек улицу и, когда подошел к ступеням портика, пропал из виду. Мы услышали, как он поднялся на этаж и, хлопнув дверью, вошел в смежную с лабораторией подсобку, где обычно готовил препараты для опытов.

Затем один за другим явились еще четверо или пятеро наших сокурсников. Вскоре мы громко и бурно спорили о выходках анархистов. Как откуда-то узнал Мейсон, именно наш Смит вы-

яснил, что дом напротив подожгли, дескать, он нашел обгоревшую записку-предупреждение. Эскин поднял Мейсона на смех, а новенький, зримо нервничая, засыпал вопросами. Настолько разволновался, что его прямо-таки прорвало, а раньше и слова было не вытянуть, казался большинству из нас угрюмым малым. Тут вошел Смит, и мы сразу угомонились.

Обычно он сразу шел к доске, а на сей раз направился через проход между столами к окну. В одной руке держал пресс-папье из черного мрамора, в другой — несколько листов белой бумаги. Листы он положил на стол Уайлдерспина. Из-под густых бровей окинул нас проницательным взглядом.

— Отсутствующие есть? — спросил он.

— Нет, сэр, — ответил кто-то.

— Пожар в доме напротив, джентльмены, произошел при весьма странных обстоятельствах, весьма странных. Вряд ли вам известно, что стало его причиной. Так вот, безо всяких экивоков должен вам сообщить: серьезное подозрение падает на нас. Дело в том, что поджигатель — а это был именно поджог, а не несчастный случай — воспользовался реактивами, похищенными из нашей лаборатории. Насколько я могу судить,

для поджога применили фосфор, растворенный в сероуглероде.

Все дружно охнули.

— Из курса элементарной химии, который мы усвоили прошлой осенью, джентльмены, вам известно: если растворенный в сероуглероде фосфор будет испаряться, его в этом состоянии легко поджечь. Судя по всему, злоумышленник взял кусок угля, к дровам для растопки и угольям в подвале подбросил пачку бумаги, а потом залил это изрядным количеством раствора, который, джентльмены, приготовили здесь, у нас. Сразу началось испарение, фосфор вспыхнул, огонь подхватил бумагу, и через полчаса замечательные огненные сполохи прорвались наверх и нарушили сон инспектора и его семьи.

Как я все это выяснил? Отчасти помог случай, но, кроме того, я провел расследование. Дело было так. Вчера около десяти часов вечера мне понадобилось заглянуть в подсобку, где я готовлю препараты, и я явственно учуял пары сероуглерода. Запах исходил из смежной складской комнатки, я вошел туда и сразу понял: там кто-то побывал. Бутылка с крахмальным клеем опрокинута, содержимое капает со стола на пол. Несколько других бутылок явно стоят не на своих

местах. Я стал искать следы кражи, но вроде бы ничего не пропало. Потом я увидел: исчез сероуглерод, а банка с фосфором стоит почти пустая. Что я мог предположить? Кто-то из студентов решил за мой счет позабавиться химическими опытами у себя дома — либо кто-то готовит поджог. Конечно, я решил отыскать преступника и понял — действовать надо немедля, пока следы преступления налицо. Мы, люди с научным складом ума, довольно щепетильны по части улик.

Он окинул нас проницательным взглядом. И я тоже огляделся по сторонам. Возможно, он лучший физиономист, чем я, но лично я ничего особенного не заметил. Все слушали преподавателя с интересом, слегка обескураженные тем, что попали под подозрение. Эскин, к примеру, покраснел. У Уайлдерспина и без того частенько дергался уголок рта, а тут этот уголок прямо затрясся. У новенького побелели губы.

— Должен с гордостью признаться: когда я вышел из лаборатории, некая мысль у меня в голове уже созрела, а сейчас она получила подтверждение и я могу точно сказать, кто именно взял мой сероуглерод.

Повисла напряженная пауза. Я даже немного испугался. А если господин Смит ошибся? Кое-ко-

му из нас может не поздороваться.

— Этот джентльмен, сам того не ведая, оставил на месте кражи свою подпись, можно сказать, расписался в содеянном — в буквальном смысле слова, джентльмены.

Он одарил нас коварной улыбкой. Мы ждали: сейчас он на кого-то из нас укажет пальцем. Он перевел взгляд на листки бумаги, лежавшие на столе рядом с ним, словно колеблясь. Все мы были на взводе.

— Вы же не хотите сказать… — заговорил новенький, — не хотите сказать, что укравший сероуглерод оказался до того рассеянным… до того нелепо рассеянным, что написал свое имя?..

Преподаватель, продолжая улыбаться, покачал головой.

— Не совсем так, — сказал он. Определенно он хотел вдоволь над нами поиздеваться. — Когда в доме напротив начался пожар, — спокойно продолжил он, — я сразу заподозрил, что эти два события связаны. И сегодня рано утром, еще до рассвета, я пошел туда. С помощью пожарных я понял: возгорание началось в погребе и источником его, как я и полагал, явился уголь. Как только позволила температура, я принялся искать свою бутылку с сероуглеродом в золе и

пепле на полу подвала. Но ее не было. Мои подозрения о связи между нашей лабораторией и пожаром несколько поколебались, но списывать со счетов эту версию не хотелось. В подвале было до крайности душно, искал я поверхностно, поэтому решил возобновить поиски чуть позже. Чтобы скоротать время, после завтрака и утреннего туалета я вышел в сад и стал рыскать там. И наткнулся на знакомую пробку! Понятное дело, я удвоил усилия. И под кустами сирени нашел бутылку — разбитую; возможно, на нее наступил пожарный. Этикетка на наших бутылках, как вы хорошо знаете, бумажная, идет по всему кругу.

Он умолк и взглянул на нас, расплывшись в доброжелательной улыбке.

— На этой этикетке легко читалось слово «сероуглерод», а также имелась приписка карандашом: «Жуткая вонь».

— Но я написал это три или четыре дня назад! — с жаром воскликнул Эскин.

— Очень может быть. Других слов, кроме этих, на этикетке не было. Но напомню, джентльмены: наш друг опрокинул бутылку с крахмальным клеем. Хочу освежить в вашей памяти свойства крахмального клея. Сам по себе он бесцветен, но, если соединить его с йодом, становится фиоле-

тово-синим. Это и есть тест для йода, даже если объем его совсем невелик.

— Одна частичка йода на четыреста пятьдесят тысяч частиц воды — и вода станет голубой, у Торпа написано, — объявил Уайлдерспин.

— Очень хорошо. Вижу, что к экзамену вы готовы. Так вот, уходя из лаборатории, я заметил, что наш друг перепачкал пальцы клеем: на дверной ручке обнаружилось нечто, похожее на их неясные отпечатки. Я нанес на них йод и был рад увидеть, что мое подозрение подтвердилось. Но они были слишком смазанными и для моей цели не годились. Тут я подумал, что, если найти бутылку, на этикетке наверняка обнаружатся отпечатки пальцев нашего друга — ведь она побывала у него в руке! Я нанес на этикетку слабый раствор йода. С гордостью признаюсь вам, джентльмены: я получил три четких отпечатка пальцев, а отдельно — прекрасный отпечаток большого пальца.

Он сделал паузу, позволив нам изумленно раскрыть рты.

— Возможно, вы слышали о профессоре Голтоне, — продолжил преподаватель чуть быстрее и взял со стола листки бумаги. — Он изучил линии на большом пальце человека и доказал, что

с их помощью можно установить личность преступника. В антропометрической лаборатории Южного Кенсингтона он сделал тысячи чернильных оттисков с больших пальцев разных людей — и не нашел хотя бы двух одинаковых. О своем открытии он рассказал в книге, кстати, очень хорошей. Тут у меня папье-маше, на нем немного чернил, разбавленных маслом, вот листки бумаги, и за несколько минут мы легко уладим наше дело. Если правонарушитель среди нас, мы его найдем. Если его нет…

— Берегись! — завопил Уайлдерспин.

Оборачиваюсь и вижу: новенький поднялся и держит в каждой руке по бутылке. Анархист сам себя обнаружил! Одну бутылку вот-вот швырнет! Этикетка на ней — из матового стекла, наверное, внутри какая-то кислота. Я инстинктивно пригнулся, и снаряд пролетел у меня над головой, задел за плечо Смита, отскочил в сторону и с жутким хлопком врезался в стойку с кипятильными трубками. Воздух наполнился резким запахом окислов азота. Тут же в полет успешно отправилась вторая бутылка, врезалась в бунзеновскую горелку и две треноги, и все бутылочки с реагентами опрокинулись на стол Уайлдерспина.

Всех вмиг как ветром сдуло. Я обернулся, решив

было схватить этого психа, но он уже вцепился в бутылку с серной кислотой — купоросным маслом, популярным компонентом парижского приворотного зелья. Испугавшись, я нырнул под ближайший стол. Почти все успели выскочить из комнаты и толпились на лестнице, ретировался и Смит. Под другим столом я обнаружил Уайлдерспина, его рот дергался как никогда прежде. Улучив момент, мы оба выскочили в коридор вслед за остальными. В Уайлдерспина полетела бутылочка с соляной кислотой, попала ему в шею, он взвыл от боли, а на его пиджаке расплылось красное пятно.

В безумных действиях анархиста своя логика. Едва лаборатория оказалась в его распоряжении, он прекратил швыряться, но стал шарить по полкам и складывать бутылки с кислотой, сулемой, ляписом и так далее на ближайший к окну стол. Он явно решил осложнить свой арест до крайности. Впрочем, и Смит был не робкого десятка. Он забежал в кладовку и вернулся оттуда с огромным кувшином самого омерзительного газа — сероводорода.

— Выдерните пробку, — распорядился он, — и швырните туда, живо!

А сам побежал назад в кладовку и вытащил от-

туда емкость с аммиаком, который тоже славится своим резким запахом. В ход пошла оплетенная бутыль с соляной кислотой, потом сернистый аммоний — по вонючести этот газ успешно соперничал с сероводородом. Противник догадался о нашем маневре, только когда в нос ему ударили жуткие испарения, и просто залез под стол. Через полминуты смесь из этой пахучей химии заполнила всю лабораторию, и воздух в ней загустел от белых облачков хлористого аммония. Неприятель вскоре просек наш замысел и занял активную оборону. Когда в лабораторию влетел кувшин с хлористым аммонием и разбился об пол, я увидел сквозь едкий туман — в меня летит бутылочка! Однако в дверной проем она не попала и разбилась вдребезги о классную доску.

— С дороги! — завопил анархист, пытаясь пробиться через зловонную дымку, но мы захлопнули дверь и оставили его наедине с разгулявшейся химией.

Он яростно дергал дверную ручку, неистово колотил в дверь. Потом визгливо запросил пощады, закашлялся и вроде бы бухнулся оземь. Я уже решил, что противник повержен, и хотел открыть дверь, но Смит сказал, что выпускать маньяка на волю незачем, и остановил меня. Мы услышали,

как анархист отошел в глубь лаборатории, потом все стихло. Наверное, он задумал штурмовать дверь с разбега. Об нее разбилась бутылка, через минуту — еще одна. Снова тишина. Прошло минуты три. Эскин помогал Уайлдерспину в кладовке, остальные столпились у лестничной площадки.

— Наверное, задохнулся и рухнул на пол, — предположил Порч.

— Окно! — вдруг воскликнул Смит. — Он вылез в окно! Про окно я не подумал! Не слышали, как он открыл окно? Вы трое, — он указал на меня, Порча и Мейсона, — оставайтесь у двери.

Остальные во главе со Смитом помчались вниз. Мы услышали, как распахнулась входная дверь, услышали гул голосов из садика перед нашим зданием. Набравшись смелости, мы открыли дверь в лабораторию — окно на другом ее конце было открыто, сквозь туман пробивался свежий воздух. Анархист сбежал. Смит, решая возникшую проблему, сделал упор на интеллект, а вот житейской смекалки ему не хватило.

— Когда я сказал об отпечатке большого пальца, — объяснял он курсу на следующее утро в разгромленной лаборатории, — я думал, он сразу сдастся. А что ему оставалось? Как ни крути, я загнал его в угол. Так он стал швыряться кислотой, джентльмены! Такого я предвидеть не мог. Это с его стороны большое свинство. Такие выходки лишают детективную работу всякого интеллектуального шарма!

1894

Бабочка *Genus novo*

Вы слышали, вероятно, о Гэпли? Не о В.-Т. Гэпли-сыне, а о знаменитом Гэпли, открывшем насекомое *Periplaneta Hapilia*, об энтомологе Гэпли? В таком случае вам известно, по крайней мере, то, что между Гэпли и профессором Паукинсом была страшная вражда. Но все же некоторые последствия ее, может быть, откроют вам нечто новое. Для тех же, кто ничего не знает об этой вражде, необходимо предпослать несколько пояснительных слов, которые ленивый читатель может пропустить, лишь слегка пробежав их, если захочет.

Поразительно, до какой степени широко распространено незнакомство с таким действительно важным обстоятельством, как эта вражда между Гэпли и Паукинсом! С другой стороны, та составившая эпоху в науке полемика, которая потрясла Геологическое общество, осталась, как я твердо верю, почти совершенно неизвестной вне кружка членов этого учреждения. Мне даже приходилось слышать, как люди, получившие прекрасное общее образование, считают знаме-

нательные сцены, имевшие место на заседаниях общества, чем-то вроде дрязг на собраниях прихожан. И все же великая вражда английского и шотландского геологов продолжалась уже полвека и оставила глубокие и обидные следы в науке. А дело Гэпли и Паукинса, хотя оно и имеет, может быть, более личный характер, столь же сильно, если еще не сильнее, разожгло страсти. Средний человек не имеет представления о том, какой фанатизм воодушевляет научного исследователя, в какую ярость вы можете привести его противоречиями. Это *“odium theologicum”* в новой форме. Находятся, например, люди, которые охотно сожгли бы профессора Рея Ланкастера из Смитфилда за его трактат о моллюсках в «Энциклопедии». Это фантастическое включение крылоногих в разряд головоногих… Но я уклонился в сторону от Гэпли и Паукинса.

Началось это много лет назад с описания жесткокрылых насекомых, составленного Паукинсом, причем в описание это он не включил новый вид, открытый Гэпли. Последний, всегда отличавшийся придирчивостью, ответил язвительной критикой, уничтожающей всю классификацию

Паукинса[11]. Паукинс в своем возражении[12] высказал предположение, что микроскоп Гэпли имеет те же недостатки, что и его способность производить наблюдения, и назвал его «безответственным болтуном, сующимся не в свое дело» (Гэпли в то время еще не был профессором). В своем ответе[13] Гэпли упомянул о запутавшихся компиляторах и как бы мимоходом назвал обзор Паукинса диковинной нелепостью. Это был бой врукопашную. Во всяком случае, читателя вряд ли могут заинтересовать подробности того, как ссорились эти великие люди, как они все больше и больше расходились во мнениях, пока от жесткокрылых не перешли к спорам по всем вообще вопросам энтомологии. Произошли события достопамятные. Иногда заседания Королевского энтомологического общества были чрезвычайно похожи на заседания палаты общин. В общем, по-моему, Паукинс был ближе к истине, чем Гэпли. Но Гэпли искусно пускал в ход свою риторику,

[11] Примечания: 11

«Некоторые замечания по поводу пересмотра вопроса о *Microlepidoptera*». // Журн. энтомологического общества, 1863.

[12] Примечания: 12

«Добавление к некоторым замечаниям». *Ibid*., 1864.

[13] Примечания: 13

«Дальнейшие замечания». *Ibid.*

имея редкий для ученого дар все обращать в смешную сторону. Он обладал огромным запасом энергии и сохранил горькое чувство обиды по поводу непризнания открытого им вида. Между тем Паукинс был человеком медлительным, говорил скучно, видом напоминал бочку, с доказательствами обращался чрезвычайно добросовестно, и его подозревали в том, что он торгует музейными предметами. Поэтому молодежь группировалась вокруг Гэпли и рукоплескала ему. Долго шла борьба; с самого начала в ней был элемент гнева, а под конец это обратилось в беспощадную вражду. Последовательные удачи и неудачи то той, то другой стороны — то терзания Гэпли по поводу успеха Паукинса, то превосходство первого над последним, — все это относится скорее к области истории энтомологии, нежели к предмету настоящего рассказа.

Но в 1891 году Паукинс, здоровье которого было в течение некоторого времени расстроено, напечатал свой труд о «мезобласте» ночной бабочки «мертвая голова». Что такое «мезобласт» ночной бабочки «мертвая голова» — безразлично для нашего рассказа. Но труд этот был гораздо ниже обычного уровня и тем самым доставил Гэпли повод, который он поджидал годами. Он работал,

вероятно, день и ночь, чтобы как можно лучше воспользоваться выпавшим на его долю удобным случаем.

В тщательно составленном докладе он разнес Паукинса в пух и прах — можно себе представить его растрепанные черные волосы и дикий блеск в глазах, когда он вызывал своего противника на бой. Паукинс возражал сдержанно, неубедительно, с томительными паузами и тем не менее злобно. Нельзя было не видеть, что он хочет уколоть Гэпли, но не может. Однако лишь немногие из слушателей — я не был на этом заседании — заметили, что он сильно болен.

Гэпли сбил противника с ног и хотел прикончить его. Вскоре после доклада он произвел зверское нападение на Паукинса. Это был очерк о развитии бабочки вообще — очерк, куда вложен был огромный умственный труд, но вместе с тем и ожесточенно полемический тон. Примечание редактора свидетельствует о том, что тон этот был еще несколько смягчен. Очерк этот должен был покрыть Паукинса стыдом, вогнать его в краску. Выхода для него не было — доводы были убийственны, тон в высшей степени дерзкий. Для человека на склоне лет это ужасная вещь.

Мир энтомологов, затаив дыхание, ожидал

ответа со стороны Паукинса. Он непременно попытается возразить, потому что всегда отличался смелостью. Но когда последовало возражение, то оно всех удивило, потому что возражение Паукинса заключалось к том, что он схватил инфлюэнцу, перешедшую в воспаление легких, и умер.

Впечатление получилось, быть может, не менее сильное, чем от возражения, которое он мог бы написать при данных обстоятельствах, и настроение значительных кругов повернулось против Гэпли. Те самые люди, которые чрезвычайно радостно поощряли обоих гладиаторов, стали серьезны при виде таких последствий. Нельзя было сомневаться в том, что огорчения побежденного в споре Паукинса ускорили его смерть. Даже для научных споров есть предел, говорили серьезные люди. Еще одно сокрушительное нападение было уже сдано в печать и появилось накануне похорон. Я не думаю, что Гэпли принимал меры, чтобы задержать его. Люди вспомнили, как Гэпли травил своего соперника, и забыли о недостатках этого соперника. Над свежей могилой неподходяще читать уничтожающие сатиры. Это было отмечено в ежедневных газетах. Именно это и заставляет меня думать, что вы, вероятно, слышали

о Гэпли и его полемике. Но, как я уже заметил, научные труженики живут в своем особом мире: половина тех людей, которые ежегодно проходят по Пикадилли до Академии, не могли бы вам сказать, где помещаются ученые общества.

В глубине души Гэпли не мог простить Паукинсу его смерти. Во-первых, это было с его стороны подлой уловкой — он просто боялся того, как бы Гэпли не стер его в порошок, к чему все было уже готово; а во-вторых, в мыслях Гэпли получился странный пробел. В продолжение двадцати лет он усиленно работал семь дней в неделю, засиживаясь иногда далеко за полночь — работал с микроскопом, скальпелем, сеткой для ловли насекомых, с пером в руках, — и почти вся его работа целиком была связана с Паукинсом. Европейская известность, которую приобрел Гэпли, явилась как некий случайный придаток к его великой антипатии. Во время последней полемики он доработался до предела. Полемика эта убила Паукинса, но и его, так сказать, обрекла на бездействие. Доктор посоветовал ему прекратить на некоторое время работу и отдохнуть. Поэтому Гэпли отправился в тихую деревню в Кенте, где день и ночь размышлял о Паукинсе и о всех тех хороших вещах, которых теперь нельзя сказать

о нем.

Наконец Гэпли начал понимать, куда влечет его это занятие. Он решил побороть свои мысли и принялся читать романы. Но он все же не мог не думать о Паукинсе — он видел Паукинса бледным, произносящим свою последнюю речь. Каждая фраза в романе давала Гэпли прекрасный повод для этого. Гэпли перешел на фантастические рассказы и увидел, что они его не захватывают. Начал читать «Вечерние развлечения на острове», пока здравый смысл окончательно не возмутился в нем, как чертенок, закупоренный в бутылку. Принялся за Киплинга, но оказалось, что Киплинг «ничего не доказывает», будучи в то же время непочтительным и вульгарным (у этих ученых совсем особые понятия!). Гэпли, к несчастью, попробовал читать «Внутреннее обиталище» Безант — и тут первая же глава опять направила ход его мыслей на ученые общества и Паукинса.

Тогда Гэпли обратился к шахматам и нашел, что это несколько лучше успокаивает. Вскоре он изучил все ходы, главные гамбиты и наиболее встречающиеся эндшпили — и начал побеждать приходского священника. Но потом цилиндрическая фигура короля у противника начала

походить на Паукинса — это Паукинс стоит и тщетно открывает рот, чтобы протестовать против мата. Гэпли решил бросить шахматы.

Быть может, изучение какой-нибудь новой отрасли знаний окажется в конце концов самым лучшим развлечением. Лучший отдых состоит в перемене занятий. Гэпли решил погрузиться в изучение инфузорий и выписал из Лондона один из своих небольших микроскопов вместе с монографией Хейлибота. Он думал, что если ему удастся затеять добрую ссору с Хейлиботом, то он, может быть, окажется в состоянии зажить новой жизнью и забыть о Паукинсе. Вскоре он засел за работу со своим обычным рвением и принялся изучать микроскопических обитателей придорожного пруда.

На третий день занятий Гэпли обнаружил новый вид в местной фауне. Он работал поздно вечером с микроскопом. Единственным источником света в комнате была яркая лампочка с зеленым абажуром особой формы. Как все опытные микроскописты, он держал оба глаза открытыми — это единственный способ избежать сильного утомления. Правым глазом он смотрел в инструмент — там перед ним лежало светлое и ясное круглое поле, по которому медленно подви-

галась темная инфузория. Левым глазом Гэпли смотрел, как бы ничего не видя. Смутно сознавал он, что перед ним медная трубка инструмента, освещенная часть поверхности стола, лист бумаги для заметок, подставка лампы, а вокруг погруженная в темноту комната.

Вдруг внимание его переместилось от правого глаза к левому. Стол был покрыт тканой скатертью, довольно ярко окрашенной. Рисунок был выткан золотом и кое-где красными и бледно-голубыми нитями по сероватому фону. В одном месте рисунок как будто сместился, и здесь краски как бы передвигались и колебались.

Гэпли быстро откинул голову назад и стал смотреть обоими глазами. Рот у него открылся от изумления.

Перед ним сидела большая бабочка; крылья ее были раскрыты, как это обычно делают бабочки!

Странно, что она могла попасть в комнату — ведь окна были закрыты. Странно, что она не привлекла внимания Гэпли, когда влетела туда, где теперь сидит. Странно, что она так подходит к рисунку скатерти. Еще страннее, что ему, Гэпли, великому энтомологу, она совершенно неизвестна. Чувства не могли его обманывать. Она медленно ползла по направлению к лампе.

— Новый вид, черт возьми! И это в Англии! — воскликнул Гэпли, пристально вглядываясь.

Потом он вдруг подумал о Паукинсе. Паукинса это совсем с ума свело бы. А Паукинс вот взял да и умер!

Что-то в голове и туловище насекомого стало удивительно напоминать Паукинса — совсем так же, как это было с шахматным королем.

— К черту Паукинса! — сказал Гэпли. — Но я должен поймать ее. — И, оглядываясь, не найдется ли чего под рукой, чтобы прикрыть бабочку, он медленно встал со стула.

Вдруг насекомое взлетело, ударилось о край абажура — Гэпли слышал это — и скрылось в темноте.

В один миг сорвал Гэпли абажур, так что комната осветилась. Бабочка исчезла, но вскоре наметанный глаз Гэпли заметил насекомое на обоях у двери. Он направился туда, приготовившись накрыть его абажуром. Однако раньше, чем он подошел достаточно близко, бабочка снялась с места и принялась летать по комнате. Как и все бабочки, эта летала, внезапно останавливаясь и меняя направление, как бы исчезая в одном месте и снова появляясь в другом. Один раз Гэпли промахнулся своим абажуром; потом еще раз.

На третий раз он задел за микроскоп. Инструмент покачнулся, ударился о лампу, опрокинул ее и с шумом свалился на пол. Лампа покатилась по столу и, к счастью, погасла. Гэпли очутился в темноте. Вздрогнув, он почувствовал, что диковинная бабочка задела его за лицо.

Это могло свести с ума. Свечей у него не было. Если открыть дверь, насекомое улетит. В темноте он совершенно ясно увидел Паукинса, который смеялся над ним. Паукинс всегда смеялся раскатисто. Гэпли в бешенстве выругался и топнул ногой по полу.

Раздался робкий стук в дверь.

Потом дверь чуть-чуть приоткрылась, очень медленно. Позади красного пламени свечи показалось встревоженное лицо хозяйки дома. Седые волосы ее были покрыты ночным чепчиком, а на плечи было накинуто что-то красное.

— Что это тут так грохнуло? — спросила она. — Разве что-нибудь…

У приоткрытой двери показалась порхающая бабочка.

— Закройте дверь! — проговорил Гэпли и бросился в двери.

Дверь быстро захлопнулась. Гэпли остался один в темноте. Потом в наступившей тишине он

услышал, как хозяйка взбежала вверх по лестнице, закрыла свою дверь на ключ, протащила по комнате что-то тяжелое и приставила к двери.

Гэпли сообразил, что его поведение и внешний вид представляются странными и возбуждают тревогу. К черту эту бабочку и Паукинса! Однако ему стало жалко упустить бабочку. Он ощупью нашел дорогу в переднюю, нащупал там спички, причем смахнул на пол свой цилиндр, который громыхнул, как барабан. С зажженной свечой он вернулся в гостиную… Бабочки нигде не было видно. Был, однако, момент, когда ему показалось, что она порхает вокруг его головы. Совершенно неожиданно Гэпли решил оставить бабочку в покое и лечь спать. Но он был взволнован. Всю ночь то и дело просыпался: он видел перед собой то бабочку, то Паукинса, то хозяйку. Два раза за ночь он слезал с кровати и мочил голову холодной водой. Одно было ему вполне ясно: хозяйка не могла понять, что это за странная бабочка, — страннее всего для нее было то, что ему не удалось поймать эту бабочку. Никто, кроме энтомолога, не мог бы ясно представить себе его самочувствия. Вероятно, хозяйка была напугана его поведением, но Гэпли никак не мог придумать, как все это ей объяснить. Он решил

просто ничего не говорить о происшедшем ночью. Напившись чаю, он увидел ее в саду и решил пойти поговорить с ней, чтобы успокоить.

Он повел с ней беседу о бобах и картофеле, о пчелах и гусеницах, о ценах на фрукты. Она отвечала своим обычным тоном, но глядела на него несколько подозрительно и, прогуливаясь с ним, держалась так, чтобы между ними всегда приходилась или клумба цветов, или грядка бобов, или что-нибудь еще в таком же роде. Через некоторое время это начало его чрезвычайно раздражать, и, чтобы скрыть досаду, он пошел домой. Потом он отправился прогуляться.

Бабочка, в которой странным образом было что-то паукинсовское, не отставала от него во время этой прогулки, хотя он изо всех сил старался не думать о ней. Раз как-то он увидел ее совершенно явственно: с распростертыми крыльями, она сидела на старой каменной стене, проходящей вдоль парка с западной стороны. Но когда он подошел поближе, то оказалось, что это только два пятнышка серых и желтых лишаев.

— Вот, — сказал Гэпли, — обратная сторона мимикрии: вместо того чтобы бабочка походила на камень, здесь камень похож на бабочку!

Один раз что-то пронеслось и запорхало вокруг

его головы, но усилием воли он снова отогнал от себя это ощущение.

Среди дня Гэпли зашел к священнику и завел с ним беседу на богословские темы. Они сидели в маленькой беседке, покрытой терновником, курили и спорили.

— Взгляните на эту бабочку! — воскликнул вдруг Гэпли, указывая на край деревянного стола.

— Где? — спросил священник.

— Разве вы не видите? Вон бабочка, на том краю стола! — сказал Гэпли.

— Разумеется, не вижу, — ответил священник.

Гэпли как громом поразило. Он тяжело вздохнул. Священник глядел на него внимательно. Ясно, что он ничего не видел.

— Вера видит не лучше, чем наука, — сказал Гэпли невпопад.

— Я не понимаю вашей точки зрения, — ответил священник, думая, что тот продолжает развивать свои доводы.

На следующую ночь Гэпли увидел, что бабочка ползет по его стеганому одеялу. Он уселся на краю кровати и принялся рассуждать сам с собой. Неужели это только галлюцинация? Он сознавал, что выбит из колеи, и отстаивал здоровье своего

рассудка с той же сосредоточенной энергией, которую прежде применял в борьбе с Паукинсом. Умственные привычки так упорны, что ему все еще казалось, будто он борется с Паукинсом. Он был хорошо знаком с психологией. Ему было известно, что подобные зрительные иллюзии появляются в результате умственного напряжения. Но вся суть была в том, что он не только видел бабочку — он слышал, как она стукнулась о край абажура, как толкнулась потом в стену; он почувствовал, как она задела его лицо в темноте.

Он посмотрел на бабочку. Это было совсем непохоже на сон, он ясно и определенно видел ее при свете свечи. Видел ее волосатое тельце, коротенькие перистые усики, членистые ножки, даже то место на крыле, где пыль стерлась. Вдруг он почувствовал досаду на самого себя за то, что боится маленького насекомого.

Этой ночью хозяйка заставила служанку лечь спать вместе с ней, потому что ей страшно было оставаться одной. Кроме того, она заперла дверь на ключ и придвинула к ней комод. Обе они прислушивались и разговаривали шепотом, когда улеглись в кровать, но не происходило ничего такого, что могло бы их встревожить. Около одиннадцати часов они рискнули потушить свечку и

задремали. Вдруг они проснулись, сели на кровати и стали в темноте прислушиваться.

Затем они услыхали, что кто-то ходит в туфлях взад и вперед по комнате Гэпли. Опрокинулся стул, и раздался громкий удар чем-то мягким по стене. Потом какая-то фарфоровая вещица с камина упала и разбилась о решетку. Внезапно открылась дверь, и они услышали, как Гэпли вышел из комнаты на площадку лестницы. Они прижались друг к другу и прислушивались. Он как будто танцевал на лестнице. То быстро спускался вниз через три или четыре ступеньки, то опять поднимался наверх, а потом побежал в переднюю. Они услышали, как повалилась подставка для зонтиков и разбилось окно. Потом застучал засов и загремела цепочка. Он открыл дверь.

Они поспешили к окну. Ночь была пасмурная, туманная; почти сплошной слой густых облаков быстро несся, закрывая луну. Забор и деревья перед домом чернели на беловатом фоне дороги. Они увидели Гэпли, похожего на привидение, в рубашке и белых кальсонах. Он бегал взад и вперед по дороге и хлопал руками по воздуху. Он то останавливался, то быстро бросался на что-то неведомое, то подкрадывался большими шагами.

Наконец он скрылся из глаз, спустившись по дороге вниз, в долину.

Потом, пока они спорили, кому из них пойти и закрыть дверь, Гэпли вернулся назад. Шел он очень быстро и вошел прямо в дом, тщательно закрыл дверь и спокойно отправился в спальню. Затем наступила полная тишина.

— Миссис Колвилл, — позвал ее Гэпли на следующее утро, стоя внизу около лестницы. — Надеюсь, я не обеспокоил вас ночью?

— Да, вам следует спросить об этом, — сказала миссис Колвилл.

— Дело в том, что я лунатик, а последние две ночи у меня не было снотворного. Особенно вам беспокоиться нечего. Мне досадно, что я так глупо себя вел. Я сейчас спущусь вниз в Шоргем и достану какое-нибудь средство, чтобы крепко заснуть. Следовало сделать это еще вчера.

Но на полпути, около меловых ям, снова появилась бабочка. Он продолжал идти, стараясь думать о шахматных задачах, но ничего не выходило. Насекомое полетело прямо ему в лицо, и он, защищаясь, ударил по нему шляпой. Вслед за тем им опять овладело бешенство — прежнее бешенство… то самое бешенство, в которое его так часто приводил Паукинс. Он продолжал идти

вперед, подпрыгивая и нанося удары по кружащемуся перед ним насекомому. Вдруг он ступил ногой в какую-то пустоту и полетел кувырком.

Гэпли лишился на некоторое время сознания, а когда очнулся, то оказалось, что он сидит на куче камней у меловой ямы с подвернутой ногой. Странная бабочка все еще порхала вокруг него. Он ударил по ней рукой и, повернув голову, увидел, что к нему идут два человека. Одним из них был сельский доктор. Гэпли подумал, что это вышло очень кстати. Потом ему пришло в голову с чрезвычайной живостью, что никто никогда не сможет увидеть диковинную бабочку, кроме него самого, и что ему следует помалкивать о ней.

Однако поздно вечером, когда его сломанная нога была уже перевязана, у него появилась лихорадка, и он забыл о том, что надо быть сдержанным. Он лежал, вытянувшись во весь рост в кровати, и начал водить глазами по комнате, чтобы увидеть, не здесь ли еще бабочка.

Он старался не делать этого, но безуспешно. Вскоре он заметил, что насекомое сидит недалеко от его руки, около ночника, на зеленой скатерти, которой был покрыт столик. Крылья бабочки шевелились. С внезапно вспыхнувшим гневом Гэпли хватил по бабочке кулаком.

Сиделка проснулась и громко вскрикнула. Он промахнулся.

— Это бабочка, — сказал он и добавил: — Одно воображение. Пустяки!

Все время он совершенно ясно видел, как насекомое ползает по карнизу и мечется по комнате. Видел также, что сиделка ничего этого не видит и с удивлением на него смотрит. Надо держать себя в руках. Он знал, что он — погибший человек, если не будет держать себя в руках. Но когда ночная тьма начала рассеиваться, лихорадочное состояние усилилось, и сам страх перед тем, что он увидит бабочку, заставлял Гэпли видеть ее. Около пяти часов, как только начало светать, он попытался слезть с кровати и поймать бабочку, хотя в ноге чувствовалась жгучая боль. Сиделке пришлось чуть не драться с ним. По этому поводу его привязали к кровати. Тогда бабочка расхрабрилась, и однажды он почувствовал, что она уселась у него на голове. Он начал изо всех сил бить себя руками — ему связали руки. Тогда бабочка явилась снова и поползла по лицу. Гэпли плакал, ругался, вопил, просил снять с него насекомое, но все было напрасно.

Доктор был болваном. Он лечил от всех болезней и был круглым невеждой в психиатрии. Он

просто говорил, что нет никакой бабочки. Если бы он был умнее, то, может быть, сумел бы избавить Гэпли от его горькой доли — он мог бы войти в мир иллюзий и покрыть ему лицо кисеей, как тот просил. Но, как я уже сказал, что доктор был болваном, и, пока нога не срослась, Гэпли держали привязанным к кровати, а воображаемая бабочка ползала по нему. Она не покидала его, когда он бодрствовал, и обращалась в чудовище, когда он спал. Когда он бодрствовал, страшно хотелось спать, а заснув, он просыпался с диким криком.

Поэтому Гэпли доживает теперь свои дни в обитой тюфяками комнате, и его мучит надоедливая бабочка, которой никто не видит, кроме него. Доктор больницы для душевнобольных называет это галлюцинацией. Когда Гэпли приходит в относительно спокойное состояние и может говорить, он уверяет, что это дух Паукинса, что, следовательно, эта бабочка является единственным экземпляром, и что стоит потрудиться, чтобы поймать ее.

1895

Замечательный случай с глазами Дэвидсона

Временное душевное расстройство Сиднея Дэвидсона, замечательное само по себе, приобретает еще большее значение, если прислушаться к объяснениям доктора Уэйда. Оно наводит на мысли о самых причудливых возможностях общения между людьми в будущем, о том, что можно будет переноситься на несколько минут на противоположную сторону земного шара и оказываться в поле зрения невидимых нам глаз в те мгновения, когда мы заняты самыми потаенными делами. Мне пришлось быть непосредственно свидетелем припадка, случившегося с Дэвидсоном, и я считаю своей прямой обязанностью изложить свое наблюдение на бумаге.

Говоря, что был ближайшим свидетелем приладка, я имею в виду тот факт, что я оказался первым на месте происшествия. Случилось это в Гарлоу, в Техническом колледже, возле самой Хайгетской арки. Дэвидсон был один в большой лаборатории, я был в малой, там, где весы, и делал кое-какие заметки. Гроза прервала мои занятия.

После одного из самых сильных раскатов грома я услыхал в соседней комнате звон разбитого стекла. Я бросил писать, оглянулся и прислушался. В первое мгновение я ничего не слышал. Град оглушительно барабанил по железной крыше. Потом опять раздался шум и звон стекла, на этот раз уже несомненный. Что-то тяжелое упало со стола. Я мигом вскочил и открыл дверь в большую лабораторию.

К своему удивлению, я услышал странный смех и увидел, что Дэвидсон стоит посреди комнаты, шатаясь, со странным выражением лица. Сначала я подумал, что он пьян. Он не замечал меня. Он хватался за что-то невидимое, словно отстоявшее на ярд от его лица; медленно и как бы колеблясь, он протягивал руку и ловил пустое пространство.

— Куда она девалась? — спрашивал он. Он проводил рукой по лицу, растопырив пальцы. — Великий Скотт! — воскликнул он. Три-четыре года тому назад была в моде такая божба.

Он неловко приподнял одну ногу, как будто ноги у него были приклеены к полу.

— Дэвидсон! — крикнул я. — Что с вами, Дэвидсон?

Он обернулся ко мне и стал искать меня глаза-

ми. Он глядел поверх меня, на меня, направо и налево от меня, но, очевидно, не видел меня.

— Волны! — сказал он. — И какая красивая шхуна! Я готов поклясться, что слышал голос Беллоуза. Эй! Эй! — вдруг закричал он громко.

Я подумал, что он дурачится. Но тут я увидел на полу у его ног осколки нашего лучшего электрометра.

— Что с вами, дружище? — спросил я. — Вы разбили электрометр?

— Опять голос Беллоуза, — сказал он. — У меня исчезли руки, но остались друзья. Что-то насчет электрометров. Беллоуз! Где вы? — И он, пошатываясь, быстро направился ко мне. — Вот гадость, мягкое, как масло, — сказал он. Тут он наткнулся на скамью и отпрыгнул. — А вот это совсем не похоже на масло, — заметил он и остановился, покачиваясь.

Мне стало страшно.

— Дэвидсон! — воскликнул я. — Ради бога, что с вами такое?

Он оглянулся по сторонам.

— Готов держать пари, что это Беллоуз. Полно прятаться, Беллоуз. Выходите, будьте мужчиной.

Мне пришло в голову, что он, может быть, внезапно ослеп.

Я обошел вокруг стола и дотронулся до его рукава. Никогда не видел я, чтобы кто-нибудь так вздрагивал! Он отскочил и встал в оборонительную позу. Лицо его исказилось от ужаса.

— Боже! — воскликнул он. — Что это?

— Это я, Беллоуз. Прошу вас, Дэвидсон, перестаньте!

Когда я ответил ему, он подпрыгнул и поглядел — как бы это выразить? — прямо сквозь меня. Он заговорил не со мной, а с собою:

— Здесь днем на открытом берегу спрятаться негде. — Он с растерянным видом оглянулся. — Надо бежать! — Он неожиданно повернулся и с размаху налетел на большой электромагнит — с такой силой, что, как потом обнаружилось, расшиб себе плечо и челюсть. Он отскочил на шаг и, чуть не плача, воскликнул: — Что со мной?

Потом замер, побелев от ужаса и весь дрожа. Правой рукой он обхватил левую в том месте, которое только что ушиб о магнит.

Тут и меня охватило волнение. Я был страшно испуган.

— Дэвидсон, не волнуйтесь, — сказал я.

При звуке моего голоса он встрепенулся, но уже не так тревожно, как в первый раз. Я повторил свои слова как только мог отчетливо и твердо.

— Беллоуз, это вы? — спросил он.

— Разве вы не видите меня?

Он засмеялся.

— Я не вижу даже самого себя. Черт возьми, куда это нас занесло?

— Мы здесь, — ответил я, — в лаборатории.

— В лаборатории? — машинально повторил он и провел рукой по лбу. — Это прежде я был в лаборатории. До того как сверкнула молния… Но черт меня побери, если я сейчас в лаборатории!.. Что это там за корабль?

— Нет никакого корабля, — ответил я. — Пожалуйста, опомнитесь, дружище!

— Никакого корабля! — повторил он, но, кажется, тотчас же позабыл мои слова. — Я думаю, — медленно начал он, — что мы оба умерли. Но любопытней всего, что я чувствую себя так, будто тело все же у меня осталось. Должно быть, к этому не сразу привыкаешь. Очевидно, старый корабль разбило молнией. Ловко, не правда ли, Беллоуз?

— Не городите чепуху. Вы целы и невредимы. И ведете себя отвратительно: вот разбили новый электрометр. Не хотел бы я быть на вашем месте, когда вернется Бойс.

Он перевел глаза с меня на диаграммы крио-

гидратов.

— Должно быть, я оглох, — сказал он. — Я вижу дым, — значит, палили из пушки, а я совсем не слыхал выстрела.

Я опять положил руку ему на плечо. На этот раз он отнесся к этому спокойнее.

— Наши тела стали теперь как бы невидимками, — сказал он. — Но смотрите, там шлюпка… огибает мыс… В конце концов, это очень похоже на прежнюю жизнь. Только климат другой.

Я стал трясти его за руку.

— Дэвидсон! — закричал я. — Дэвидсон! Проснитесь!

Как раз в эту минуту вошел Бойс. Как только он заговорил, Дэвидсон воскликнул:

— Старина Бойс! Вы тоже умерли? Вот здорово!

Я поспешил объяснить, что Дэвидсон находится в каком-то сомнамбулическом трансе. Бойс сразу заинтересовался. Мы делали все, что могли, чтобы вывести его из этого необычного состояния. Он отвечал на наши вопросы и сам спрашивал, но его внимание поминутно отвлекалось все теми же видениями какого-то берега и корабля. Он все толковал о какой-то шлюпке, о шлюпбалках, о парусах, раздуваемых ветром. Жуткое чувство вызывали у нас его речи в сумрачной

лаборатории. Он был слеп и беспомощен. Пришлось взять его под руки и отвести в комнату к Бойсу. Покуда Бойс беседовал с ним и терпеливо слушал его бредни о корабле, я прошел по коридору и пригласил старика Уэйда посмотреть его. Голос нашего декана как будто отрезвил его, но ненадолго. Дэвидсон спросил, куда девались его руки и почему он должен передвигаться по пояс в земле. Уэйд долго думал над этим (вы знаете его манеру сдвигать брови), потом тихонько взял его руку и провел ею по кушетке.

— Вот это кушетка, — сказал Уэйд. — Кушетка в комнате профессора Бойса… Набита конским волосом.

Дэвидсон погладил кушетку и, подумав, сказал, что руками он ее чувствует хорошо, но увидеть никак не может.

— Что же вы видите? — спросил Уэйд.

Дэвидсон ответил, что видит только песок и разбитые раковины. Уэйд дал ему пощупать еще несколько предметов; при этом он описывал их и внимательно наблюдал за ним.

— Корабль на горизонте, — ни с того ни с сего промолвил Дэвидсон.

— Оставьте корабль, — сказал Уэйд. — Послушайте, Дэвидсон, вы знаете, что такое галлюци-

нация?

— Конечно, — сказал Дэвидсон.

— Так имейте в виду: все, что вы видите, — галлюцинация.

— Епископ Беркли, — произнес Дэвидсон.

— Послушайте меня, — сказал Уэйд. — Вы целы и невредимы, и вы в комнате профессора Бойса. Но у вас что-то произошло с глазами. Испортилось зрение. Вы слышите и осязаете, но не видите… Понятно?

— А мне кажется, что я вижу даже слишком много. — Дэвидсон потер глаза кулаками и прибавил: — Ну, еще что?

— Больше ничего. И пусть это вас не беспокоит. Мы с Беллоузом посадим вас в кеб и отвезем домой.

— Погодите. — Дэвидсон задумался. — Давайте я опять сяду, а вы, будьте добры, повторите, что только что сказали.

Уэйд охотно исполнил его просьбу. Дэвидсон закрыл глаза и обхватил голову руками.

— Да, — сказал он, — вы совершенно правы. Вот я закрыл глаза, и вы совершенно правы. Рядом со мной на кушетке сидите вы и Беллоуз. И я опять в Англии. И в комнате темно.

Потом он открыл глаза.

— А там солнце всходит, — сказал он, — и корабельные снасти, и волнующееся море, и летают какие-то птицы. Я никогда не видел так отчетливо. Я на берегу, сижу по самую шею в песке.

Он наклонил голову и закрыл лицо руками. Потом снова открыл глаза.

— Бурное море и солнце! И все-таки я сижу на диване в комнате Бойса… Боже мой! Что со мной?

Так началось у Дэвидсона странное поражение глаз, длившееся целые три недели. Это было хуже всякой слепоты. Он был совершенно беспомощен. Его кормили, как птенца, одевали, водили за руку. Когда он пробовал двигаться сам, он либо падал, либо натыкался на стены и двери. Через день он немного освоился со своим положением; не так волновался, когда слышал наши голоса, не видя нас, и охотно соглашался, что он дома и Уэйд сказал ему правду. Моя сестра — она была невестой Дэвидсона — настояла, чтобы ей разрешили приходить к нему, и часами сидела около него, пока он рассказывал о своей странной бухте. Он удивительно успокаивался, когда держал ее за руку. Он рассказал ей, что, когда мы везли его из колледжа домой — он жил в Хэмпстеде, — ему представлялось, будто мы проезжаем прямо сквозь какой-то

песчаный холм; было совершенно темно, пока он сквозь скалы, деревья и самые крепкие преграды снова не вышел на поверхность; а когда его повели наверх, в его комнату, у него закружилась голова и он испытывал безумный страх, что упадет, потому что подъем по лестнице показался ему восхождением на тридцать или сорок футов над поверхностью его воображаемого острова. Он беспрестанно твердил, что перебьет все яйца. В конце концов пришлось перевести его вниз, в приемную отца, и там уложить на диван.

Он рассказывал, что его остров — довольно глухое и мрачное место и что там очень мало растительности: только голые скалы да жесткий бурьян. Остров кишит пингвинами; их так много, что вся земля кажется белой, и это очень неприятно для глаз. Море часто бушует, раз была даже буря и гроза, и он лежал на диване и вскрикивал при каждой беззвучной вспышке молнии. Изредка на берег выбираются котики. Впрочем, это было только в первые два-три дня. Он говорил, что его очень смешит, что пингвины проходят сквозь него, как по пустому месту, а он лежит посреди этих птиц, нисколько их не пугая.

Я вспоминаю один любопытный эпизод. Ему очень захотелось курить. Мы раскурили и дали

ему в руки трубку, причем он чуть не выколол себе глаза. Он не почувствовал никакого вкуса. Я потом заметил, что точно так же бывает и со мной; не знаю, как другие, но я не получаю удовольствия от курения, если не вижу дыма.

Но самые странные видения были у него, когда Уэйд распорядился вывезти его в кресле на свежий воздух. Дэвидсоны взяли напрокат кресло на колесах и приставили к нему своего приживальщика Уиджери, глухого и упрямого человека. У этого Уиджери было довольно своеобразное представление о прогулках на свежем воздухе. Как-то, возвращаясь из ветеринарного госпиталя, моя сестра повстречала их в Кэмдене, около Кингс-кросса. Уиджери с довольным видом быстро шагал за креслом, а Дэвидсон, видимо, в полном отчаянии, безуспешно пытался привлечь к себе его внимание. Он не удержался и заплакал, когда моя сестра заговорила с ним.

— Дайте мне выбраться из этой проклятой темноты! — взмолился он, сжимая ее руку. — Мне надо уйти отсюда, или я умру…

Он не мог объяснить, что произошло. Сестра решила сейчас же отвезти его домой, и как только они стали подниматься на холм по пути к Хэмпстеду, испуг его прошел. Он сказал, что очень

приятно опять видеть звезды, хотя было около полудня и ярко светило солнце.

— Мне казалось, будто меня с непреодолимой силой вдруг стало уносить в море, — рассказывал он мне потом. — Сначала это очень испугало меня… Дело, конечно, было ночью. Это была великолепная ночь.

— Почему же «конечно»? — с удивлением спросил я.

— Конечно, — повторил он. — Когда здесь день, там всегда ночь. Меня несло прямо в море. Оно было спокойно и блестело в лунном сиянии. Только широкая зыбь ходила по воде. Она оказалась еще сильней, когда я попал в нее. Сверху море блестело, как мокрая кожа. Вода вокруг меня поднималась очень медленно — потому что меня несло вкось, — пока не залила мне глаза. Потом я совсем погрузился в воду, и у меня было такое чувство, будто эта кожа лопнула у меня перед глазами и опять срослась. Луна подпрыгнула в небесах и стала зеленой и смутной; какая-то рыба, слегка поблескивая, суетливо заскользила вокруг меня, и я увидел какие-то предметы как бы из блестящего стекла и пронесся сквозь целую чащу водорослей, светившихся маслянистым светом. Так я спускался вглубь, и луна станови-

лась все более зеленой и темной, а водоросли сияли пурпурно-красным светом. Все это было очень смутно, таинственно, все как бы колебалось. И в то же время я отчетливо слышал, как поскрипывает кресло, на котором меня везут, и мимо проходит народ, и где-то в стороне газетчик выкрикивает экстренный выпуск «Пэл-Мэл».

Я погружался в воду все глубже и глубже. Вокруг меня все стало черным, как чернила; ни один луч не проникал в темноту; и только фосфоресцирующие предметы становились все ярче. Змеистые ветви подводных растений засветились в глубине, как пламя спиртовых горелок; но немного погодя пропали и они. Рыбы подплывали ко мне стаями, глядели на меня, разевая рты, и проплывали мимо меня, в меня и сквозь меня. Я никак не предполагал, что существуют такие странные рыбы. По бокам у них с обеих сторон были огненные полоски, словно проведенные фосфором. Какая-то гадина с извивающимися длинными щупальцами пятилась в воде, как рак.

Потом я увидел, как во тьме на меня медленно ползет масса неясного света, которая вблизи оказалась целым сонмом рыб, шныряющих вокруг какого-то предмета, опускающегося на дно. Меня несло прямо на них, и в самой середине стаи я

увидел справа распростершийся надо мной обломок разбитой мачты, а потом — опрокинутый темный корпус корабля и какие-то светящиеся, фосфоресцирующие тела, податливые и гибкие под напором прожорливой стаи. Тут я и стал стараться привлечь к себе внимание Уиджери. Ужас охватил меня. Ух! Мне пришлось бы наехать прямо на эти полуобглоданные… если бы ваша сестра вовремя не подошла ко мне… Беллоуз, они были проедены насквозь и… Ну да, все равно. Ах, это было ужасно!

Три недели находился Дэвидсон в этом странном состоянии. Все это время взор его был обращен к тому, что мы сперва считали плодом его фантазии. Он был слеп ко всему окружающему. Но вот однажды — это было во вторник — я пришел к нему и встретил в передней его отца.

— Он уже видит свой палец, Беллоуз! — в восторге сообщил мне старик, надевая пальто, и слезы показались у него на глазах. — Есть надежда на выздоровление.

Я бросился к Дэвидсону. Он держал перед глазами книжку и слабо смеялся.

— Вот чудеса! — сказал он. — Что-то похожее на пятно. — И он показал пальцем. — Я по-прежнему на скалах; пингвины по-прежнему ковыляют и

возятся вокруг; по временам появляется даже кит, и только темнота мешает мне разглядеть его как следует. Но положите что-нибудь вот сюда, и я увижу — плохо, неясно, какими-то клочками, но все-таки увижу, — правда, не предмет, но бледную тень предмета. Я заметил это сегодня утром, когда меня одевали. Как будто в этом фантастическом мире образовалась дыра. Вот, положите свою руку рядом с моей. Нет, не сюда. Ну, конечно, я вижу ее. Ваш большой палец и край манжеты. Ваша рука встала на темнеющем небе, как привидение; и тут же, вокруг нее, какое-то созвездие в форме креста.

С этого дня Дэвидсон начал выздоравливать. О перемене в своем состоянии он рассказывал очень убедительно. Мир его видений как будто постепенно линял, становился все призрачнее, в нем появлялись какие-то щели и просветы, и Дэвидсон начинал смутно различать сквозь них окружающую действительность. Просветы ширились, их становилось все больше, они сливались, и скоро только несколько пятен заслоняли видимый мир от его глаз. Он мог опять вставать, одеваться и двигаться без посторонней помощи, опять стал есть, читать, курить и вообще вести себя, как нормальный человек. Сперва ему

сильно мешала двойственность впечатлений, наползающих одно на другое, как картинки волшебного фонаря, но вскоре он научился отличать призрачные от настоящих.

Сначала это его радовало; казалось, он думал только о том, чтобы окончательно выздороветь, и охотно прибегал для этого к разным упражнениям и укрепляющим средствам. Но когда его странный остров стал таять у него перед глазами, он вдруг очень заинтересовался им. Ему особенно хотелось еще раз погрузиться на морское дно, и он стал проводить целые дни в блужданиях по низко расположенным кварталам Лондона в надежде натолкнуться на тот обломок судна, который он тогда видел. Дневной свет действовал на него так сильно, что уничтожал все являющееся в видениях. Зато ночью, в темной комнате, он опять видел скалы в белых подтеках и жирных пингвинов, ковыляющих вокруг него. Но и эти видения становились все призрачнее и наконец, вскоре после его женитьбы на моей сестре, совсем исчезли.

Но самое любопытное впереди. Через два года после этой истории я как-то обедал у Дэвидсонов. После обеда к ним пришел один знакомый по фамилии Аткинс. Это был лейтенант королевского

флота, человек любознательный и большой говорун. Он был в приятельских отношениях с моим зятем, а через какой-нибудь час подружился и со мной. Оказалось, что он жених двоюродной сестры Дэвидсона, и вышло так, что он вынул небольшой карманный альбом, чтобы показать фотографическую карточку своей невесты.

— Кстати, — сказал он, — вот снимок нашего старого «Фальмара».

Дэвидсон бросил взгляд на карточку. Вдруг он вспыхнул.

— Боже мой! — воскликнул он. — Я готов поклясться…

— В чем? — спросил Аткинс.

— Что уже видел это судно.

— Сомневаюсь. Оно уже шесть лет плавает в южных морях. А до тех пор…

— Однако… — начал Дэвидсон. И, помолчав, продолжал: — Да, это то самое судно, которое я видел. Оно стояло у острова; там была пропасть пингвинов, и оно палило из пушек…

— Господи! — воскликнул Аткинс, узнав подробности его болезни. — Как вы могли это видеть?

И тут слово за словом выяснилось, что в тот самый день, когда Дэвидсона постигло несчастье,

английское военное судно «Фальмар» случайно оказалось невдалеке от маленького рифа, к югу от острова Антиподов. Оно спустило шлюпку, чтобы набрать пингвиновых яиц. Шлюпка почему-то замешкалась там, и ее застигла буря. Ей пришлось прождать там всю ночь и вернуться к судну только на рассвете. Аткинс тоже был в лодке, и он подтвердил до мельчайших подробностей все, что сообщил об этом острове и о лодке Дэвидсон. Ни у кого из нас не осталось ни тени сомнения, что Дэвидсон действительно видел это место. Каким-то непонятным образом, покуда он передвигался по Лондону, его взор в точном соответствии с этим передвигался по поверхности отдаленного острова. Как это происходило, остается тайной.

На этом, собственно, и кончается рассказ о замечательном случае с глазами Дэвидсона. Это, может быть, самый достоверный случай видения на расстоянии. Нет никакой возможности объяснить его, если не принять объяснения профессора Уэйда. Но в его теории фигурирует четвертое измерение и целая диссертация о формах пространства. Толковать о каких-то «щелях в пространстве» мне представляется бессмысленным, может быть, оттого, что я совсем не

математик. Когда я говорил Уэйду, что как-никак, а место видений Дэвидсона отстоит от нас на восемь тысяч миль, он отвечал, что на листе бумаги две точки могут отстоять одна от другой на ярд и все-таки могут быть слиты в одну, если мы сложим лист вдвое. Может быть, читатель поймет этот довод — мне он недоступен. Его мысль, по-видимому, сводится к тому, что Дэвидсон, очутившись между двумя полюсами большого электромагнита, получил необычайное сотрясение сетчатой оболочки глаз благодаря внезапной перемене поля силы при ударе молнии.

Из этого он выводит, что тело может жить в одном месте земного шара, а зрение бродить в другом. Он даже делал какие-то опыты в подтверждение своих взглядов, но все, чего ему удалось пока достигнуть, — это лишить зрения нескольких собак. Как мне известно, это единственный результат его опытов. Впрочем, я не видел его уже несколько недель: за последнее время у меня было столько работы по оборудованию института, что я никак не мог выбрать время заглянуть к нему. Но вся его теория в целом кажется мне фантастической. Между тем факты, относящиеся к случаю с Дэвидсоном, ничуть не фантастичны, и я могу поручиться за точность каждой подробности своего рассказа.

1895

Над жерлом домны

Вечер был жаркий и душный. На западе алела одна полоса, словно солнце нехотя покидало одетую в летнее убранство землю. Они сидели у открытого окна, очевидно, стараясь убедить себя, что воздух там свежее. В саду темнели очертания деревьев и кустов; за садом на улице горел газовый фонарь ярко-оранжевым пятном среди синей вечерней мглы. Еще дальше виднелись три огонька семафора, ярко выделявшегося на темном фоне нависших туч. Мужчина и женщина говорили друг с другом тихо, почти шепотом.

— Он ничего не подозревает? — нервно спросил мужчина.

— Где ему! — сердито ответила женщина, словно вопрос раздражал ее. — Он думает только о своем заводе да о цене угля. Ведь это человек, лишенный всякого воображения, совершенно чуждый поэзии.

— У него и сердце стало железное, — ответил мужчина.

— Да у него и сердца-то никакого нет, — сказала женщина. Лицо ее носило выражение недоволь-

ства, раздражения. Она отвернулась и начала смотреть в окно. Издали слышались рев и шум; звуки приближались, становились все яснее и яснее; наконец весь дом задрожал, раздался лязг и грохот мчавшегося мимо поезда. Над выемкой показался яркий свет и густые клубы дыма. В серой мгле, окутывавшей набережную, промелькнули один за другим какие-то темные удлиненные четырехугольники — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь… да, восемь платформ. Они промчались мимо, одна за другой, исчезая в отверстии поглотившего их туннеля. Вот и последняя туда входит… и вдруг все пропало — и поезд, и дым; даже грохот мгновенно прекратился, словно чудовище, все пожрав, снова закрыло пасть.

— Когда-то вся эта местность была цветущим зеленым садом, — сказал мужчина. — А теперь это геенна огненная. Вон там видны только груды шлака да трубы, извергающие пламя и копоть чуть ли не до небес… А впрочем, какое нам теперь до этого дело? Скоро настанет конец — конец всему этому бездушью. Скоро… Завтра…

Он произнес последнее слово шепотом.

— Завтра, — тоже прошептала она, по-прежнему глядя в окно.

— Любимая! — сказал он и положил на ее руку свою.

Она вздрогнула и повернула голову. Взгляды их встретились; каждый словно старался проникнуть на дно души другого. Выражение лица женщины вдруг смягчилось.

— Милый, — нежно проговорила она. — Как странно мне, что ты вошел в мою жизнь… что ты раскрыл передо мной…

Она умолкла.

— Что я раскрыл перед тобой?.. — спросил он.

— Целый волшебный мир… — Она остановилась и шепотом еще тише продолжала: — Мир любви.

Вдруг что-то щелкнуло; сзади них захлопнулась дверь. Оба повернули голову: мужчина быстро откинулся назад. В темной комнате стояла высокая темная фигура. Вошедший молчал. В полумраке смутно белело его лицо, но выражения его глаз не было видно: они казались лишь темными пятнами под редкой дугой насупленных бровей. Раут почувствовал, как все мускулы его тела вдруг напряглись. Когда это муж успел открыть дверь? Что он слышал? Все ли он разобрал? Что он успел заметить?

Целый ряд вопросов мгновенно пронесся у

Раута в голове. Наконец после бесконечной, казалось, паузы раздался голос вошедшего:

— Ну что? — спросил он.

— Я боялся, что совсем не застану вас, Хорракс, — сказал стоявший у окна. Он судорожно схватился за подоконник, чтобы не упасть. Голос у него дрожал.

Неуклюжая фигура Хорракса вышла из темноты и приблизилась к окну. Он ничего не ответил на замечание Раута. Несколько мгновений он стоял и глядел сверху вниз на мужчину и женщину.

Женщина почувствовала, что у нее внутри все похолодело.

— Я говорила мистеру Рауту, что ты можешь и не вернуться сегодня, — сказала она. В голосе ее не слышалось ни малейшей дрожи.

Хорракс, все так же молча, вдруг опустился на стул, стоявший рядом с рабочим столиком его жены. Могучие руки его сжались в кулаки. Из-под нависших бровей глаза метали искры. Он тяжело дышал.

Взгляд его попеременно устремлялся то на женщину, в которую он до сих пор верил, то на друга, которому он до сих пор доверял.

В течение одной секунды все трое почти понимали друг друга. Но ни один не смел произнести

слова, которое рассеяло бы это ужасное чувство напряженности.

Хорракс первый наконец прервал молчание.

— Вы хотели видеть меня? — спросил он Раута. При звуке его голоса Раут вздрогнул.

— Да, я пришел к вам, — сказал он, решив лгать до последней минуты.

— В чем дело? — спросил Хорракс.

— Вы обещали, — сказал Раут, — повести меня полюбоваться световыми эффектами дыма при луне.

— Да, я обещал повести вас полюбоваться световыми эффектами дыма при луне, — сказал Хорракс, словно повторяя заученный урок.

— Я как раз надеялся поймать вас перед тем, как вы отправитесь на завод, — продолжал Раут, — я думал пройти туда с вами.

Снова наступило молчание. Неужели обманутый муж на самом деле так равнодушно относится к тому, что видел? Да и видел ли он что-нибудь? Сколько времени прошло с тех пор, как он успел войти? Ведь тогда, когда скрипнула дверь позади их…

Хорракс взглянул на профиль женщины, смутно белевший в полумраке. Затем он посмотрел на Раута и вдруг пришел в себя.

— Как же, как же, — сказал он, — я обещал показать вам завод в самом романтическом виде. Странно даже, как я мог об этом позабыть.

— Но если это вас хоть сколько-нибудь затрудняет… — начал Раут.

Хорракс снова вздрогнул. Его горевшие мрачным огнем глаза вдруг зловеще сверкнули.

— Нисколько! — ответил он.

— А ты рассказывал мистеру Рауту про все световые эффекты, про контраст яркого пламени с окружающим мраком, которым ты так восхищаешься? — спросила женщина.

Она наконец решилась взглянуть на мужа; уверенность постепенно возвращалась к ней, но в голосе звучали какие-то неестественные нотки.

— Эта ужасная твоя теория о том, что одни машины прекрасны, а все остальное в мире лишено красоты. Я думаю, что он замучит вас, мистер Раут! Ведь это его знаменитая теория, его великое открытие в области искусства.

— Я вообще медленно прихожу ко всяким открытиям, — мрачно произнес Хорракс. От звука его голоса у его жены похолодело сердце. — Но когда я до чего-нибудь дохожу… — и он умолк.

— Ну? — сказала она.

— Нет, ничего, — ответил Хорракс и вдруг встал

с места.

— Я обещал показать вам завод, — сказал он Рауту, положив свою огромную могучую ладонь на плечо своего друга. — Хотите пойти сейчас?

— С удовольствием, — сказал Раут и тоже встал. Снова наступило молчание. Каждый старался в окружающем полумраке разглядеть выражение лица других. Рука Хорракса все еще покоилась у Раута на плече. Раут уже начинал думать, что все сойдет благополучно. Но мистрис Хорракс хорошо знала своего мужа; ей был знаком этот зловеще-спокойный тон; она его боялась. В душе у нее бушевали самые разнородные чувства, но все они постепенно начинали уступать место одному: какому-то смутному опасению несчастья.

— Отлично, — сказал Хорракс. Он снял руку с плеча Раута и повернулся, чтобы идти.

— Где моя шляпа? — Раут в темноте искал шляпу глазами.

— Нет, это мой рабочий ящик, — сказала мистрис Хорракс. Она рассмеялась, но в этом смехе звучали истерические нотки. В сумраке рука Раута коснулась ее руки, лежавшей на спинке стула.

— Ах, вот моя шляпа! — сказал он. Женщине безумно хотелось шепнуть ему несколько слов, предупредить его, но она не в силах была издать

ни одного звука. «Не ходите с ним, берегитесь!» — силилась она выговорить, но уже было поздно, и удобный момент прошел.

— Нашли? — спросил Хорракс. Он уже успел приоткрыть дверь. Раут направился к нему.

— Пожалуй, вам лучше проститься с миссис Хорракс, — сказал Хорракс; в его тоне по-прежнему звучало зловещее спокойствие. Раут вздрогнул и повернулся.

— Покойной ночи, миссис Хорракс, — сказал он и протянул ей руку.

Хорракс, стоя у открытой двери, пропустил Раута вперед. Обычно он не бывал так вежлив с мужчинами. Когда Раут уже исчез за дверью, он молча посмотрел на жену и тоже вышел из комнаты. Женщина стояла не двигаясь; она прислушивалась к шагам, которые раздавались в коридоре: ей казалось, что грузная походка мужа напоминает ей бас, а легкая Раута — дискант.

Вот с шумом захлопнулась входная дверь. Миссис Хорракс медленно подошла к окну и высунулась из него. Ее муж и Раут промелькнули у калитки сада; затем они вышли на дорогу, где их на мгновенье осветил фонарь, а потом черная масса кустов скрыла их из виду. В этот короткий миг она не успела разглядеть выражение лиц,

издали казавшихся лишь бледными пятнами в темноте; она по-прежнему боялась и сомневалась и страстно жаждала узнать. Наконец она упала на широкое кресло и так и осталась сидеть в нем; широко открытые глаза ее глядели куда-то вдаль, на красные огни доменных печей, сверкавшие на фоне неба. Так она просидела больше часа, все в той же позе.

Неподвижный и душный воздух давил Рауту грудь. Он молча шел по дороге рядом с Хорраксом; так же молча они свернули на устланную золой тропинку, откуда открывался вид на всю долину.

Голубоватая мгла, состоявшая наполовину из тумана и наполовину из пыли, придавала всем предметам какой-то особенный, таинственный вид. Там, вдалеке, виднелись Гэнли и Этрурия, словно темные серые массы со светившимися кое-где точками уличных фонарей или немногих освещенных окон; местами выделялся яркий желтый свет из окон трактира или работавшей всю ночь фабрики. А над этими смутно серевшими массами возвышался целый лес высоких труб; многие из них извергали клубы дыма; некоторые же бездействовали благодаря временному застою. Кое-где на фоне вечернего неба ярко вырисовывался шкив надшахтного копра,

говоривший о том, что тут имеются каменноугольные копи. Ближе к тропинке тянулась целая сеть железнодорожных путей; с грохотом сновали туда и сюда еле видимые в полумраке маневрировавшие составы; пыхтели паровозы, раздавался ритмический лязг сталкивающихся буферов; временами клубы белого пара застилали все окружающее. Слева между полотном железной дороги и темной массой невысокого холма возвышались, гордо господствуя над долиной, гигантские, черные как смоль, огромные, увенчанные дымом и пламенем трубы доменных печей компании Джэдда и центральные здания обширного железоделательного завода, которым управлял Хорракс. Они стояли массивные, грозные; внутри их вечно бушевало пламя и кипело расплавленное железо; из прокатных мастерских доносился грохот, а паровой молот, тяжело ударяя, разбрасывал снопы белых искр. Как раз в одну из гигантских печей засыпали новую порцию топлива; сразу же вырвалось красное пламя и до самого неба поднялось облако дыма и черной копоти.

Раут решил прервать молчание, снова становившееся зловещим.

— Да, ваши печи действительно дают необы-

чайно красивые эффекты, — сказал он.

Хорракс что-то проворчал. Он стоял, засунув руки в карманы, и глядел на железную дорогу и на завод. Брови его нахмурились, словно он решал какой-то бесконечно важный, но чрезвычайно сложный вопрос. Раут взглянул на него, но тотчас же опять отвернулся.

— Сейчас еще нет настоящего лунного освещения, — продолжал он и посмотрел на небо, — день еще не вполне угас.

Хорракс вдруг уставился на своего спутника; у него было такое выражение лица, словно его только что разбудили.

— Что такое? Не угас?.. Ну да, разумеется. — Он тоже в свою очередь поднял вверх глаза и посмотрел на луну, казавшуюся лишь бледным пятном на светлом небе летнего вечера. — Пойдемте же, — вдруг сказал он; подхватив Раута под руку, он свернул на тропинку, ведшую к железной дороге.

Раут отступил назад, глаза обоих встретились. В один миг они сказали друг другу все то, что уста не смели выговорить. Хорракс крепко сжал руку Раута повыше локтя, но почти тотчас же отпустил ее. Не успел Раут опомниться, как он уже шел, хотя и неохотно, под руку с Хорраксом

по тропинке.

— Посмотрите, как красиво светятся огни семафора вон там, по направлению к Бэрслему, — сказал Хорракс. Раз прервав молчание, он продолжал говорить без умолку. Он шел быстро и все крепче и крепче сжимал руку Раута. — Взгляните на эти маленькие зеленые, красные и белые огоньки, сверкающие в тумане. Вы ведь любите световые эффекты, Раут, а тут очень красивая игра света. Теперь посмотрите на мои доменные печи, какой величественный у них вид. Вот она, направо, — моя любимица, в ней целых семьдесят футов высоты. Я сам строил ее, и вот уже пять лет, как она и день и ночь без устали плавит железо в своих недрах. У меня к ней какая-то особенная нежность. Вот эта красноватая линия — вы назвали бы это эффектным оранжевым бликом, не правда ли? Это пудлинговые печи; а вот там, эти три ярко освещенные черные силуэты, — это прокатные цехи. Заметили ли вы сейчас сноп белых искр, вырвавшийся из-под парового молота? Пойдемте туда. А слышите грохот листового железа по полу? Это удивительная штука. Это листовое железо, Раут! Оно глаже зеркала, когда только что выходит из обработки. А вот и молот опять заработал. Ну, пойдемте же.

Он умолк и перевел дух; руки его так крепко сжимали руку Раута, что тот не мог двинуться. По темной тропинке, ведшей к железной дороге, Хорракс мчался как безумный; Раут же все время молчал и только старался удержать стремительно летевшего спутника.

— Слушайте, Хорракс, — наконец произнес он с каким-то нервным смехом; в голосе его слышалась плохо скрываемая злоба. — Послушайте, вы мне сейчас руку оторвете! Куда это вы меня тащите?

Хорракс наконец отпустил его. Тон его совершенно изменился.

— Я вам сделал больно? — спросил он. — Простите! Но вы сами меня приучили ходить под руку, как полагается друзьям.

— В таком случае вы еще не успели изучить это дело во всех тонкостях, — сказал Раут и опять рассмеялся деланым смехом. — Черт возьми, у меня, наверное, вся рука в синяках!

Но Хорракс даже не извинился.

Они уже успели дойти до подножия холма, к самому забору, тянувшемуся вдоль полотна железной дороги. По мере того как они приближались, очертания завода росли и казались все более и более грандиозными. Теперь, для того

чтобы увидать доменные печи, им приходилось смотреть вверх: Этрурия и Гэнли скрылись из виду, когда они спустились с холма; впереди на заборе висела доска, на которой еле-еле виднелась забрызганная грязью надпись: «БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА».

— Да, безусловно красивые световые эффекты, — сказал Хорракс, делая широкий жест рукой. — Вон, смотрите, подходит поезд. Клубы дыма, оранжевый свет, яркий, круглый глаз фонаря паровоза, мелодичный лязг буферов — как красиво все это. Но раньше мои доменные печи были эффектнее, когда мы еще не научились закрывать верхнее отверстие железными конусами для того, чтобы использовать отходящие газы.

— Каким образом? — спросил Раут. — Какие конусы?

— Конусы, друг мой, конусы! Я покажу вам один из них вблизи. Раньше отверстия были всегда открыты и пламя оттуда вырывалось: над домной витал ночью огненный столб, а днем — облако дыма. А теперь мы отводим отходящие газы посредством труб и употребляем эти газы для того, чтобы нагревать воздух, который поступает в домну, а отверстие закрывается конусом. Вы увидите этот конус вблизи — это в высшей степени

интересная вещь.

— Однако, — сказал Раут, — из отверстия печи все-таки время от времени вырываются дым и пламя.

— Конус не приделан наглухо; он подвешен на цепи, которая прикреплена к рычагу, а с другой стороны имеется противовес. Впрочем, я покажу вам устройство его вблизи. Иначе, разумеется, никак нельзя было бы засыпать топливо в печь. Через определенные промежутки времени конус опускается вниз и из отверстия печи вырывается пламя.

— Понимаю, — сказал Раут. Он оглянулся назад. — А луна становится ярче, — добавил он.

— Пойдемте дальше, — вдруг сказал Хорракс. Он опять вцепился Рауту в плечо и неожиданно потянул его на рельсы. И тут в одно мгновение произошел краткий эпизод — один из тех эпизодов, которые оставляют после себя ощущения необычайно яркие, но настолько мимолетные, что человек после них остается ошеломленным и сомневается в том, был ли это сон или действительность. Не успели они перейти через половину железнодорожных путей, как рука Хорракса вдруг словно клещами сжала плечо Раута; в то же мгновение Раут почувствовал, что

спутник заставил его сделать полуоборот. Он посмотрел вперед. По главному пути, прямо на него, мчался поезд: уже можно было ясно различить ряд освещенных вагонов; два огня паровоза — красный и желтый — становились с каждым мгновением все ярче и ближе. Раут вдруг понял все; он повернулся лицом к Хорраксу и напряг всю силу, чтобы оттолкнуть его и вырваться из железных рук, удерживавших его на рельсах. Но борьба не продлилась и секунды. Было мгновенье, когда Раут твердо знал, что Хорракс удерживает его на месте; но почти в тот же миг он почувствовал, что спутник с силой оттащил его в сторону.

— Осторожнее, — сказал Хорракс, тяжело дыша. Поезд с грохотом промчался мимо них. Они оба стояли, с трудом переводя дух, около калитки, которая вела к заводу.

— Я не заметил, что поезд идет, — сказал Раут. Несмотря на то что опасения его только что получили подтверждение, он все еще старался вести разговор в обычном тоне.

Хорракс что-то проворчал.

— Конус, — произнес он и затем, словно вдруг очнувшись, добавил: — Я так и подумал, что вы не расслышали.

— Да, я ничего не слышал, — сказал Раут.

— Для меня было бы большое горе, если бы вы попали под поезд, — сказал Хорракс.

— Я на мгновенье как-то растерялся, — сказал Раут.

С минуту Хорракс стоял неподвижно, но потом он опять повернулся в сторону завода.

— Посмотрите, какими красивыми кажутся в темноте эти горы руды и кокса! А вон там поднимают вагонетку наверх: она опрокидывается, и ее содержимое засыпают в отверстие печи. Поглядите, каким эффектным потоком течет раскаленная красная масса. А теперь, когда мы подошли ближе, кучи руды наполовину закрывают от нас печи. Посмотрите, как трепетно дрожит пламя над той большой домной. Нет, вы не туда пошли. Сюда, в эту сторону. Та дорожка ведет к пудлинговым печам; а я хочу сначала показать вам канал.

Хорракс снова подошел к Рауту и взял его под руку. Они двинулись и пошли рядом. Раут рассеянно отвечал на вопросы Хорракса. Он никак не мог дать себе отчет в том, что такое, в сущности, произошло там, на рельсах. На самом деле Хорракс хотел, чтобы он попал под поезд, или это была его фантазия? Неужели он чуть было

не сделался жертвой обманутого мужа? А что, если этот угрюмый, злобный зверь на самом деле что-нибудь подозревает? Раут не на шутку испугался было за свою жизнь; но он тотчас же убедил себя в том, что ошибся, и неприятное чувство быстро прошло. А может быть, Хорракс ничего и не заметил? Как бы то ни было, но он вовремя стащил его с рельс. Странное поведение Хорракса могло объясниться той беспричинной ревностью, которую он не раз уже проявлял.

Хорракс что-то рассказывал про пепел и про канал…

— Не правда ли? — спросил он.

— Что такое? — ответил Раут. — Ах да! Освещенный луной туман? Очень красиво!

— Наш канал, — сказал Хорракс, вдруг останавливаясь, — наш канал необычайно эффектен при двойном освещении луны и огня. Неужели вы ни разу не видели его? Возмутительно! Впрочем, конечно, вы ведь все вечера проводите в Нью-Касле — кутите, ухаживаете. А я вам говорю, что вы редко где увидите такую красочную картину… Впрочем, вы сами сейчас в этом убедитесь. Кипящая вода…

Они наконец вышли из лабиринта, образованного горами угля и руды. Шум прокатных цехов,

близкий и громкий, сразу оглушил их. Мимо них прошли три темных силуэта рабочих. Узнав Хорракса, рабочие поздоровались; в темноте нельзя было разглядеть их лиц. На Раута напало страстное желание заговорить с этими людьми; но не успел он и рта открыть, как они уже исчезли в темноте. Хорракс указал на канал, к которому они уже успели подойти вплотную; раскаленные домны отражались в нем, отчего вода казалась кроваво-красной; это производило жуткое, фантастическое впечатление. Ярдах в пятидесяти от того места, где стояли Хорракс и Раут, в канал вливалась через трубу вода из охладительной системы; горячий поток бурлил и кипел, и с поверхности канала поднимались небольшие белые облачка пара. Словно непрерывный ряд призраков, эти облачка поднимались с поверхности черной, отливавшей красным воды; они летели по направлению к стоявшим на берегу людям, окутывая их бело-серым туманом; от быстрого мелькания облачков пара над водой кружилась голова. Во мгле виднелись очертания высившейся вблизи самой большой доменной печи. В ушах шумело от грохота. Раут был осторожен: он не подходил близко к воде и внимательно следил за Хорраксом.

— Здесь туман кажется красным, — сказал Хорракс, — он красен, как кровь, и горяч, как страсть; но вон там, где его освещает луна, мгла уже становится бледной и прозрачной, как сама смерть.

Раут лишь на мгновение повернул голову: он опять принялся следить за Хорраксом.

— Пойдемте теперь дальше, к прокатным цехам, — сказал Хорракс. На этот раз он уже не так крепко вцепился в Раута, и тот немного успокоился. Но все-таки на что намекал Хорракс, когда уверял, будто туман «красен, как страсть, и бледен, как смерть»? Может быть, это было просто совпадение?

Посетители прошли дальше и некоторое время постояли около пудлинговщиков; затем они осмотрели прокатные цехи, где среди оглушительного шума невозмутимо стучал паровой молот, словно стараясь выжать все соки из железа. Почерневшие, полуобнаженные титаны клали под колеса железные полосы, которые там перерабатывались, словно мягкий воск.

— Пойдемте дальше! — прокричал в ухо Рауту Хорракс.

Они вышли и направились к самой печи. Там сквозь маленькое застекленное отверстие можно было наблюдать огонь, горевший в глубине дом-

ны. Яркий блеск его мог совершенно ослепить человека. Посетители поднялись на лифте, на котором поднимали вагонетки с рудой, топливом и известью; в глазах у них все еще мелькали яркие зеленые и синие пятна.

Очутившись наверху, на узком мостике, окружавшем отверстие печи, Раут опять почувствовал прежний страх. Хорошо ли он сделал, что пришел сюда? А что, если Хорракс знал?.. Знал все? Его невольно охватила сильная дрожь. Тут под ним была пропасть в семьдесят футов глубины. Место очень опасное. Чтобы подойти к перилам, пришлось сдвинуть с места вагонетку с топливом; серные пары, поднимавшиеся из печи, наполняли воздух едким запахом, от которого кружилась голова и все кругом, казалось, плясало. Луна выплывала из-за облаков, освещая окруженные деревьями дома Нью-Касла. Внизу кипящим потоком протекал канал; поток мчался по направлению к мосту, очертания которого смутно виднелись вдали, и наконец исчезал из виду, затерявшись среди окутанной туманом равнины Бэрслема.

— Вот конус, про который я вам говорил, — громко прокричал Хорракс, — а там, под ним, отверстие печи в шестьдесят футов глубины,

сплошь наполненное пламенем и расплавленным железом; на поверхность этой расплавленной массы поднимаются пузырьки воздуха, поступающего из мехов, словно пузырьки газа в стакане содовой воды.

Раут крепко вцепился в перила и нагнулся, чтобы посмотреть на конус. Жара стояла невыносимая. От кипящего железа и от мехов в воздухе стоял оглушительный шум, под аккомпанемент которого Хорракс давал свои объяснения. «Все равно, — подумал Раут, — теперь уже надо выдержать испытание до конца. Может быть, все-таки...»

— Там, внутри, — заорал Хорракс, — температура доходит до тысячи градусов. Если бы вы, например, упали туда... вы сразу вспыхнули бы, как щепотка пороха, брошенная на пламя свечи. Протяните руку вперед — чувствуете горячее дыхание печи? Я видел, как здесь на вагонетках закипала дождевая вода. А сам конус! Там пирога не спечешь — моментально сгорит. Температура наружных стенок его доходит до трехсот градусов.

— До трехсот градусов! — повторил Раут.

— Триста по Цельсию, заметьте! — сказал Хорракс. — У вас вмиг закипела бы кровь в жилах.

— Что? — спросил Раут и повернулся к нему.

— У вас вмиг закипела бы… Нет, не уйдешь!

— Пустите меня! — закричал Раут. — Пустите мою руку!

Он схватился за перила сначала одной рукой, потом обеими. Мгновение противники стояли на мостике, раскачиваясь из стороны в сторону. Вдруг Хорракс сильно рванул и оторвал Раута от перил. Несчастный хотел было схватиться за своего врага, но это ему не удалось. Он почувствовал, что летит в пропасть. В воздухе он перевернулся и боком упал на конус; щека, рука и нога его одновременно коснулись раскаленной поверхности.

Он схватился за цепь, на которой был подвешен конус; от этого и цепь, и конус слегка опустились; края конуса охватил огонь; язык пламени, вырвавшись из хаоса внутри печи, лизнул колени несчастного; он почувствовал запах горящего мяса собственных рук; он встал на ноги, тщетно стараясь взобраться вверх по цепи, но что-то ударило его по голове. И вдруг перед ним замелькали стены отверстия печи, черные от копоти и блестящие от лунного света.

Подняв голову, он увидел, что Хорракс стоит наверху, около вагонетки с топливом. Фигура врага ясно и четко вырисовывалась при свете

луны. Обманутый муж яростно жестикулировал и громко кричал:

— Гори, подлец! Гори, Дон-Жуан! Ах, у тебя кровь кипела от страсти? Так пусть она еще сильнее закипит! Гори, собака, гори!

Он вдруг схватил горсть угля с вагонетки и стал швырять кусок за куском в Раута.

— Хорракс! — крикнул Раут. — Хорракс! — Он с криком хватался за звенья цепи, стараясь подняться выше, уйти от раскаленного конуса. Все куски угля, которые швырял Хорракс, попадали в цель. Одежда Раута вся обуглилась и тлела. Вдруг конус опустился вниз, из отверстия печи вырвались клубы раскаленного удушливого газа и окружили несчастного горячим кольцом пламени. Тело страдальца потеряло человеческий облик. Когда вспышка прошла, Хорракс увидел почерневшую обугленную фигуру. Голова Раута была залита кровью, но он все еще судорожно хватался за цепь, извиваясь от боли, словно огромный червяк, какое-то утерявшее человеческий образ чудовище, издававшее дикие вопли и рыдания.

При виде этого ужасного существа вся злоба обманутого мужа мгновенно прошла. От ужаса он чуть было не потерял сознание. До него донесся

удушливый запах горящего человеческого мяса; он вдруг словно очнулся.

— О, что я сделал!

Он знал, что это существо, там, внизу, уже все равно погибло безвозвратно, знал, что кровь несчастного уже кипит в жилах, но все-таки червяк еще копошился и страдал. Хорракс вдруг ясно себе представил, какие муки испытывает его враг, и это сознание победило все прочие ощущения. Секунду он стоял в нерешительности; затем он быстро повернулся назад, схватил вагонетку и опрокинул содержимое ее на то, что некогда было человеком. Уголь с глухим звуком ударился о конус и посыпался в печь. Крики несчастного мгновенно прекратились. Из отверстия вырвалось облако пламени, дыма и угольной пыли. Но оно быстро рассеялось, и Хорракс опять увидел конус.

Шатаясь, он отступил назад и долго стоял, весь дрожа, судорожно уцепившись за перила обеими руками. Губы его беззвучно шевелились.

Там, внизу, раздался звук голосов и шум беготни: грохот вагонеток мгновенно прекратился.

1895

Эликсир Уэйда

Уэйду очень завидовали. Последние семнадцать лет ему в жизни сопутствовал успех — не банальный успех в виде полосы удачных совпадений, а такой, ради которого приходится честно прилагать усилия, успех, приходящий как следствие работы над собой, успех, который приносят сила характера и одаренность. Уэйд имел хороший слог, удачно женился на девушке, самой яркой представительнице своего поколения, победил на казавшихся безнадежными выборах. И хотя все знали, что он небогат и незнатен, никому из незнатных людей прежде не удавалось, как ему, добиться места в одном из прогрессивных министерств под началом радикалов. Неудивительно, что остальные плебеи, тщившиеся стать риторами и политическими лидерами, приписывали взлет его карьеры счастливой случайности. Однако с тем, что Уэйд был блестящим человеком и полностью заслуживал своего положения, спорить не приходилось. Сидя у огня и глядя на красноватые угли, он тоже не спорил. В его левой, опущенной на стол ладони покоился маленький

пузырек из прозрачного стекла, наполненный легкой фосфоресцирующей жидкостью цвета лаванды.

— Удивительная вещь! — с тенью улыбки сказал Уэйд старику Мэннингтри. — Интересно, какие ингредиенты вы добавляете в этот эликсир успеха?

— Вы можете гадать целый день, — ответил Мэннингтри, — но будете очень удивлены, если я выдам вам секрет.

Оба мужчины погрузились в уютное молчание. Подобное спокойное молчание — признак истинной дружбы, когда можно отодвинуть в сторону пинг-понг словесной перепалки и сообща насладиться тишиной. Уэйд мысленным взором окинул период последних семнадцати лет — как приятен полет воспоминаний! Завтра ему предстояло вынести на обсуждение глупейший проект закона, запрещавшего художественное изображение обнаженного тела. Законопроект был абсурден и не рассчитан на принятие, его вносили лишь для того, чтобы умаслить одну важную фракцию с серьезными интересами. Сам факт его появления был обязан изворотливому лицемерию Уэйда. Он был единственным в лагере своих сподвижников, способным при

необходимости совмещать едкую иронию, которую фракция с серьезными интересами была неспособна понять, с пылкой искренностью, которую она вполне понимала. Он планировал воспользоваться этим не очень удобным случаем и поразить воображение соперников блестящим выступлением, меняя акценты с издевки на примирительный тон и обратно с потрясающей быстротой, с какой переливчатый шелк меняет оттенки цвета. Уэйд четко представлял себе, как это сделает. Во вторник предстояло принять три враждующих между собой группы делегатов по вопросу о «лощине Рейнера». Он не сомневался в том, что успешно с ними разберется и все уйдут от него довольными. На среду намечен обед с премьер-министром — Уэйд улыбнулся, представив себе, с какой дрожью в коленях он готовился бы к подобному мероприятию двадцать лет назад. Затем четверг. Четверг — воистину превосходный день. В четверг Уэйд повысит свою оценку в глазах миллионов людей, потому что разгромит и сотрет в порошок Брауна, осмелившегося встать на пути внешней политики правительства. Правительство могло ошибаться в кое-каких мелочах, в конце концов, Уэйд не был министром иностранных дел, однако оппозиция опреде-

ленно допустила серьезную ошибку, выдвинув ему в оппоненты Брауна. «А что произошло бы двадцать дет назад?» — подумал Уэйд, пытаясь представить себе, смог ли бы он разгромить Брауна двумя десятилетиями раньше.

И это подводит нас к сути данной истории. Любопытнее всего то, что восемнадцать лет назад Уэйд в собственных глазах был полным неудачником. Дожив до возраста тридцати одного года, он ничего не совершил или, что еще хуже, наломал много дров. Дальновидные люди говорили, что он умен, случайный знакомый, известный критик, замечал за ним проблески гениальности, в него верили родные сестры. В послужном списке Уэйда числились диплом Кембриджа по двум дисциплинам, третье место в шахматном турнире, роман, распроданный тиражом в две тысячи экземпляров, томик критических эссе, неудачная попытка заочного преподавания и провальное участие в выборах от местной политической платформы — свершения, заслуживающие уважения, но никак не предвещавшие, что к сорока восьми годам он станет членом кабинета министров. Уэйд с признательностью посмотрел на пузырек в своей руке.

В прошлом удача не улыбалась Уэйду даже в

общественных делах. Проблема заключалась в том, что ему не хватало присутствия духа и он страдал от органической неуверенности в себе. Пожилые дамы считали его приятным молодым человеком, только немного робким, дамы помоложе — увальнем. Речь Уэйда была миниатюрным слепком всей его жизни — изобиловала запинками и перемежалась не к месту высказанными дельными мыслями. Написанная им книга напоминала рукопись его собственной жизни — редактируя ее, он придал своим мыслям такую утонченность и настолько запутал сюжет, что никто ничего не понял. Он очень хорошо разбирался в шахматной игре и, по его утверждениям, проиграл тевтонскому гроссмейстеру Ботчу главным образом потому, что от последнего несносно разило чесноком. К тридцатилетнему возрасту Уэйд, казалось, уже начал терять интерес к жизни, впереди маячила холостяцкая участь с ее занятиями естествознанием, местными шахматными клубами и рафинированной желчностью, но никак не кабинет министров.

Его спас старина Мэннингтри. Спасение пролилось на Уэйда совершенно неожиданно лет семнадцать или восемнадцать тому назад во время игры в бильярд. Уэйд на волосок промазал,

выполняя удлиненный, однако несложный карамболь, и откусил голову готовому сорваться с языка вялому ругательству.

— В том-то и дело, — сказал Мэннингтри.

— Прошу прощения? — сказал Уэйд. В то время он постоянно просил у кого-нибудь прощения.

— Больше нет никаких сомнений. — Мэннингтри, натирая мелом кончик кия, окинул Уэйда критическим взглядом. — Вы, Уэйд, очень занятный случай.

Уэйд терпеть не мог, когда его рассматривали в упор.

— Что вы имеете в виду? — спросил он. — Надеюсь, вы говорите не о какой-то новой болезни?

— Я говорю об органическом несоответствии. Если только — исключительно между нами — вы позволите мне нарушить профессиональную этику, поколебать вашу ангельскую диспозицию и кое-что посоветовать…

— Доктор Уэдди говорит, что мне здоровья не занимать.

Мэннингтри занял неудобную позу, сев на край стола, и тщательно прицелился.

— Знаете, что…

Карамболь.

— …вы мне не безразличны, Уэйд. Вы любопыт-

ная натура. Этот Ботч, кстати, не ровня вам по части шахмат. Я интересовался, как он играет. — Мэннингтри, погрузившись в размышления о шахматах, все не слезал со стола. — Да что там! Вы могли бы легко заткнуть его за пояс.

— И я так думал. Вот только…

— В том-то и дело, — повторил Мэннингтри. — В том-то все и дело.

— Что?.. Я хотел сказать, что запах чеснока…

— И слукавили бы. Проблема, честно говоря, заключается в несоответствии вашего характера и ваших способностей. Да вы и сами, поди, догадываетесь. Вы сами себе постоянно подставляете ножку. В самый неподходящий момент у вас возникает какое-нибудь смутное сомнение, и вы делаете промашку. Все важные игры вы проигрываете, потому что решаете в последнюю минуту подстраховаться. Боитесь сделать неверный ход. А в итоге идет насмарку вся игра. Ваш порыв гаснет, вы падаете духом, и от ваших намерений остается жалкий трупик. Если бы не это, Уэйд…

— То что?

— …вы стали бы блистательно успешным человеком. Правда-правда, я безо всякой лести искренне считаю вас человеком выдающихся способностей.

— Но не выдающегося характера? — с улыбкой уточнил Уэйд. — Не повезло мне с характером.

— Не стоит унывать. Способности — свойство разума, характер… это физиология, главным образом кровообращение и пищеварение. Именно поэтому я завел с вами сегодняшний разговор. — Мэннингтри замолчал. — Я бы не начинал его, будь ваш случай безнадежен.

Уэйд уставился на собеседника. Он был застигнут врасплох и растерялся.

— Вы хорошо поставили шар под следующий удар, — сказал он, посмотрев на стол.

Мэннингтри соскочил на пол и обошел вокруг стола.

Минуты три ни один из них не произносил ни слова. Мэннингтри спокойно выдержал неспешную паузу. Наконец Уэйд кашлянул.

— Вы прежде не относились к моей нерешительности как к проявлению болезни. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Я и сам не раз это ощущал, хотя прежде не представлял себе картину с той ясностью, с какой вы ее описали. Начиная что-либо делать, я чувствую, что обязательно все испорчу, а если не испорчу, то провалюсь сквозь землю от стыда. Грубая уверенность в себе этого немца нанесла мне жестокий

удар. До сих пор не могу опомниться. Что бы я ни намеревался сделать, заранее предвижу момент колебаний и опускаю руки. В школе было лучше, но уже в выпускном классе игра в кегли пошла из рук вон плохо. Однако я считал, что за этим стоит некое умственное проклятие.

— Нервы, солнечное сплетение.

— Так вы хотите сказать… — начал было Уэйд.

— Да, хочу. Это — физическое состояние, и оно излечимо. Причину я и сам не знаю, но есть одно лекарство…

— Пилюля для легковерных!

— Никакая не пилюля. Это вещество в основном алкалоид. И все-таки нет ни малейших сомнений, что оно разровняет психические ухабы, на которых трещат ваши рессоры, и задушит в зачатке мысли, заставляющие вас оступаться, заменит «мне страшно», «как-нибудь потом», «ничего не получится», «как бы чего не вышло» на четкое и громкое «я смогу».

— В такое трудно поверить.

— Перед вами исцеленный пациент. — Мэннингтри перешел к неторопливому завершению игры.

— Надо же! — произнес Уэйд после очередной паузы.

— Ну так что?

— Я бы не прочь попробовать это лекарство.

— Увы, такой возможности нет.

— Я думал, что вы мне это говорите, потому что…

— Сам я не умею его приготовлять. У меня совсем мало осталось. Оно попало мне в руки случайно… в девяносто восьмом выиграл.

— И все же надежда есть?

— Надежда есть, — ответил Мэннингтри, ставя кий на подставку. На мгновение он задержал свои маленькие блестящие глазки на лице Уэйда. — И я вполне готов им поделиться, если смогу его найти. — Он молча смерил Уэйда взглядом. — Но… — с легким нажимом сказал он, — вряд ли кто-то расстанется с таким лекарством за гинею и «спасибо» в придачу.

Еще раз напоследок окинув Уэйда взглядом, Мэннингтри повернулся, заложил руки за спину и медленно вышел из комнаты с видом человека, вдруг усомнившегося в разумности того, что он только что сказал. Уэйд стоял, вытаращив глаза.

Он живо вспомнил этот разговор сегодня вечером и то, как искал и подстерегал Мэннингтри, чтобы выведать подробности о чудесном средстве. На следующий день Мэннингтри отмах-

нулся, заметив, что сболтнул вчера после обеда лишнего и что лекарство невозможно достать. Якобы его готовил один человек в больничном комплексе Сальпетриер, но он скоропостижно умер. Если повезет, препарат еще где-нибудь отыщется. Поиски продолжаются. Кому-кому, а Мэннингтри он здорово помог. Во время этой волнующей беседы Уэйд показался самому себе еще более безнадежным и никчемным человеком. А когда Мэннингтри начал ронять намеки на возможный успех, Уэйд буквально начал его осаждать. Приятель только улыбался и отнекивался. Уэйд наконец взмолился. Поначалу он не очень верил, что застенчивость можно вылечить медикаментами, но в горячке преследования своей цели он как-то об этом позабыл. В итоге он стал умолять Мэннингтри назвать свои условия, потому что воистину стал считать эликсир «живой водой». Его суетливость приняла довольно странные черты.

— Для вас, — сказал Мэннингтри, — препарат действительно мог бы стать эликсиром счастья. Из стороннего наблюдателя, бессловесного зрителя на галерке он превратит вас в талантливого актера на сцене общественной жизни.

— Я на все готов.

— Предположим, что я достану это снадобье — мне кажется, что теперь у меня есть такая возможность, — вы бы согласились держать меня в курсе продвижения вашей карьеры?

— С удовольствием.

— И вы готовы выписать мне вексель на семь тысяч фунтов, когда станете членом кабинета министров?

— Членом кабинета министров?!

— Разумеется. Для этого не требуется быть гением. Вам это вполне по силам.

Ни о чем больше Мэннингтри не попросил. По сравнению с перспективами — сущий пустяк.

Уэйд был настолько ошарашен, что заподозрил в предложении какой-нибудь скрытый подвох, некое ужасное непреодолимое препятствие. Он не мешкая согласился и принял первую дозу еще до окончания недели.

Так семнадцать лет назад он впервые ощутил вкус удачи, впервые в жизни приступил к исполнению намеченного, отбросив сомнения в себе или в успешном исходе дела, одержал первую победу — и с тех пор побеждал постоянно. Характер его как будто поменял знак минуса на плюс. Он стал ловким и расторопным, приобрел репутацию исключительно волевого человека.

Для успеха, как оказалось, ему не хватало лишь уверенности в себе. И вот он, человек большого веса, которого хвалит, порицает и ненавидит публика, точка пересечения тысяч различных интересов, ведущий деятель, яркий персонаж нескончаемой пьесы политической жизни сидит в курительной комнате своего спасителя.

— Интересно… — проронил Мэннингтри, прервав долгие размышления.

— Что?

— Могли бы вы теперь обойтись без него? — Мэннингтри указал глазами на пузырек.

— Нет уж, покорно благодарю! — с улыбкой ответил Уэйд.

— Чудесное средство.

— Воистину.

— Оно сделало вас другим человеком. Или, чтобы не обижать вас, сорвало обертку и представило вас тем, кем вы могли бы быть с самого начала. Оно придало вам духа, мужества, уверенности в себе.

— Вы правы.

— Вот только…

— Что?

— Нет, я все-таки скажу. Это снадобье, Уэйд, этот эликсир успеха всего лишь дистиллирован-

ная вода.

— Что-о?

— Дистиллированная вода, немного подкрашенная для убедительности.

— Вы хотите сказать, что это лекарство, этот алкалоид, сделавший меня таким, как я есть…

— Дистиллированная вода, а пару раз в пузырьке была самая обычная питьевая вода… из Нью-ривер.

— Вы имеете в виду…

— Я уже сказал то, что имею в виду, — ответил Мэннингтри, стряхивая пепел сигары в камин. На его лице проступило раскаяние.

Уэйд ахнул и уставился на приятеля. Возникла неловкая пауза. Мэннингтри искоса поглядывал на своего пациента блестящими глазами.

Уэйд вскочил и оперся локтем на каминную полку. В его глазах застыло выражение ужаса.

— Как же так! — воскликнул он. — Я не понимаю. Вы вправду дурачили меня столько лет?

Мэннингтри нетерпеливым жестом бросил сигару в огонь. Он понял, что совершил непоправимую ошибку. Наступило молчание.

— Семнадцать лет, — медленно проговорил Уэйд, не отрывая от него взгляда, — я плясал на краю пропасти.

— Не будь я законченным дураком, не позволь я себе эту необдуманную несдержанность, вы бы проплясали там до конца своей жизни. Я на минуту позабыл, каким вы были раньше, из-за вашего румяного, преуспевающего вида.

— Обычная вода!

— С красителем. Послушайте, Уэйд, не надо стоять и таращиться на меня. Сядьте и спокойно выслушайте. Взгляните на ситуацию открытыми глазами. Вы, как я вам уже говорил, человек выдающихся способностей, но вы родились тихоней, вас патологически преследовала некая идея-фикс, из-за чего в вашем разуме постоянно звучало: «Я не смогу». Ваше сознание как будто находилось в зачарованном состоянии, что часто случается со многими «слабыми духом». Я не раз наблюдал, как загипнотизированные люди не в состоянии перешагнуть через проведенную на полу черту, подчиняясь искусной суггестии. Да вы и сами, наверное, это видели. Когда я с вами познакомился, вы страдали от чрезмерной робости, неизбежные неудачи молодости вас практически погубили, превратили в челнок без весел в житейском море.

— Ну-ну?

— Я вас загипнотизировал. Это — факт, Уэйд. Вы

прожили под моим гипнозом семнадцать лет. Ибо это и есть настоящий гипноз. Я внушил вам — и мне льстит, что я это так искусно провернул, — что некое лекарство изменит вашу установку с «я не сумею» на «я смогу». С вами пришлось повозиться. Если бы я отдал вам препарат в тот же день, когда рассказал о нем — припоминаю, что это случилось в бильярдной Мерча, — вы бы засомневались, приняли бы его, покачали головой и продолжали бы жить, как прежде. Поэтому я сделал его недоступным, заставил вас страстно жаждать получить его и притворялся, что передумал. Помните это время? Вы получили средство только после того, как я убедился, что вы полностью забыли о своих подозрениях и длительное ожидание начало вас раздражать.

— Другими словами, я заглотил крючок.

— Если вы так это себе представляете, то вам несдобровать, Уэйд. Как бы то ни было, вы перестали бояться и принялись за дело. Черт побери! Вы славно пожили. И если вы не бездуховный трус, то еще поживете не менее славно. Разве вы не видите, что вы всего лишь осуществили то, что и так было в вас заложено? Вы можете продолжать в том же…

— Если сохраню веру в себя, — прервал его

Уэйд, глядя на огонь. — Если только сохраню веру в себя. — Он насупил брови. — Какого дьявола вы мне все это рассказали?

Мэннингтри прищурил глаза.

— Вера… — продолжал Уэйд. — Я тут как раз тешил себя воспоминаниями о прошлом. Вера сдвигает горы. А эта штука не более чем амулет, такой же глупый, как бантики целомудрия короля Луи или обереги игроков в рулетку. Но вера… Проблема в том, — Уэйд мрачно улыбнулся, — что некоторые сдвинутые горы все еще находятся в движении. Я сейчас вдруг ощутил на плечах всю их тяжесть. С вашего позволения…

— Мой дорогой друг, вы тот же, что были пятнадцать минут назад. Ваши способности никуда не делись.

— Вы забыли, что поколеблен один небольшой элемент. Краеугольный камень, так сказать.

Настал черед долгого молчания, глубоких раздумий, чуткой настороженности.

— Черт дернул вас за язык! — не выдержав, громко воскликнул Уэйд срывающимся голосом. — Зачем вы мне это сказали? Обыкновенная вода! Передо мной вдруг разверзлись все бездны, в которые я доселе не боялся упасть. Как вас, должно быть, веселила моя самоуверенность!

Теперь я вижу, что мой язык может в любой момент дать осечку. Я не оступался лишь потому, что уверовал в свою неспособность оступиться. А вы отняли у меня эту веру. Я чувствую себя как лунатик, внезапно проснувшийся на самой верхней точке чудовищно огромного здания.

Уэйд схватился за лоб.

— Чушь! — сухо бросил Мэннингтри. — Это всего лишь пустые страхи. Конечно, мне следовало держать язык за зубами, однако завтра в Парламенте вы обо всем забудете.

— Пустые страхи!.. Дорогой мой, зло вы уже совершили. Не пытайтесь исправить его неуклюжими увертками. Разве со мной что-то было не так в былые дни, кроме пустых страхов? Вода! Еще бы мне не сомневаться! Вы забросили меня на другой край пропасти, а теперь обрезали веревку. Проклятье! Мне предстоит адская речь завтра и в четверг! Ох, Мэннингтри!

Уэйд заплакал.

В приступе бессильной ярости он схватил пузырек и швырнул его в огонь, разбив вдребезги, после чего направился к выходу. Мэннингтри вскочил на ноги.

— Уэйд! Стойте, я пошутил! Лекарство настоящее.

Уэйд, обернувшись, посмотрел доктору в глаза и вяло улыбнулся дорожащими губами.

— Поздно, Мэннингтри. Анекдот потерял свою свежесть.

С этими словами он вышел из комнаты, напоследок взмахнув рукой в жесте бессильного отчаяния.

Старый Мэннингтри так и остался стоять, положив руку на каминную полку и глядя на колеблющуюся занавеску. Потом, кряхтя, сел и уставился на огонь, в котором красными огоньками поблескивали осколки стекла.

— Какой черт дернул меня проткнуть этот пузырь? — через некоторое время произнес он. — Как чудовищно небрежны наши самые серьезные поступки!

«Как бы то ни было, пузырь-то я сам и надул, — подумал он, раскуривая новую сигару. — Как-ни-как пожил семнадцать лет в свое удовольствие. И на этом все. Теперь его ждет вопиющий провал! Надо списать будущие неудачи на грипп. Или на переутомление. Какой у него был солидный, внушительный вид, пока он сидел здесь и размышлял! Трус несчастный! Побеждал, видите ли, из-за одной уверенности в победе. Боже меня упаси от таких предательских страхов!»

1895

В бездне

Лейтенант стоял перед стальным шаром и грыз сосновую щепку.

— Что вы об этом думаете, Стивенс? — спросил он.

— Это идея, — заметил Стивенс тоном человека, который хочет быть беспристрастным.

— По-моему, он будет раздавлен, расплющен, — сказал лейтенант.

— По-видимому, он вычислил все довольно точно, — возразил Стивенс с прежней невозмутимостью.

— Но вспомните о давлении, — сказал лейтенант. — У поверхности воды давление четырнадцать фунтов на дюйм; на глубине шестидесяти — в три раза, на девяноста футах глубины — в четыре раза, на девятистах — в сорок раз, на пяти тысячах трехстах, что составляет милю, оно равняется двумстам четырнадцати фунтам, помноженным на сорок. Это выходит… постойте-ка… тридцать центнеров. Значит, полторы тонны на квадратный дюйм, Стивенс. А глубина пять миль. Значит, семь с половиной тонн.

— Многовато, — сказал Стивенс. — Но сталь толстая.

Лейтенант ничего не ответил и опять принялся за свою щепку.

Предметом их беседы был огромный стальной шар, наружный диаметр которого равнялся приблизительно девяти футам. Он выглядел как снаряд, приготовленный для какого-то титанического артиллерийского орудия. Он был тщательно укреплен на чудовищного размера лесах, пристроенных к корпусу с судна, и гигантские балки, по которым он скоро должен был скользнуть вниз, в воду, придавали корме судна странный вид, возбуждающий любопытство всякого порядочного моряка от лондонского порта до тропика Козерога. В двух местах — сверху и снизу — в сталь шара были вделаны два круглых окна из необыкновенно толстого стекла. Одно из них, оправленное в стальную, очень прочную раму, было наполовину отвинчено.

Этим утром собеседники в первый раз увидели внутренность шара. Она была выложена наполненными воздухом подушками; между подушками виднелись кнопки, посредством которых осуществлялось управление несложным механизмом снаряда. Все внутри было тщательно

обито этими подушками, даже аппарат Мейера, предназначенный для поглощения углекислоты и выработки кислорода для обитателя шара, когда он войдет внутрь через круглое отверстие и окно будет завинчено. Внутренность шара была выложена подушками так основательно, что, если бы даже им выстрелили из орудия, и тогда человек внутри него нисколько бы не пострадал. Это было совершенно необходимо, потому что скоро в отверстие действительно предстояло вползти человеку, за которым крепко завинтят окно, и шар, брошенный в море, опустится вглубь на пять миль, как сказал лейтенант.

Все это так занимало лейтенанта, что за столом в кают-компании он всем надоел. Стивенс, который только что прибыл на борт, был для него настоящей находкой, и с ним можно было без конца говорить об этом.

— По-моему, — говорил лейтенант, — при подобном давлении стекло поддастся, вогнется внутрь и лопнет; Дабрэ достиг того, что у него под высоким давлением скалы растекались, как вода. И заметьте…

— А если стекло лопнет, — спросил Стивенс, — что тогда будет?

— Вода ударит внутрь стальной струей. Испы-

тывали ли вы когда-нибудь действие прямой струи воды, бьющей под высоким давлением? Она бьет как пуля. Она попросту раздавит его в лепешку. Она ворвется ему в горло, в легкие, проникнет в уши…

— Какое у вас живое воображение, — заметил Стивенс, ясно представив себе все это.

— Я просто констатирую неизбежное, — сказал лейтенант.

— А шар?

— Шар выпустит несколько пузырей и спокойно уляжется на вязком, илистом дне океана, а внутри будет лежать бедный Эльстэд, размазанный на своих расплющенных подушках, как масло на хлебе, — повторил он, как будто эта фраза доставляла ему удовольствие.

— Что? Любуетесь на мяч? — произнес чей-то голос.

За их спиной стоял Эльстэд, одетый с иголочки во все белое, с папиросой в зубах; глаза его улыбались из-под широкополой шляпы.

— Что вы тут толкуете про хлеб с маслом, Уэйбридж? Все ворчите, что морские офицеры получают мало жалованья?.. Ну, теперь до моего старта остается не больше суток. Сегодня будут готовы тали. Ясное небо и легкое волнение…

Погода как раз подходящая для того, чтобы спустить в море двенадцать тонн свинца и стали. Не правда ли?

— Ну, на вас погода мало отразится, — сказал Уэйбридж.

— Вовсе не отразится: на глубине семидесяти или восьмидесяти футов, — а я достигну ее через десять секунд, — ни одна частица воды не шелохнется, хотя бы наверху ветер охрип от рева, а волны вздымались до самых облаков. Нет, там, внизу…

Эльстэд подошел к борту, и двое других последовали за ним. Все трое наклонились, опираясь на локти, и стали глядеть на желто-зеленую воду.

— Покой, — сказал Эльстэд, доканчивая вслух свою мысль.

— А вы вполне уверены, что часовой механизм будет действовать исправно? — спросил немного погодя Уэйбридж.

— Он действовал исправно тридцать пять раз, — ответил Эльстэд. — Он должен работать.

— А если испортится?

— А почему бы ему испортиться?

— Я не согласился бы спуститься в этой проклятой штуке даже за двадцать тысяч фунтов.

— Вы — приятный собеседник, ничего не ска-

жешь, — заметил Эльстэд и непринужденно сплюнул в воду.

— Все-таки я до сих пор не понимаю, как вы будете управлять этой штукой, — сказал Стивенс.

— Прежде всего я буду заключен в герметически закрытый шар, — ответил Эльстэд. — После того как я три раза зажгу и потушу электричество в знак того, что чувствую себя хорошо, меня спустят с кормы при помощи вот этого крана, причем к нижней части шара будут прикреплены большие свинцовые грузила. Верхнее грузило имеет вал, на который накручен прочный канат длиной в шестьсот футов, — вот все, что прикрепляет грузила к шару, если не считать талей, которые будут перерезаны, когда прибор спустят. Мы предпочитаем канат проволочному кабелю, так как его легче перерезать и он легче всплывает, а это совершенно необходимо, как вы сейчас увидите. Как вы можете заметить, в каждом из этих свинцовых грузил есть отверстия, сквозь которые будет продет железный брус; он будет выдаваться на шесть футов с нижней стороны. Если этот брус получит толчок снизу, он приподнимет рычаг и пустит в ход часовой механизм, находящийся сбоку вала, на который накручен канат. Теперь дальше. Весь снаряд постепенно

спускают в воду и перерезают тали. Шар всплывает, — когда он наполнен воздухом, он легче воды, — но свинцовые грузила сразу идут ко дну, и канат разматывается. Когда он размотается весь, шар пойдет ко дну, потому что его потянет канат.

— Но зачем нужен канат? — спросил Стивенс. — Почему не прикрепить грузила прямо к шару?

— Чтобы избежать сильного толчка там, на дне. Ведь вся эта штука помчится ко дну миля за милей, со страшной быстротой. Если бы не этот канат, все разлетелось бы вдребезги. Но грузила ударятся о дно. И как только это случится, начнет действовать плавучесть шара. Он будет спускаться все медленней и медленней; наконец он остановится и перестанет погружаться. Тут-то и начнет работать механизм. Как только грузила ударятся о дно, брус будет вытолкнут и пустит в ход часовой механизм. Тогда канат опять начнет накручиваться на вал. Я буду притянут на дно. Там я останусь полчаса. Я зажгу электричество и осмотрю дно. Затем часовой механизм освободит пружину с ножом, канат будет перерезан, и я опять помчусь вверх, как пузырь в стакане содовой воды. Канат поможет мне всплыть.

— А если вы случайно ударитесь о какое-нибудь

судно? — спросил Уэйбридж.

— Я будут подниматься с такой быстротой, что пролечу сквозь него, как пушечное ядро, — ответил Эльстэд. — Об этом нечего беспокоиться.

— А представьте себе, что какое-нибудь ловкое ракообразное влезет в ваш механизм.

— Тогда мне лучше было бы не спускаться, — сказал Эльстэд, повернувшись спиной к морю и глядя на шар.

К одиннадцати часам Эльстэд был уже спущен за борт.

День был тихий и ясный; горизонт окутан дымкой. Электрический свет в верхней части шара весело блеснул три раза. Потом шар медленно спустился на водную поверхность; на корме стоял матрос, готовый перерезать тали, соединявшие шар и грузила. Такой большой на палубе, шар теперь на воде, под кормой, казался крошечным. Он слегка покачивался на волнах, и два его темных окна, оказавшиеся наверху, как два круглых глаза, с удивлением глядели на людей у поручней на борту. Кто-то задал вопрос, что будет с Эльстэдом, если шар начнет перекатываться.

— Готово? — крикнул капитан.

— Есть!

— Отдай тали!

Канат натянулся над лезвием и перервался. Над шаром, смешным и беспомощным, прокатилась волна. Кто-то замахал платком; кто-то попробовал крикнуть «ура», которое не было подхвачено. Мичман медленно считал: «Восемь, девять, десять». Шар еще раз покачнулся, потом, разбрасывая брызги, сразу стал прямо.

Мгновение он казался неподвижным, только быстро уменьшался в объеме; потом волны сомкнулись над ним, и он стал видим под водой, увеличенный преломлением и потускневший. Никто не успел сосчитать до трех, как он исчез. Далеко в глубине блеснул белый шар; вскоре он превратился в светлую точку, и все погасло. Глубину охватила тьма; видно было, как во мраке проплыла акула.

Потом винт крейсера завертелся, поверхность воды заколебалась, акула скрылась в забурлившей воде, и по хрустальной глади, поглотившей Эльстэда, пробежал поток пены.

— Что такое? — спросил один старый матрос.

— Отходим мили на две, чтобы он как-нибудь не ударил нас, когда всплывет, — ответил ему товарищ.

Судно медленно отходило. Почти все незанятые на борту остались на палубе, наблюдая взды-

мающиеся волны, в которые погрузился шар. В течение получаса не было произнесено ни одного слова, которое не относилось бы прямо или косвенно к Эльстэду. Декабрьское солнце стояло высоко над горизонтом. Стало жарко.

— Там, внизу, ему будет прохладно, — заметил Уэйбридж. — Говорят, на известной глубине вода в море всегда почти на точке замерзания.

— Где он всплывет? — спросил Стивенс. — Я плохо ориентируюсь.

— Вон там, — сказал капитан, гордившийся своей осведомленностью. Он показал пальцем на юго-восток. — Да, кажется, уж пора, — прибавил он. — Он пробыл там тридцать пять минут.

— Сколько нужно времени, чтобы достигнуть дна? — спросил Стивенс.

— На глубину в пять миль, считая, что скорость увеличивается на два фута в секунду, понадобится ровно три четверти минуты.

— Тогда он опаздывает, — заметил Уэйбридж.

— Как будто, — ответил капитан. — Вероятно, несколько минут заняло накручивание каната на барабан.

— Я упустил это из виду, — сказал Уэйбридж с заметным облегчением.

Началось томительное ожидание. Медленно

протекала минута за минутой, а шар не показывался; ничто не колебало маслянистой поверхности. Все снасти были усеяны людьми.

— Ну, выныривай же, Эльстэд! — нетерпеливо промолвил старый матрос с волосатой грудью. Все подхватили его слова и стали кричать, словно перед поднятием занавеса в театре.

Капитан сердито поглядел на них.

— Конечно, если скорость нарастает меньше чем на два фута в секунду, это продлится дольше, — сказал он. — Мы не вполне уверены в точности этой цифры. Я не верю в вычисления слепо.

Стивенс поспешил согласиться. Несколько минут на шканцах все молчали; потом Стивенс щелкнул крышкой часов.

Когда через двадцать минут солнце достигло зенита, они еще ждали появления шара, и никто на судне не решился даже шепнуть, что надежды больше нет. Первым высказал эту мысль Уэйбридж. Он заговорил, когда в воздухе еще не замер звон колокола, пробившего восемь склянок.

— Недаром я не доверял прочности стекла, — вдруг сказал он Стивенсу.

— Неужели вы думаете?.. — перебил Стивенс.

— Да, — ответил Уэйбридж, предоставляя ему

самому досказать остальное.

— Лично я не особенно верю в вычисления, — с колебанием в голосе сказал капитан, — и поэтому еще не совсем теряю надежду.

В полночь судно медленно описывало спираль вокруг того места, где погрузился шар. Белый луч электрического прожектора пробегал, останавливался и опять разочарованно скользил по пустынной поверхности фосфоресцирующей воды под лучами крохотных звезд.

— Если стекло не лопнуло и его не раздавило, — сказал Уэйбридж, — тогда, черт возьми, дело обстоит в сто раз хуже: значит, испортился его часовой механизм, и он еще жив и сидит там, на глубине пяти миль под нами, заключенный в своем пузырьке, в холодной тьме, куда еще никогда не проникал луч света и где не бывало ни одно человеческое существо с того самого дня, как образовались моря. Он сидит там без пищи, страдая от голода, жажды и страха и не зная, умрет ли от недостатка пищи или воздуха. Аппарат Мейера, наверно, скоро откажется работать. Сколько времени может он действовать? Какие мы все-таки ничтожества, — продолжал он. — Там, внизу, на много миль — вода, одна вода. Водяная пустыня да небо. Две пропасти.

Он всплеснул руками, и в это мгновение маленькая белая полоска бесшумно пробежала по небу, потом замедлила движение и остановилась, превратившись в неподвижную точку. Казалось, на небе засияла новая звезда. Потом она опять скользнула вниз и затерялась среди отражений звезд в светлой дымке фосфоресцирующего моря.

При виде этого Уэйбридж замер с протянутой рукой и открытым ртом. Он закрыл рот, опять открыл его, крикнул вахтенному: «Эльстэд в виду!» — и кинулся сперва к Линдлею, потом к прожектору.

— Я видел его, — сказал он, — там, за старбортом. Свет зажжен, и он только что вынырнул из воды. Наведите туда прожектор. Мы, наверное, увидим его качающимся на поверхности, когда его приподнимет волна.

Но им удалось подобрать Эльстэда только на рассвете, когда они чуть не наткнулись на его шар. Несколько матросов, спустившись в шлюпке, прикрепили шар к цепи крана.

Подняв шар на судно, тотчас же отвинтили люк и заглянули в темную внутренность: электрический свет предназначался лишь для освещения воды вокруг шара и был совершенно изолирован

от внутренней камеры.

Воздух внутри был горячий; резина у отверстия размякла. Ответа на крики не последовало; движений изнутри тоже не слышалось. Видимо, Эльстэд лежал без сознания на дне шара. Корабельный врач вполз внутрь и передал его на руки людям, стоявшим снаружи. Несколько мгновений нельзя было понять, жив он или мертв. При желтом свете судовых фонарей видно было, что лицо его блестит от пота. Его снесли вниз, в каюту. Оказалось, что он не умер, но в полном истощении и страдает от ушибов. Несколько дней ему пришлось пролежать в полном покое. Только через неделю смог он рассказать обо всем, что ему пришлось испытать.

Первые его слова были о том, что он собирается опять спуститься на дно.

— Придется только, — говорил он, — немного изменить конструкцию шара, чтобы он в случае необходимости мог сам сбросить канат, только и всего.

Он пережил чудесное приключение.

— Вы думали, что я не найду ничего, кроме ила, — сказал он. — Вы смеялись над моей затеей. А я открыл новый мир.

Он рассказывал отрывочно, с конца, поэтому

подлинных слов его передать невозможно. Но мы даем точный пересказ того, что он видел и испытал.

Сначала было очень плохо. Пока канат разворачивался, шар все время перекатывался. Он чувствовал себя, как лягушка в футбольном мяче. Он мог видеть только кран и небо наверху да по временам толпу у поручней. Никак нельзя было предугадать, в какую сторону покачнется шар. Вдруг он почувствовал, что ноги его поднимаются вверх. Он попробовал шагнуть и покатился через голову на подушки. Шарообразная форма снаряда оказалась очень неудобной, но при огромном давлении на дне океана это была единственно надежная форма.

Потом качка прекратилась, шар уравновесился, и Эльстэд, встав на ноги, увидел, что вода вокруг него зеленовато-голубая и освещена каким-то мягким светом, просачивающимся сверху. Мимо него, — как ему казалось, по направлению к свету, — промчалась стая маленьких плавающих существ. Пока он смотрел на них, стало понемногу темнеть. Вода наверху сделалась темной, как полуночное небо, но с зеленоватым оттенком, а внизу казалась совершенно черной, и в ней мелькали какие-то маленькие светящиеся существа

— еле видные зеленые полоски.

А ощущение падения! Совсем как при спуске в лифте, говорил Эльстэд, только оно продолжалось непрерывно. Эльстэд начал раскаиваться, что пустился в рискованное предприятие. Неблагоприятные шансы представились ему в совершенно новом свете. Он вспомнил о крупных каракатицах, которые — он знал — населяют средние слои воды: их иногда находят полупереваренными в желудке у китов, а иногда они всплывают, сгнившие и наполовину съеденные рыбами. Вдруг одна из них вцепится в канат и не отпустит его! А часовой механизм… Действительно ли он проверен как следует? Но теперь уже не имело никакого значения, хочет ли он вернуться или намерен довести дело до конца.

Через пятьдесят секунд вокруг была темная ночь, если не считать освещенного шаром пространства, где показывались то рыба, то какой-нибудь плавучий предмет. Один раз Эльстэду показалось, что он промчался мимо акулы. Потом шар вследствие трения о воду начал разогреваться. Оказалось, что это обстоятельство тоже не было как следует учтено.

Сначала он заметил, что потеет, потом под ногами у него стало все громче и громче раздаваться

шипение, и он разглядел в окно множество мелких пузырьков, быстро поднимающихся вверх и веерообразно расходящихся от шара. Пар. Он дотронулся до окна. Стекло было горячее. Он зажег маленькую лампу, освещающую его камеру, взглянул на подбитые резиной часы, висевшие у кнопок, и увидел, что спуск длился две минуты. Ему пришло в голову, что стекло может лопнуть от разницы температур: температура на дне — около нуля.

Вдруг он почувствовал, что пол шара начал давить снизу ему на ноги, пузыри стали проплывать мимо окна медленнее, шипение уменьшилось. Шар опять слегка закачался. Стекло не лопнуло. Эльстэд понял, что на этот раз опасность миновала.

Через минуту или две он будет на дне. По его словам, он вспомнил Стивенса, Уэйбриджа и всех остальных там, наверху, в пяти милях от себя. Они находились по отношению к нему выше, чем самые высокие облака, когда-либо проносившиеся над землей, были по отношению к ним. Он представил себе, как медленно плывет судно, как все смотрят на воду и думают о том, что с ним.

Он поглядел в окно. Пузыри больше не появлялись, и шипение прекратилось. Снаружи везде

была густая тьма, подобная черному бархату, кроме тех мест, где луч электрического света пронизывал пустынную воду и давал возможность разглядеть ее цвет: он был желто-зеленый. Потом три существа, казавшиеся огненными, проплыли мимо, одно за другим. Были ли они большие или маленькие, находились ли близко или далеко, этого Эльстэд определить не мог.

Вокруг каждого из них было голубоватое сияние, по силе приблизительно равное огням рыбачьей лодки. По бокам животные были усеяны светящимися точками, которые делали их похожими на корабли с освещенными иллюминаторами. Фосфорический свет их, казалось, исчезал, по мере того как они входили в круг света от шара, и тогда Эльстэд видел, что это — маленькие рыбки странного вида, с огромной головой, большими глазами и суживающимися к концу телом и хвостом. Глаза их были обращены к нему. Он понял, что они следят за спускающимся шаром. Вероятно, их привлекал свет.

Вскоре к ним присоединились другие рыбы такого же вида. Он заметил, что по мере спуска вода становится бледной и бесцветной и что в свете его лампы сверкают маленькие точки, как пылинки в солнечном луче. По всей вероятности,

это происходило оттого, что падение его свинцовых грузил всколыхнуло ил и грязь со дна.

Когда грузила притянули шар на дно, Эльстэд очутился в густом белом тумане, сквозь который свет его электрической лампы мог проникнуть лишь на несколько ярдов. Прошло несколько минут, пока завеса из ила не осела. Наконец при свете лампы и мелькающем фосфорическом блеске далекой стаи рыб ему удалось разглядеть сквозь безграничную тьму воды волнистое дно, покрытое серовато-белым илом и местами усеянное спутанными зарослями морских лилий, размахивающих в воде жадными щупальцами.

Немного дальше виднелись группы грациозных, прозрачных силуэтов гигантских морских губок. Тут и там по дну было рассеяно множество усеянных иглами плоских пучков, ярко-пурпурных и черных. «Вероятно, разновидность морского ежа», — решил Эльстэд. Какие-то маленькие существа, некоторые с большими глазами, другие слепые, удивительно похожие одни — на лесных вшей, другие — на омаров, лениво пересекали полосу света и опять исчезали во тьме, оставив после себя светящуюся борозду.

Потом вдруг повернула в его сторону и кинулась к нему, точно стая скворцов, порхающая

бродячая стая мелких рыбок. Они промелькнули над ним, как мерцающие снежинки, и позади них Эльстэд увидел какое-то более крупное существо. Оно приближалось к шару.

Сначала он видел его лишь смутно, как подвижной неясный силуэт, отдаленно напоминающий человека; потом оно вступило в луч света, отбрасываемый лампой, и остановилось, ослепленное. Эльстэд глядел на него, окаменев от изумления.

Это было какое-то странное позвоночное. Его темно-пурпурная голова немного напоминала голову хамелеона. Но высокий лоб и череп, каких нет ни у одного пресмыкающегося, и вертикальное положение морды придавали ему поразительное сходство с человеком.

Два больших выпуклых глаза выдавались из своих впадин, как у хамелеона, а вокруг широкого рта, под маленькими ноздрями, виднелись покрытые твердой кожей губы, как у пресмыкающихся. На месте ушей были две огромные жаберные щели, из которых выходили разветвляющиеся коричневые нити, похожие на древовидные жабры молодых скатов и акул. Но не лицо, похожее на человеческое, было в нем самым удивительным — это существо было двуногое.

Почти шарообразное тело его покоилось, точно на треножнике, на двух ногах, похожих на лапки лягушки, и на длинном толстом хвосте. А в передних конечностях, представлявших, как и лягушечья лапа, грубую карикатуру на человеческую руку, оно держало длинное костяное копье с медным наконечником. Кожа этого существа была разноцветной: голова, руки и ноги у него были пурпурные, а кожа на теле, висящая свободно, как одежда, имела фосфорно-серый оттенок. Существо стояло, точно ослепленное светом.

Потом этот неведомый обитатель глубин заморгал, широко открыл глаза и, заслонившись свободной рукой от света, открыл рот и испустил крик, почти такой же членораздельный, как речь. Крик проник даже сквозь стальную оболочку и резиновую обивку шара. Как можно кричать, не имея легких, Эльстэд не берется объяснить. Потом существо боком удалилось из полосы света в окружающую таинственную тьму, и Эльстэд скорее почувствовал, чем увидел, что оно приближается к нему. Решив, что его привлекает свет, Эльстэд выключил ток. В следующее мгновение что-то зашлепало по стали, и шар покачнулся.

Потом крик повторился, и Эльстэду показалось, что ему ответило отдаленное эхо. Опять началось

шлепанье по наружной оболочке, и шар закачался и скрипнул, ударившись о вал, на который был накручен канат. Стоя в темноте, Эльстэд вглядывался в вечный мрак морской глубины и вскоре разглядел в отдалении очень смутно рисующиеся другие получеловеческие силуэты. Они, фосфоресцируя, спешили к шару.

Плохо сознавая, что делает, он стал искать рукой на стенах своей качающейся тюрьмы выключатель наружной лампы, но нечаянно нащупал углубление в подушках, где была кнопка его собственной маленькой лампы. В это мгновение шар покачнулся, и Эльстэд упал. Он услышал звуки, похожие на возгласы удивления, и, когда встал на ноги, увидел, что две пары выпуклых, точно насаженных на стержни, глаз глядят внутрь через окно; в них отражался свет лампы.

Через мгновение чьи-то руки энергично задвигались по стальной оболочке шара, и Эльстэд услышал ужасный для него — в его положении — звук ударов по стальной крышке, защищающей часовой механизм. Мороз пробежал у него по коже: ведь если этим необычайным существам удастся испортить механизм, ему уже никогда не вернуться назад. Не успел он это подумать, как шар сильно качнулся, и его ударило по но-

гам. Эльстэд потушил лампочку, освещавшую внутренность шара, и зажег большой фонарь, находившийся в отдельной камере, который тотчас отбросил луч в воду. Дно океана и человекоподобные существа исчезли, и только две рыбки, преследуя одна другую, промелькнули мимо окна.

Эльстэд подумал, что странные обитатели морских глубин разорвали канат и он спасен. Он мчался вверх все быстрее и быстрее. Вдруг шар остановился. Резкий толчок подбросил Эльстэда к мягкому потолку его тюрьмы. В течение, может быть, полминуты он от удивления не мог собраться с мыслями.

Потом он почувствовал, что шар медленно вращается и раскачивается; кроме того, ему показалось, что кто-то тащит его по воде. Ему удалось, прижавшись к самому окну, с трудом увидеть только бледный луч своей лампы, слабо освещающей мрак. Он подумал, что будет видеть лучше, если выключит свет и даст глазам привыкнуть к полному мраку. Это оказалось правильным.

Через несколько минут бархатистый мрак превратился в прозрачную полутьму, и он увидел далеко внизу передвигающиеся фигуры, смутные, как при зодиакальном свете в летнюю ночь

в Англии. Эльстэд решил, что эти существа отвязали его канат и волокут шар по дну океана.

Потом он заметил что-то неясно виднеющееся там, вдали, на волнообразной подводной равнине, — широкий кругозор, озаренный бледным светом, распространяющимся во все стороны, куда он только мог кинуть взгляд из своего окошка. Его тащили туда, как потащили бы люди воздушный шар из полей в город. Эльстэд приближался к этому месту очень медленно. Неясное сияние начало постепенно сгущаться и принимать более определенные формы.

Было уже около пяти часов, когда Эльстэд очутился в этом освещенном пространстве. Ему удалось различить нечто похожее на улицы и дома, сгруппированные вокруг обширного строения без крыши, напоминающего нечто вроде причудливого изображения полуразрушенного аббатства. Все это расстилалось под ним, точно на географической карте. Дома имели стены, но были без крыш. Так как они были сделаны, как он потом заметил, из фосфоресцирующих костей, весь город казался выстроенным из отраженного в воде лунного света.

Местами внутри города виднелись водоросли и морские лилии, раскачивающиеся, словно де-

ревья, и размахивающие своими щупальцами, а высокие, стройные, прозрачные, как стекло, губки вздымались вверх, выделяясь из общего сияния, излучаемого городом, точно блестящие минареты или сотканные из бледного света цветы. На открытых площадях Эльстэд заметил какие-то массы, словно толпу народа, но он находился слишком высоко, чтобы различить в ней отдельные лица.

Потом шар медленно потянули вниз, и отдельные подробности начали вырисовываться отчетливей.

Эльстэд увидел, что контуры туманных зданий окаймлены, точно бусами, рядами каких-то круглых предметов. Он заметил также, что внизу, на широких открытых площадях, в нескольких местах были какие-то сооружения, напоминающие очертаниями обросшие раковинами суда.

Шар медленно, но непрерывно тянули вниз, и силуэты под ним становились все более ясными и различимыми. Эльстэд заметил, что шар притягивают к большому строению посреди города, и он иногда мельком видел толпу существ, тянувших канат. К его удивлению, снасти одного из судов, которые вообще составляли характерную особенность города, были усеяны жестикули-

рующей и разглядывающей шар толпой. Вдруг перед его глазами бесшумно поднялись стены большого здания и скрыли город.

Что за странные стены, сложенные из пропитанных водой бревен, скрученной проволоки, осколков железа и меди и человеческих костей и черепов! Черепа были расположены по всему зданию — зигзагами, спиралями, фантастическими узорами. Множество мелких серебристых рыбок, играя, прятались в них и выплывали из глазных впадин.

Вдруг Эльстэд услышал сдержанные крики и шум, похожий на громкий звук рога, вскоре сменившийся каким-то фантастическим пением. Шар все погружался, проходя мимо огромных, заостренных кверху окон. Наконец он остановился, по-видимому, на чем-то вроде алтаря посреди здания.

Теперь, находясь на одном уровне с ними, Эльстэд мог ясно разглядеть этих странных обитателей бездны. К своему удивлению, он заметил, что все они склонились перед шаром, — все, кроме одного в одежде из рыбьей чешуи, с блестящей диадемой на голове, который все время открывал и закрывал свой огромный, как у пресмыкающегося, рот, точно управляя хором молящихся.

Повинуясь какому-то странному побуждению, Эльстэд зажег лампочку и, таким образом, опять стал видим подводным существам; но сами они благодаря яркому свету внутри шара сразу погрузились во мрак. При этом внезапном появлении Эльстэда пение сменилось шумными криками восторга. Чтобы продолжать свои наблюдения, Эльстэд опять выключил свет и исчез из их глаз. Но некоторое время он был еще слишком ослеплен, чтобы разобрать, что они делают. Когда ему наконец удалось разглядеть их, они опять стояли на коленях. Так они продолжали поклоняться ему без отдыха и перерыва целых три часа.

Рассказ Эльстэда об этом удивительном городе и его жителях, детях вечной ночи, никогда не видевших солнца, луны, звезд, зеленой растительности и живых, дышащих воздухом существ, об этих созданиях, которые не знают огня и другого света, кроме фосфорического сияния живых тварей, был очень обстоятелен.

Однако как ни удивителен этот рассказ, еще удивительней, что ученые, пользующиеся большой известностью, как, например, Адаме или Дженкинс, не находят в нем ничего невероятного. Они говорили мне, что не видят никаких причин, почему бы на дне глубоких морей не

могли жить — совершенно неведомо для нас — разумные, дышащие жабрами, обладающие позвоночником существа, приспособившиеся к низкой температуре и огромному давлению и настолько тяжелые, чтобы не всплывать на поверхность ни живыми, ни в виде трупов, — такие же, как и мы, потомки великой эволюции нового века красного песчаника.

Нас они должны знать: мы представляемся им в виде странных существ-метеоров, иногда катастрофически падающих мертвыми из таинственного мрака их водяного неба. И не только мы сами, но и наши суда, металлические изделия, всякие предметы падают на них время от времени из тьмы, подобно дождю. Иногда эти тонущие предметы обрушиваются на них точно карающая десница невидимой власти там, наверху, а иногда к ним попадают очень редкие и нужные вещи или что-нибудь способное быть источником вдохновения. Их поведение при появлении живого человека можно понять, если представить себе, как поступили бы дикари, если бы к ним вдруг слетело с неба окруженное сиянием существо.

Эльстэд не раз передавал офицерам «Птармигана» подробности своего двенадцатичасового

пребывания на дне океана. Он собирался записать свой рассказ, но не сделал этого, и поэтому нам, к сожалению, приходится восстанавливать его несвязный, отрывочный отчет по воспоминаниям капитана Симмонса, Уэйбриджа, Стивенса, Линдлея и других.

Представьте себе громадное призрачное здание, склонившихся поющих людей с темными головами хамелеонов, в слабо светящейся одежде, и Эльстэда, снова и снова зажигающего свет и старающегося дать им понять, что нужно перерезать канат, который удерживает шар. Протекала минута за минутой, и наступил момент, когда Эльстэд, взглянув на часы, к своему ужасу, увидел, что кислорода у него хватит всего на четыре часа. Гимны в его честь, не прекращающиеся ни на минуту, зазвучали в его ушах как похоронный марш, отмечающий его близкую кончину.

Каким образом он освободился, он сам не вполне понимает; но, судя по обрывку каната, который висел на шаре, канат, по-видимому, перетерся о край алтаря. Вдруг шар резко покачнулся, и Эльстэд, взлетев вверх, ушел из мира странных подводных существ, как улетело бы от нас обратно в родной эфир какое-нибудь нездешнее создание. Эльстэд исчез из поля их зрения,

как пузырь водорода, который стремится вверх в нашей атмосфере. Каким странным должно было им казаться это вознесение!

Шар мчался вверх еще быстрее, чем погружался, когда его тянули вниз свинцовые грузила. Стало очень жарко. Он летел окнами вверх, и Эльстэд потом вспоминал о потоке пузырей, который пенился у стекол. Каждую минуту он ждал, что стекла лопнут. Вдруг ему показалось, что в мозгу у него закружилось что-то вроде огромного колеса. Обитая подушками камера завертелась, и он потерял сознание. Больше он не чувствовал ничего, пока не увидел себя в собственной каюте и не услышал голоса доктора.

Вот вкратце необыкновенная повесть, отрывочно рассказанная Эльстэдом офицерам «Птармигана». Он обещал со временем все записать, но не успел сделать это, так как занялся усовершенствованием своего аппарата.

Остается прибавить, что второго февраля 1896 года Эльстэд, усовершенствовав свой шар согласно указаниям первого опыта, опустился на дно океана во второй раз. Что с ним произошло, этого мы, по всей вероятности, никогда не узнаем: он не вернулся. «Птармиган» тринадцать дней крейсировал около того места, где он погрузился, и напрасно искал его. Потом судно вернулось в Рио, откуда печальное известие было сообщено по телеграфу его друзьям. Тем дело пока и кончилось. Надо полагать, дальнейшие попытки дадут когда-нибудь возможность проверить его странный рассказ о неведомых обитателях океанских глубин.

1896

Морские пираты

1

До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид *Haploteuthis ferox* был описан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупалец, добытых близ Азорских островов, да изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лендс-Энд.

И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов[14]. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за Терсейрой кашалота; в предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но,

[14] Примечания: 14

От лат. *Cephalopoda*, головоногие — класс моллюсков; отличаются двусторонней симметрией и большим (от 8 и более) количеством щупалец вокруг головы, развившихся из «ноги» моллюсков. — *Примеч. ред.*

не рассчитав сил, перекатился через нее и издох в двадцати ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел благодаря своей находчивости вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот эти куски и оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были совершенно неизвестны науке!

По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам; держась под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия вроде вышеуказанного. Что касается *Haploteuthis ferox*, например, мы до сих пор ничего не знаем о них, так же как о местах рождения сельдей или морских путях лосося. Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глуби-

ны. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу.

Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого *Haploteuthis ferox*, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, — так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэллса и Девона в начале мая, была вызвана именно этой причиной, — был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и местами перерезанных

серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистера Физона ослеплял блеск расстилавшегося вдали моря.

Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся: над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек; белые крылья чаек сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным.

Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это, может быть, какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой, длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые тридцать футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет.

Спустившись к подножию скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету; но теперь, на фоне пылающего неба,

эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из семи округленных тел — не то отдельных, не то соединенных в одно целое, — и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней.

Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу; кроме того, он, может быть, просто воспользовался предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства, так поступили бы на его месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь.

Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груду валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох.

Когда он показался на гребне, округлые тела распались, и стал виден розовый предмет: оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело, мужчины или женщины, он не мог определить. А округлые тела были неведомыми, чудовищными тварями, по форме немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальцами рта, странный нарост надо ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловища их по величине напоминали крупную свинью; щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере семь или восемь. В двенадцати ярдах позади них, в пене прилива, из моря выползали еще два.

Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Он не был испуган, по-видимому, потому, что движения чудовищ были вялыми. Но, конечно, он был потрясен и вознегодовал,

увидев, что эти отвратительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Чтобы отогнать их, мистер Физон закричал. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот эти чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими, мурлыкающими звуками.

Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав двадцать ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовища очень неповоротливы. Но — увы! — щупальца переднего уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял!

Увидев это, он опять закричал — теперь уже от страха — и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересеченному водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утесы вдруг отодвинулись страшно далеко, и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска и не подозревавших о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в десяти шагах от него.

Один раз он поскользнулся и упал.

Чудовища преследовали Физона до самого подножия скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать осквернённое тело из щупалец этих гнусных тварей.

2

Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения.

Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они наконец добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке — рабочие, лодочник и мистер Физон — стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем.

Сначала им удалось различить в воде только очень немногое: темную и густую чащу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в от-

крытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то: может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой.

Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливое движение в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами.

— Уроды проклятые! — крикнул один из рабочих. — Да их тут целые дюжины!

Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились

одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока наконец дна не стало видно за их переплетающимися телами и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды.

Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя им по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт: дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду.

— Лучше уберемся отсюда, — сказал мистер Физон, дрожа всем телом.

Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, по-

бледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались.

Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движения и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата: так застревает лодка в плавучих массах водорослей.

— Помогите! — крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло.

В это время человек с багром — его звали, кажется, Ивэн — с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы.

Мистер Физон, шатаясь от судорожных толчков

лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них по мощным валам надвигающегося прилива прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка; лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь; потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорей отъезжали, «ради бога». Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в двадцати ярдах от них.

В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины, правая рука его погружена в воду за бортом и кто-то тянет ее вниз. Он издавал

только резкие короткие крики: «О-о-о!» Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Ивэн и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку.

Тогда Хилл, дюжий, здоровый человек, сделал отчаянное усилие и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт; рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвились новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпря-

милась от сильного толчка; мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде.

Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что, пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь четырех ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивэна весло, изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся.

— Берегись! — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади.

Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом; падая, он услышал придушенные, отрывистые крики, как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него, поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не

оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним по отмели, между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих.

Наконец мистер Физон оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна.

Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая; пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах ярдах в двенадцати от берега. Хилл и чудовища, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было.

Сердце мистера Физона неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал.

Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы — чего же нет? Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не

выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю, попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось, он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам.

Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки; та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем.

3

Вот каково было появление *Haploteuthis ferox* на девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физона с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у корнуэльских берегов, нам станет ясно, что стаи этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии.

Высказывалось предположение, будто голод заставил их подняться на поверхность и побудил

к переселению. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотилась к человеческому мясу, доставшемуся ей после крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в ее владения, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, чудовища добрались до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Но обсуждать здесь убедительные, прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно.

Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в одиннадцать человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было десять. Во всяком случае, в этот день чудовища ничем не обнаружили своего присутствия у Сидмаута. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситоном и Бадли-Солтертоном находился под надзором четырех лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физон, однако, не принял участия ни в одной из них.

Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в двух милях от

берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем: в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке — моряк, священник и два школьника — действительно увидели чудовищ, которые прошли под их лодкой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине пяти-шести ярдов, подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь клинообразной стаей, они плыли на юго-восток.

Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом другая; под конец вокруг них образовалась маленькая флотилия из восьми или девяти лодок, и в тишине ночи поднялся шум, словно на рынке. Желающих преследовать стаю оказалось очень мало или даже вовсе не оказалось: у людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты, и скоро — может быть, даже с чувством некоторого облегчения — все повернули назад, к берегу.

А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой поразительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи, хотя весь юго-западный берег был настороже. Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что третьего июня в Сарке на берег был выброшен кашалот. А через две недели и три дня после сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл *Haploteuthis*. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его.

Это был последний живой *Haploteuthis*. Их больше не видели и на французском берегу. Пятнадцатого июня почти не поврежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торкэ, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследование близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленой раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Экберт Кэйн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое еще раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас еще преждевременно утверждать, что набег не повторится, но будем надеяться, что чудовища теперь ушли, — ушли навсегда в непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно и неожиданно выплывали.

1896

История Платтнера

Доверять истории Готфрида Платтнера или нет — это вопрос надежности свидетельств. С одной стороны, есть семеро очевидцев, или, если быть совершенно точным, шесть с половиной пар глаз, и один неопровержимый факт. С другой стороны, есть — как бы лучше выразиться? — предубеждение, здравый смысл, инерция мышления. Все семеро свидетелей — честнее не бывает, хотя и с тем, что анатомическое строение Готфрида Платтнера отклонилось от нормы, тоже не поспоришь. При этом трудно придумать более невероятную историю, чем та, которую они рассказывают. И самая невероятная ее часть — это вклад самого достопочтенного Готфрида (ибо я считаю его одним из семерых упомянутых свидетелей). Упаси боже, стремясь к беспристрастности, впасть в суеверие — так недолго и разделить судьбу приверженцев Эусапии. Сказать по правде, случай Готфрида Платтнера попахивает дурно, но откуда именно идет запах, утверждать не берусь. Меня до сих пор удивляет, что эту историю принимают всерьез в самых неожиданных и авторитетных

кругах. Пожалуй, будет лучше всего, если я в интересах читателя без дальнейших комментариев перейду к самому рассказу.

Готфрид Платтнер, несмотря на имя, — свободнорожденный англичанин. Отец его, родом из Эльзаса, перебрался в Англию в шестидесятые годы, женился на респектабельной англичанке с блестящей родословной и в 1887 году умер, прожив благополучную и вполне бесцветную жизнь (посвященную главным образом, насколько я знаю, укладке паркетных полов). Готфриду сейчас двадцать семь. С детства зная — в силу семейных обстоятельств — три языка, он преподает современные языки в небольшой частной школе на юге Англии. Случайный наблюдатель нашел бы, что Платтнер ничуть не отличается от любого другого преподавателя современных языков в любой другой частной школе. Про его костюм не скажешь, что он очень дорогой или сверхмодный, но чересчур дешевым или поношенным его тоже не назовешь. Цвет лица, равно как рост и осанка, также ничем не привлекают внимания. Можно отметить, что его лицо, как у большинства людей, не вполне симметрично: правый глаз чуть больше левого, а челюсть с правой стороны выглядит чуть тяжелее. Случись какому-нибудь

обывателю, не сведущему в медицине, услышать биение его сердца, он, скорее всего, не обнаружил бы никакой разницы с тем, как бьется сердце любого другого человека. Однако специалист бы с этим не согласился. Вам его сердце показалось бы самым обыкновенным, специалист же сделает совершенно иной вывод. Но если вам немного подскажут, то и вы тут же воскликнете: а ведь правда! Дело в том, что сердце Готфрида бьется с правой стороны.

К слову, это не единственная уникальная особенность анатомии Готфрида, хотя дилетант обнаружит только ее. Один известный хирург внимательно изучил его внутренние органы и пришел к выводу, что и все прочие несимметричные части его тела смещены с обычных мест. Правая доля его печени находится слева, а левая — справа. Так же обстоит дело и с легкими. Еще больше (если, конечно, Готфрид не выдающийся актер) удивляет тот факт, что его правая рука недавно стала левой. Вследствие событий, которые мы рассмотрим (как можно беспристрастнее), ему стало намного труднее писать, зато теперь он с легкостью пишет левой рукой справа налево. Он утратил навык бросать предметы правой, во время еды он затрудня-

ется с выбором между ножом и вилкой, а в его представлениях о правилах дорожного движения (он велосипедист) все еще царит опасный беспорядок. Никаких свидетельств того, что до случившегося Готфрид был левшой, нет.

В этой невероятной истории есть и еще один чудесный факт. Готфрид показывает три свои фотографии. На одной ему пять или шесть лет, из-под клетчатой юбки торчат толстые ножки, он сердито наступает на вас. Левый глаз на этом снимке чуть больше правого, а челюсть с левой стороны чуть тяжелее. Это зеркальное отражение его нынешнего состояния. Фотография Готфрида в четырнадцать лет противоречит этим фактам, но тому есть объяснение: это дешевый снимок популярного тогда формата «Жемчужина», сделанный прямо на металлической пластинке и потому вышедший зеркальным. Третий снимок, запечатлевший Готфрида в возрасте двадцати одного года, подтверждает два предыдущих. Это явно подтверждает тот факт, что с тех пор у Готфрида левая и правая стороны поменялись местами. Но как такое может случиться с человеком? Если отказаться от версии какого-то необычайного и бессмысленного чуда, постичь эту перемену крайне сложно.

В принципе, эти факты можно объяснить, предположив, что Платтнер пошел на искусную мистификацию, воспользовавшись тем, что у него от природы смещено сердце. Фотографии нетрудно подделать, леворукость сымитировать. Но характер этого человека едва ли соответствует подобной теории. Он спокоен, практичен, неназойлив и, если исходить из критериев доктора Нордау, мыслит абсолютно здраво. Он любит пиво, не злоупотребляет курением, ежедневно совершает пешие прогулки и высоко ценит дело, которым занимается. У него неплохой, хотя и не поставленный тенор, он с удовольствием напевает веселые популярные арии. Он любит — но не запоем — читать, по большей части исполненную туманно-благочестивого оптимизма беллетристику, он крепко спит и сны видит редко. Он последний, кого можно было бы заподозрить в плетении фантастических басен. У него и в мыслях не было навязывать эту историю окружающему миру — наоборот, он никак ее не выпячивает. К изучению его феномена Платтнер относится с некоторой, я бы сказал, обаятельной застенчивостью, которая обезоруживает самых подозрительных. Ему как бы искренне стыдно за то, что с ним такое приключилось.

К сожалению, отвращение, которое Платтнер испытывает к вскрытию тел после смерти, едва ли позволит когда-либо убедительно доказать, что в его теле левая и правая сторона поменялись местами. А ведь от данного факта и зависит главным образом достоверность всей этой истории. Не существует способа, взяв человека и повертев в пространстве (как понимают пространство простые люди), поменять его внутренности местами. Как ни старайся, правое останется справа, а левое — слева. Конечно, такой фокус можно проделать с чем-то совсем тонким и плоским. Вырезаешь из бумаги человеческую фигурку, у которой есть правая и левая стороны, и меняешь их местами: просто поднимаешь фигурку и переворачиваешь. Но с твердым телом такой номер не пройдет. Математики говорят: поменять местами правую и левую стороны твердого тела можно лишь одним способом: изъять это тело из пространства в том виде, в каком мы его знаем, то есть вынести за пределы нашего повседневного существования, и перевернуть где-то в открытом космосе. Да, это звучит слегка заумно, но любой, кто знаком с математической теорией, подтвердит читателю — это правда. Если выражаться техническим языком, перемена, случившаяся с телом Платтнера,

доказывает: он выбрался за пределы привычного нам пространства и попал в так называемое Четвертое Измерение, а потом вернулся в наш мир. И если мы не хотим считать себя жертвами изощренного и бесцельного розыгрыша, придется признать: без Четвертого Измерения тут не обошлось.

Впрочем, довольно об неоспоримых фактах. Мы подходим к рассказу о необыкновенном феномене, которым сопровождалось его временное исчезновение из нашего мира. Известно, что в частной школе Сассексвилла в ведении Платтнера находились не только современные языки — он преподавал еще и химию, коммерческую географию, бухгалтерский учет, стенографию, рисование и ряд дополнительных предметов, интересовавших родителей его учеников. О самих этих предметах ему не было известно почти ничего, но в средней школе, в отличие от интерната или начальной школы, учителю требуются не столько твердые знания, сколько высокие моральные качества и благовоспитанные манеры. В химии, по его же словам, он был особенно слаб, знал лишь теорию трех газов (что бы эти газы собой ни представляли). Но поскольку его ученики не знали и этого и все сведения о предмете

черпали у него, неудобство для Платтнера (да, сказать по правде, для кого угодно) было минимальным. Потом в школу пришел мальчуган по имени Уиббл, которого перед тем обучал (если это можно так назвать) некий шутник-родственник, стремившийся развить в ребенке пытливость ума. Этот паренек посещал уроки Платтнера с ярко выраженным и неослабевающим интересом и в доказательство своей тяги к предмету время от времени приносил на занятия вещества — для анализа. Платтнеру это польстило — значит, он способен пробудить в учениках интерес, — и, поверив в невежество мальчика, он принялся эти вещества анализировать и даже сделал некоторые общие заключения об их составе. Ученик так его вдохновил, что Платтнер раздобыл книгу по аналитической химии и изучал ее по вечерам, готовясь к урокам. К своему удивлению, он обнаружил, что химия — весьма интересная наука.

До сих пор сюжет развивался вполне банально. Но тут на сцене появляется некий зеленоватый порошок. Источник его, увы, безвозвратно утерян. Юный Уиббл рассказывает вызывающую сомнение историю: он, мол, нашел его в пакете возле списанной печи для обжига извести неподалеку от Даунза. Наверное, для Платтнера, а возможно,

и для всего семейства Уиббла было бы лучше, поднеси кто-нибудь к этому порошку зажженную спичку прямо в ту же минуту. Юный джентльмен принес это вещество в школу отнюдь не в пакете, а в обычной мензурке на восемь унций, которую заткнул обрывком изжеванной газеты. В конце школьного дня он передал бутылочку Платтнеру. После школьной молитвы четверым мальчикам велели задержаться, чтобы отдать учебные долги, и они трудились под наблюдением Платтнера в маленьком классе, где обычно велись уроки химии. Оборудование для химических опытов в частной школе Сассексвилла, как и в большинстве малых школ в этой местности, было до крайности примитивным. Все оно помещалось в маленьком шкафу, что стоял в углублении стены и по вместимости был не больше обычного дорожного чемодана. Платтнер скучал, приглядывая за нерадивыми учениками, и появлению Уиббла с его зеленым порошком он очень обрадовался, тут же отпер шкаф, чтобы заняться экспериментальным анализом. Уиббл, к счастью для себя, уселся на безопасном расстоянии и стал наблюдать за учителем. Четверо невежд делали вид, что поглощены своим заданием, но на самом деле внимательно, хоть и украдкой,

следили за действиями педагога. Ибо, несмотря на знание Платтнером теории трех газов, ставить химические опыты было с его стороны чистым безрассудством.

Показания мальчиков о дальнейших действиях Платтнера практически одинаковы. Он высыпал немного зеленого порошка в пробирку, попробовал разбавить вещество водой, потом поочередно соляной, азотной и серной кислотами. Не получив никакого результата, он высыпал часть увлажненной смеси — чуть больше половины пробирки — на грифельную плитку и чиркнул спичкой. Мензурку он держал в левой руке. Смесь начала дымиться, плавиться — и вдруг с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой взорвалась.

Пятеро мальчишек, увидев вспышку, среагировали мгновенно и нырнули под парты — никто из них серьезно не пострадал. Оконная рама вместе со стеклом вылетела во двор, подставка с доской перевернулась. Плитка расщепилась на атомы. С потолка посыпалась штукатурка. Другого ущерба школьному имуществу не было, и поначалу мальчишки, не увидев Платтнера, решили, что его опрокинуло взрывом и он лежит под одной из парт. Они выскочили из своих укрытий, чтобы

помочь ему, и с удивлением обнаружили, что, кроме них, в классе никого нет. Все еще ошеломленные случившимся, они кинулись к открытой двери, — видимо, Платтнеру здорово досталось и он вылетел из класса. Но один из них, Карсон, бежавший впереди, едва не сшиб в дверях директора школы мистера Лиджетта.

Мистер Лиджетт — это тучный, вспыльчивый мужчина с одним глазом. По словам мальчиков, он ввалился в класс, бормоча безобидные ругательства, какие обычно используют раздраженные учителя, чтобы не сказать чего похуже.

— Чертова холера! — вскричал он. — Где мистер Платтнер?

Все мальчики подтвердили, что он сказал именно это. Выражения «бестолочь», «сопливый щенок», «чертова холера» — это обычный лексикон, который мистер Лиджетт использует, общаясь с молодой порослью.

«Где мистер Платтнер?» Этот вопрос в последующие дни звучал неоднократно. Казалось, немыслимая гипербола «расщепился на атомы» стала реальностью. Нигде не было никаких видимых следов Платтнера, ни капельки крови, ни обрывка одежды — ничего. Похоже, он напрочь исчез из нашей вселенной — исчез весь без остат-

ка, как говорится, со всеми потрохами! Исчез полностью вследствие взрыва в классе — этот факт сомнению не подлежал.

Нет нужды разглагольствовать о том, какой шум поднялся в частной школе Сассексвилла, в самом Сассексвилле и в его окрестностях. Возможно, до кое-кого из читателей дошли неверные отголоски того ажиотажа, что охватил всю округу прошлым летом. Лиджетт постарался замять эту историю насколько мог. Он даже запретил ученикам упоминать имя Платтнера — кто ослушается, того ждет двадцать пять ударов линейкой, — и заявил, что точно знает, где находится его помощник. По его словам, он просто боялся, что слухи о взрыве, который случился, несмотря на серьезные меры предосторожности, призванные свести к минимуму химические опыты, повредят репутации школы. Не меньший вред могло причинить и таинственное исчезновение Платтнера. Поэтому мистер Лиджетт сделал все, чтобы представить это событие как нечто заурядное. В частности, допросил пятерых свидетелей так тщательно, что они засомневались, будто видели происшествие своими глазами. Но оно все равно обросло сомнительными подробностями, в округе девять дней обсуждали эту сенсацию,

некоторые родители под благовидными предлогами забрали сыновей из школы. Не последнюю роль в этой истории сыграл и другой факт: до того как Платтнер вернулся, он живо являлся во сне многим из местных жителей, и эти сны были на удивление схожи. Всякий раз либо один, либо с кем-то он шел сквозь сияющую пелену. Во всех случаях вид у него был печальный, по лицу разлита бледность, иногда он пытался общаться со спящим какими-то жестами. Кому-то из учеников, которые, вероятно, находились под влиянием кошмаров, Платтнер являлся внезапно и пристально смотрел в самые глаза. Другие вместе с Платтнером спасались от погони — за ними гнались какие-то диковинные шарообразные существа. Но все эти фантазии были забыты и уступили место расспросам и размышлениям, когда в среду, спустя неделю с небольшим после взрыва, произошедшего в понедельник, Платтнер вернулся.

Вернулся он при столь же удивительных обстоятельствах, при каких исчез. Если верить описанию раздраженного мистера Лиджетта, к которому надо добавить путаные показания самого Платтнера, дело было так. В среду вечером, ближе к закату, мистер Лиджетт, отказавшись от

подготовки к занятиям, проводил время у себя в саду, где собирал и поглощал горячо им любимую клубнику. Сад у него большой, запущенный и надежно укрытый от любопытных глаз высокой кирпичной стеной, увитой плющом. Мистер Лиджетт склонился над особо плодоносным кустом, как вдруг воздух озарила вспышка, послышался глухой удар, и не успел он оглянуться, как сзади его атаковало какое-то мощное тело. Его швырнуло вперед так грубо, что ягоды у него в руке превратились в кашицу, а цилиндр (мистер Лиджетт консервативен насчет того, как должен выглядеть школьный учитель) съехал ему на лоб и даже прикрыл один глаз. Поразивший мистера Лиджетта тяжелый снаряд скатился с него вбок, рухнул прямо в кусты клубники и оказался нашей давней потерей — мистером Готфридом Платтнером, который пребывал в чрезвычайно плачевном состоянии. Он сидел без воротничка, без шляпы, в замызганной одежде и с окровавленными руками. Мистер Лиджетт от негодования и изумления так и остался стоять на четвереньках, с надвинутым на глаз цилиндром. Он незамедлительно принялся распекать Платтнера — разве можно себя вести столь неучтиво и неподобающе!

Эта сцена, которую не назовешь идиллической, закрывает, если так можно выразиться, внешний контур истории Платтнера, ее общедоступную сторону. Нет никакой нужды описывать подробности увольнения Платтнера мистером Лиджеттом. Эти подробности с полным перечнем имен, дат и источников можно найти в более полном отчете о происшедшем, представленном Обществу по изучению аномальных явлений.

Первые несколько дней диковинный факт перемены сторон в теле Платтнера оставался незамеченным и впервые проявился в его желании писать на доске справа налево. Это любопытное подтверждение того, что с ним случилось, он старался скорее скрыть, чем обнародовать, ибо опасался, что оно не пойдет ему на пользу. О новом местоположении его сердца узнали лишь несколько месяцев спустя, когда делали ему анестезию перед удалением зуба. Он крайне неохотно согласился на поверхностное обследование врачом, пожелавшим написать об этом случае краткий отчет для «Журнала анатомии». Этим и исчерпываются факты материального порядка. А теперь перейдем к тому, что говорит о происшествии сам Платтнер.

Но сначала давайте четко отделим написанное

выше от того, что последует далее. Все, что я вам поведал до сих пор, подтверждено свидетельствами, которые устроили бы любого специалиста по уголовному праву. Все свидетели живы. Читатель при желании может отловить пареньков хоть завтра, разговорить великого и ужасного Лиджетта, устроить перекрестный допрос и перепроверять все и вся, сколько душе угодно. В его распоряжении также сам Готфрид Платтнер со своим переместившимся сердцем и тремя фотографиями. Доподлинно известно, что он исчез на девять дней вследствие взрыва, потом вернулся столь же внезапно, при обстоятельствах, крайне огорчивших мистера Лиджетта, каковы бы они ни были. И вернулся он в перевернутом виде, каким возвращается к человеку его зеркальное отражение. Последний факт, как я уже говорил, с неизбежностью приводит к мысли о том, что те девять дней Платтнер существовал за пределами пространства. Эти свидетельства куда достовернее тех, на основании которых вешают убийц. А вот рассказу самого Готфрида Платтнера о том, где он эти девять дней находился, его сбивчивым и противоречивым объяснениям мы вынуждены верить на слово. Я не хочу его дискредитировать, но должен заметить (без

чего нередко обходятся авторы отчетов о загадочных парапсихологических явлениях), что тут из сферы неопровержимого мы переходим в некую область, в существование которой каждый здравомыслящий человек может верить либо не верить — по своему усмотрению. Из сказанного ранее следует: не исключено, что данная область существует, хотя это мало согласуется с нашим повседневным опытом. Не буду склонять возникшие перед читателем весы в ту или иную сторону, а просто перескажу историю Платтнера с его слов.

Он поведал мне свою историю у меня дома в Чизлхерсте, и, едва мы под вечер расстались, я пошел в кабинет и записал все так, как запомнил. Потом он любезно вычитал машинописную запись, так что в точности изложения сомневаться не приходится.

Из его рассказа следует: в момент взрыва он был положительно уверен в том, что убит. Его подняло в воздух и с силой отбросило назад. Для психологов это любопытный факт: пока длился его полет, он ясно мыслил и гадал, во что врежется: в шкаф с химическим оборудованием или в классную доску. Затем пятки его коснулись пола, он зашатался и тяжело осел — под ним оказалось

что-то мягкое, но прочное. На миг сознание его помутилось. В ноздри неожиданно ударил запах тронутых огнем волос, и ему показалось, что он слышит голос Лиджетта, который справлялся о нем. Само собой, какое-то время в голове его царила полная сумятица.

Поначалу Платтнеру казалось, что он все еще находится в классе. Он ясно видел удивленных школьников и появившегося на пороге мистера Лиджетта. Это он заявляет с полной уверенностью. Их реплик он не слышал, но склонен приписывать это оглушающему эффекту, сопровождавшему его эксперимент. Предметы вокруг были плохо различимы, и его разум дал этому очевидное, хотя и ошибочное, объяснение: после взрыва класс заволокли густые клубы дыма. В этой пелене двигались фигуры Лиджетта и учеников, тусклые и безмолвные, словно привидения. Лицо Платтнера все еще подергивалось, опаленное жаркой вспышкой. По его словам, он пребывал «как в дурмане». Первой внятной мыслью его было: а все ли с ним в порядке? Что, если он ослеп, оглох? Он осторожно ощупал лицо, руки, ноги. Потом Платтнер начал воспринимать все вокруг более отчетливо и с изумлением обнаружил: знакомые школьные парты и прочая

мебель куда-то подевались. Вместо них были тусклые, невнятные, серые очертания. И в этот миг произошло нечто, от чего он завопил в полный голос и едва не подскочил. Двое учеников, бурно размахивая руками, один за другим прошли прямиком сквозь него! Как будто его тут вовсе не было! Трудно представить, что он в этот миг чувствовал. Они прошли сквозь него совсем неощутимо, как он выразился, туманным облачком.

Первым делом Платтнер решил, что он умер. Но, воспитанный в духе здравомыслия, он удивился тому, что тело его все еще при нем. На смену первому пришел второй вывод: умер не он, а все остальные — взрыв напрочь уничтожил частную школу Сассексвилла и всех, кто в ней находился, кроме него. Но и эта мысль вызывала сомнения. Изумленный, он попробовал оглядеться.

Его окружала тьмущая тьма, черная как смоль. Над головой нависал непроглядный свод. Единственным источником света было зеленоватое сияние в уголке неба, позволявшее увидеть волны черных холмов. Так, по крайней мере, ему показалось сначала. Но, привыкнув к темноте, глаз стал различать в окружающем мраке оттенки зеленого. На этом фоне мебель и школьники в

классе походили на фосфоресцирующие призраки, тусклые и бестелесные. Платтнер протянул руку — и безо всякого усилия пронзил стену возле камина.

По его словам, он изо всех сил старался привлечь к себе внимание. Он что-то кричал Лиджетту, пробовал схватить бегавших взад-вперед мальчишек. Он притих, когда в комнате появилась миссис Лиджетт, которую он (будучи младшим учителем) по понятным причинам недолюбливал. Ему, как он признался, было крайне неприятно сознавать, что он, хотя и находится в этом мире, не является его частью. Он весьма удачно сравнил себя с кошкой, которая видит мышь по ту сторону оконного стекла. Любая попытка наладить связь с потускневшим, но таким знакомым миром натыкалась на невидимый и необъяснимый барьер.

Тогда Платтнер переключился на неживые предметы. Как выяснилось, он по-прежнему сжимал в руке мензурку; она не разбилась, и в ней были остатки зеленого порошка. Положив ее в карман, он принялся шарить руками вокруг себя. Судя по всему, он сидел на заросшем бархатистым мхом валуне. Сумрачный пейзаж вокруг он разглядеть не мог — на переднем плане был

тусклый и плохо различимый класс, — но ему показалось (возможно, виной тому холодный ветер), что он у вершины холма, а под ногами у него — крутой спуск в долину. Зеленое сияние вдоль края неба набирало силу. Платтнер поднялся и протер глаза.

Он сделал несколько шагов по крутому холму, оступился, едва не упал, снова сел на массивный камень с зазубринами, чтобы встретить рассвет. Мир вокруг был погружен в полную тишину. Беззвучная тьма, поверхность холма продувается холодным ветром, но шелеста трав или вздохов деревьев не слышно. И слух, коль скоро зрение было бессильно, подсказывал ему: пологий холм внизу каменист и пустынен. Зеленый свет с каждой минутой становился все ярче, и, кроме того, какая-то слабая и прозрачная кровавая краска вторглась в небо, не смягчив, впрочем, ни его черноты, ни окрестного мрака. Из того, что произошло дальше, я склонен заключить, что это вкрапление красного было просто оптическим обманом. Что-то темное порхнуло на фоне бледной желто-зеленой нижней части неба, затем из черного провала под ним пронзительно и тонко зазвонил колокол. По мере увеличения света в груди Платтнера росло ожидание.

Возможно, он просидел так час или больше, а удивительный зеленый свет все креп, медленно расползаясь к зениту изогнутыми огненными пальцами. Призрачное видение нашего мира постепенно уступало этому свету — частично, если не полностью. Возможно, впрочем, и то и другое, поскольку на земле наступало время заката солнца. С точки зрения нашего мира Платтнер, немного спустившись по холму, прошел сквозь пол классной комнаты и теперь, видимо, завис в воздухе в большом зале этажом ниже. Он отчетливо видел пансионеров, но еще отчетливее — Лиджетта. Ученики готовили домашние задания, и он с интересом отметил: кое-кто из них, решая задачи по евклидовой геометрии, списывает ответы со шпаргалок, о которых Платтнер даже не подозревал. Постепенно эта картинка поблекла, вытесняемая зеленым рассветом.

Глядя в глубь долины, он увидел, что свет уже прокрался далеко по ее скалистым бокам и смоляную черноту пропасти разжижают зеленые вспышки, напоминающие светлячков. Тут же над базальтовыми волнами далеких гор возник край громадного, бьющего зеленью небесного тела, и массивные кряжи вокруг него в зеленом свете и глубоких румяно-черных тенях тотчас

превратились в угрюмые и пустынные. Платтнер заметил много шарообразных предметов, которые, словно пушинки чертополоха, порхали над возвышенностью — но не там, где находился он, а на другой стороне долины. Колокол внизу звонил все чаще, нетерпеливо и настойчиво, замелькали туда-сюда какие-то светлые пятна. Силуэты учеников за партами стали едва различимы.

Любопытно, что Платтнер настаивает: наш мир исчезал по мере восхода зеленого солнца другой вселенной. В том другом мире по ночам трудно двигаться, из-за того что ясно видны приметы нашего. Возникает труднообъяснимая загадка: если дело обстоит именно так, почему же мы в нашем мире не видим следов того, другого? Возможно, причина в том, что наш мир довольно хорошо освещен. По словам Платтнера, когда в том мире разгар дня, свет по яркости уступает нашему полнолунию, зато ночь там чернее воронова крыла. Значит, даже в обычной темной комнате в нашем мире достаточно света для того, чтобы сделать контуры другого мира невидимыми, — точно так же как фосфоресцирующие предметы доступны взору только в полной темноте. После рассказа Платтнера я несколько раз пытался увидеть другой мир, для чего вечерами надолго запирался в

темной фотокомнате. И правда, я смутно различал очертания зеленеющих склонов и скал, но, признаюсь, очень смутно. Возможно, читателю повезет больше. Платтнер говорит мне: вернувшись, он видит во сне и опознает те или иные места из другого мира, но, возможно, это просто воспоминания. Нельзя исключить и того, что людям с очень острым зрением иногда на миг открываются образы того странного другого мира.

Впрочем, мы уходим от темы. Когда зеленое солнце поднялось, Платтнер увидел глубоко в долине, пусть и не вполне ясно, длинную улицу с черными домами и, немного поколебавшись, решился на опасный спуск к ним по крутому склону. Идти пришлось долго, и приключение выдалось не из веселых, и не только из-за исключительной крутизны, — выяснилось, что валуны, какими был усыпан весь холм, сидят в почве неплотно. Шум, сопровождавший его спуск — иногда каблуки высекали искры из камня, — казался единственным звуком во вселенной, потому что колокол уже смолк. Спустившись ниже, Платтнер заметил: очертания домов странным образом напоминают могилы, усыпальницы и памятники, правда все они без исключения были черного цвета — а гробницы обычно белые. Тут он увидел,

что из большого здания выходит толпа, как из церкви после службы, только фигуры эти мертвенно-бледные, округлые и тускло-зеленые. Они разбрелись по лучам от широкой улицы, кто-то скрылся в боковых аллеях и потом мелькнул на отрогах холма, кто-то исчез в маленьких черных зданиях вдоль дороги.

При виде этих созданий, что двигались в его сторону, Платтнер замер и стал приглядываться. Они именно двигались, а не шли, потому что ни рук, ни ног у них не имелось, а под головами, напоминавшими человеческие, покачивались тела, как у головастиков. Вид у них был до того странный, что Платтнер, хоть и изумился, особо не встревожился. Подгоняемые ветром, дувшим вдоль склона, они катились навстречу Платтнеру, как мыльные пузыри на сквозняке. Когда одно из этих созданий очутилось вблизи, он увидел: голова и правда человеческая, хотя глаза сильно выпучены, и в них такие печаль и горечь, каких он у живого существа никогда не видел. На Платтнера, к его удивлению, путник даже не взглянул, зато явно наблюдал за передвижением какого-то невидимого предмета. После минутного замешательства до Платтнера дошло: огромные глаза наблюдают за чем-то в том мире, который

он недавно покинул. Существо надвигалось, и Платтнер онемел от изумления. Оказавшись рядом, это создание издало слабенький тревожный звук. Потом легонько шлепнуло его по лицу — он почувствовал холод, — прокатилось мимо и двинулось к вершине холма.

В мозгу Платтнера мелькнула необычайная мысль: эта голова сильно напоминает голову Лиджетта. Он перевел взгляд на другие головы, которые плотной толпой двигались вверх по склону. Никто из них не дал ему понять, что узнаёт его. Пару раз кто-то, поравнявшись с ним, почти повторил жест первого, но Платтнер инстинктивно уворачивался. Почти все лица выражали безнадежную тоску, как лицо того первого существа, почти каждое из этих созданий издавало такие же слабые, полные отчаяния звуки. Кто-то просто плакал, а кто-то быстро катился вверх по холму, разъяренный как дьявол. От других веяло холодом, в глазах некоторых мелькал огонек интереса. Как минимум у одного существа вид был абсолютно счастливый. Но сходства с кем бы то ни было Платтнер больше не заметил.

Платтнер смотрел, как эти диковинные создания разбредаются по холму, наверное, пару часов и продолжил спуск, лишь когда убедился: из при-

тулившихся друг возле друга черных домиков в долину больше никто не выкатывается. Тем временем стемнело, и он выверял каждый шаг. В небе яркими пятнами плескалась зелень. Ни голод, ни жажда его не мучили. Но позже, когда природа взяла свое, посреди узкой долины Платтнер нашел прохладный ручей и клочья мха на валунах — и мох, который он с отчаяния решил отведать, оказался съедобным.

Он бродил среди могил в долине, пытаясь разгадать тайну этих необъяснимых существ. В конце концов он подошел ко входу в большое здание наподобие усыпальницы, откуда раньше появлялись головы. Внутри на базальтовом алтаре светили зеленые огоньки, с колокола высоко под куполом свисала длинная веревка. Вдоль стены на непонятном языке бежала выжженная огнем надпись. Платтнер пытался вникнуть в эти странности и вдруг услышал удалявшийся по улице топот тяжелых ног. Он выбежал в темноту — никого. Хотел было зазвонить в колокол, но решил следовать за шагами. Он бежал долго, однако никого не догнал, его окрики тоже остались без ответа. Видимо, долина простиралась очень далеко. Тьму в ней можно сравнить с нашей звездной ночью, вдоль кромок неба растекалась

наводящая жуть зелень. Никаких голов внизу не было. Видимо, все они были чем-то заняты на верхних отрогах холма. Он посмотрел вверх: они сновали взад-вперед, одни неподвижно висели над землей, другие носились в воздухе. Как «большие снежные хлопья», сказал он, только черные и светло-зеленые.

По словам Платтнера, семь или восемь дней (счет он не вел) он следовал за твердыми и неуклонными шагами, угнаться за которыми ему так и не удалось, осваивал новые уголки этого бескрайнего прибежища дьявола, лазил вверх-вниз по коварным высотам, бродил по отрогам, вглядывался в череду лиц. Пару раз ему почудилось, что за ним наблюдают, но перекинуться словом с живой душой не довелось. На ночлег он укрывался в расщелинах скал. В долине все земное было невидимым — по земным меркам она находилась глубоко под поверхностью. Но наверху, когда начинался земной день, наш мир снова являлся ему. Иногда он спотыкался о темные зеленые камни или застывал на краю пропасти, а вокруг него колыхались зеленые деревья на улицах Сассексвилла. Порой он даже незримо шел по этим улицам, останавливался возле домов и смотрел через окна, что там делают люди. И тогда

он сделал открытие: почти за каждым человеком в нашем мире приглядывают эти головы, за каждым из людей неусыпно наблюдает одно из этих беспомощных, бестелесных созданий.

Кто же они, эти Стражи Живых? Ответа на этот вопрос у Платтнера нет. Но двое, которых он вскоре встретил и которые последовали за ним, пробудили в нем детские воспоминания об отце и матери. Иногда на него смотрели и другие лица, их глаза походили на глаза покойников, которые при жизни укачивали его, или делали ему больно, или помогали в годы юности и зрелости. Всякий раз, натыкаясь на их взгляды, Платтнер испытывал странное чувство ответственности. С матерью он даже отважился заговорить, но ответа не получил. Она лишь пристально посмотрела ему в глаза — и в этом взгляде он прочитал печаль, нежность и, кажется, легкий укор.

Он просто рассказывает, что с ним случилось, не пытаясь ничего объяснить. Нам остается лишь гадать, кто они — эти Стражи Живых? Если это мертвецы, зачем им так старательно наблюдать за миром, который они покинули навсегда? Возможно — и эта мысль кажется мне близкой к истине, — когда наша жизнь приходит к завершению, когда нам уже не нужно выбирать между

добром и злом, мы продолжаем созерцать цепь заложенных нами последствий. Если души живут после физической смерти человека, значит, живут и человеческие интересы. Но это лишь мое толкование того, что увидел Платтнер. Он же никакого объяснения не дает, ибо не получил такового сам. Читатель должен отдавать себе в этом отчет. День за днем он бродил по этому освещенному загадочным светом краю за пределами мира людей, одурманенный, усталый, а к концу путешествия еще и потерявший силы и голодный. Днем (по земным понятиям) ему являлось призрачное видение такого знакомого Сассексвилла, наполнявшее его душу глухой тревогой. Он не видел, куда ступить, чтобы не споткнуться, и временами лицо обдавало холодком — его касался кто-то из Стражей. А с наступлением темноты само число этих Стражей вокруг него и их напряженная печаль и наводили на него ужасную тоску. Все его существо наполнялось щемящей грустью, он жаждал вернуться к земной жизни, такой близкой и такой далекой. Неземное окружение болезненно сказывалось на его психике. Его очень беспокоили те, кто наблюдал лично за ним. Он даже кричал на них — дескать, хватит на меня смотреть! Бранился на них, хотел

скрыться. Но они были настойчивы и безмолвны. Как ни пытался он убежать от них по холмам, они все время следовали за ним по пятам.

На девятый день, ближе к вечеру, Платтнер услышал: из глубин долины кто-то идет в его сторону. Сам он в тот момент бродил по гребню холма, на который его выбросило при переносе в этот странный другой мир. Он заторопился вниз, стараясь не потерять равновесия, но его остановило видение: это была комната в боковой улочке неподалеку от их школы. Там находились двое, и он их знал. Окна были открыты, жалюзи подняты, продолговатую комнату ярко освещало закатное солнце, и Платтнер увидел ее на диво четко, как картинку волшебного фонаря, на фоне черного пейзажа и тускло-зеленого зарева. Помимо солнечных лучей, комнату озаряла свеча.

На кровати лежал отощавший человек, его жуткое белое лицо призраком тонуло в измятой подушке. Стиснутые кулаки воздеты к небу. На столике возле кровати — пузырьки с лекарствами, хлеб, вода, пустой стакан. Порой губы бедолаги шевелились, он словно хотел что-то сказать, но не мог. А женщина его словно не замечала, она рылась в бумагах, выдвинув ящик старинного комода в другом углу комнаты. По-

началу картинка была живой и яркой, но потом фон зеленого зарева сделался ярче, и видение потускнело, потеряло цвет.

Гулкие шаги все приближались — шаги, что в другом мире грохочут, а в этом едва слышны. Рядом с собой Платтнер увидел бестелесную массу блеклых лиц; они явились из тьмы и дружно наблюдали за парой в комнате. Раньше он столько этих Стражей не видел. Половина огромной массы глаз нацелилась на страдальца в постели, а другая с бесконечной болью следила за женщиной — та жадно зыркала по сторонам в поисках чего-то, чего не могла отыскать. Лица окружили Платтнера, они застили ему свет и мешали смотреть, издавая бесполезные всхлипы. Поэтому он лишь изредка мог что-то разглядеть. В другие моменты картинка тускло подрагивала, движения словно укрывала зеленая вуаль. В комнате стояла полная тишина. Пламя свечи, рассказывал Платтнер, тянулось вверх идеально ровным дымком, но отзвук шагов отдавался в его ушах настоящим громом. А лица, что его окружали! Два, следившие за женщиной: одно тоже женское, белое, с ясными чертами, лицо, что когда-то, возможно, было холодным и жестким, но теперь смягчилось — на него снизошла несвойственная

нашей земле мудрость; другое — это, наверное, отец женщины в комнате. Оба, казалось, созерцали нечто омерзительное и низкое, но помешать увиденному или как-то от него защититься не могли. За ними во множестве виднелись другие — учителя, которые, наверное, плохо учили эту женщину, друзья, чье влияние ни от чего не смогло уберечь. А на мужчину в комнате тоже глядело множество лиц, но родителей или учителей среди них не было! Лица, когда-то грубые, в эту скорбную минуту словно очистились. И еще одно лицо впереди — девичье, в нем не было ни злобы, ни раскаяния, лишь терпеливая усталость, и Платтнеру показалось, что это лицо жаждет облегчения. Дар рассказчика изменил Платтнеру, когда он пытался вспомнить все эти призрачные лица. Они собрались, когда ударил колокол. Он увидел их всех разом за долю секунды. Возможно, он был так взволнован, что его неуемные пальцы сами вытащили из кармана бутылочку с зеленым порошком и подняли на уровень глаз. Но он этого не помнит.

Внезапно шаги прекратились. Он ждал, что услышит их снова, но тщетно, а потом внезапно, словно прорезая неожиданную тишину энергичным и тонким лезвием, прозвучал первый удар

колокола. Все лица тут же закачались взад-вперед, ропот вокруг него усилился. Но женщина в комнате ничего не слышала и что-то жгла в пламени свечи. Со вторым ударом все вокруг как-то помутнело, когорту Стражей обдало ледяным ветром. Они завихрились вокруг Платтнера, как мертвые листья весной, а с третьим ударом что-то соединило их с постелью в комнате. Знаете, что такое луч света? А это был луч тьмы, Платтнер присмотрелся и понял: это призрачная рука.

Зеленое солнце горело над черной пустошью горизонта, комната была теперь едва видна. Платтнеру показалось, что белое пятно на кровати затряслось, дернулось в конвульсиях, а женщина, вздрогнув, обернулась.

Облако Стражей взлетело в воздух, зеленые пылинки подхватил ветер и быстро потащил к храму в долину. Платтнер вдруг понял, что это за призрачная черная рука, которая протянулась из-за его плеча и схватила свою добычу. Он не осмелился повернуть голову и посмотреть на тень, которой эта рука принадлежала. Собрав все силы, прикрыв глаза, он пустился наутек, пробежал шагов двадцать, поскользнулся на валуне и упал. Упал он ничком, выставив вперед руки, и, когда грохнулся оземь, мензурка в его руке

разбилась и взорвалась.

Через секунду он, ошарашенный и окровавленный, уже сидел лицом к лицу с Лиджеттом в старом, обнесенном стеной саду на задворках их школы.

На этом история о том, что случилось с Платтнером, завершается. Считаю, что мне удалось избежать естественного для писателя соблазна и передать все без прикрас. Я изложил события как можно ближе к тому, что мне рассказал сам Платтнер, тщательно избегая каких бы то ни было изменений в стиле и композиции. Например, я мог бы легко доработать сцену на смертном одре, превратив ее в заговор, в котором участвовал бы сам Платтнер. Но едва ли стоит приукрашивать и без того удивительную подлинную историю; к тому же каждое такое вторжение испортило бы любопытное впечатление от этого темного мира с его тускло-зеленым освещением и Стражами Живых — незримого и недосягаемого мира, который нас окружает.

Остается лишь добавить, что в доме на Винсент-Террас, прямо за школьным садом, действительно умер человек, и, насколько это можно установить, умер в ту самую минуту, когда Платтнер вернулся. Усопший был сборщиком податей и

страховым агентом. Его вдова, много моложе его, месяц назад вышла замуж за некоего господина Уимпера, ветеринара из Олбидинга. Поскольку часть рассказанной здесь истории так или иначе передавалась из уст в уста в Сассексвилле, эта женщина позволила мне упомянуть ее имя, но при одном условии: я внятно дам понять, что она решительно опровергает отчет Платтнера о последних минутах ее мужа. Никакого завещания, по ее уверению, она не сжигала (правда, Платтнер подобных обвинений и не выдвигал). Ее муж составил всего одно завещание, сразу после их свадьбы. Но для человека, который в той комнате никогда не был, Платтнер описал ее на диво точно.

Рискуя повториться, сделаю еще одно замечание, дабы не быть обвиненным в суеверии и излишнем простодушии. Девятидневная отлучка Платтнера из нашего мира, как мне кажется, доказана. Но она не доказывает, что его рассказ достоверен. Галлюцинации возможны и по ту сторону нашего мира. Во всяком случае, читатель должен иметь это в виду.

1896

Что произошло с покойным мистером Элвешемом

Я излагаю здесь эту историю, отнюдь не надеясь, что ей поверит хоть один человек. Моя цель, если возможно, предупредить дальнейшие жертвы. Может быть, мое несчастье послужит на пользу другим. Что же касается меня, то я знаю: дело мое безнадежно, и я уже принял меры, чтобы с честью встретить свою судьбу.

Меня зовут Эдуард Джордж Иден. Я родился у Трентхема, в Стаффордшире, где мой отец служил в садовниках. Трех лет от роду я лишился матери, и мне было пять, когда умер мой отец. Тогда дядя Джордж Иден усыновил меня. Он быль холостяк, самоучка, и был хорошо известен в Бирмингеме как смелый и предприимчивый журналист. Ему я обязан своим воспитанием. Он сумел возбудить и укрепить во мне самолюбивые мечты о жизненных победах и, умирая — это случилось четыре года назад, — оставил мне все свое состояние, что, после всех расходов, составило около пятисот фунтов стерлингов. Тогда мне было восемнадцать лет.

В своем завещании он советовал мне употребить эти деньги на дальнейшее образование. Я уже избрал себе профессию — медицину, и, благодаря его посмертной щедрости и моей удаче на приемных экзаменах, сделался студентом медицины в Университетском колледже Лондона. В ту пору, когда начинается мой рассказ, я квартировал в № 11«а» по Университетской улице, в маленькой комнатке, на самом верху, очень бедно обставленной и выходящей во двор. В комнате этой я занимался, там же и спал, так как приходилось урезывать расходы до последнего шиллинга.

Я нес в починку сапоги, к сапожнику на Тоттенхем-Корт-роуд, когда произошла моя первая встреча с тем маленьким желтолицым старичком, с которым так неразрывно связалась теперь моя жизнь. Он стоял у края панели, подле самых дверей, с неуверенностью глядя на номер нашего дома. И когда я показался в дверях, его глаза — мутные, бесцветные, с красноватыми веками — встретились с моей физиономией, и тотчас же всеми морщинами своего лица он выразил привет и удовольствие.

— Вы как раз вовремя! — воскликнул он. — Я совсем позабыл номер вашего дома. Как ваше

здоровье, милый мистер Иден?

Меня удивила немного такая фамильярность, потому что до той поры я ни разу с ним не встречался. Также и раздражен я был отчасти, что меня застали с сапогами под мышкой. Он, видимо, заметил это и сказал:

— Вы, наверно, думаете: что за черт? — не правда ли? Доброжелатель, позвольте вас уверить. Друг! Видал вас и раньше, хоть вы меня и не примечали. Могу ли я с вами где-нибудь побеседовать?

Я встал в тупике. В убогую мою комнату наверху незачем совать нос каждому встречному.

— Не лучше ли будет, — сказал я, — если мы пройдемся по улице? К сожалению, я очень занят.

Мой жест выразил эту мысль раньше всяких слов.

— Превосходно! — сказал он и оглянулся. — В какую же сторону нам идти? Послушайте, — прибавил он внезапно, — ведь мне нужно с вами кой о чем потолковать. Пойдем и позавтракаем вместе, мистер Иден. Я уже старик, очень старый, изъясняться мне затруднительно, голос у меня хилый, а на улице шумно…

Он положил мне на плечо костлявую, слегка

дрожащую руку.

Я был очень молод, и старик имел право угостить меня завтраком. Но все же мне не совсем польстило это внезапное приглашение.

— Не лучше ли, я… — начал я.

— Нет, не лучше ли, я? — сказал он, хватая меня за руку. — И моим седым волосам, не правда ли, подобает хоть немного уважения?

Итак, я согласился и отправился вместе с ним.

Он повел меня в ресторан Блавицкого; я должен был замедлить шаги, чтобы приспособиться к его старческой походке, и за завтраком, какого я, конечно, никогда до тех пор не ел, он умело увильнул от всех моих расспросов. И мне осталось получше рассмотреть его физиономию.

Она была чисто выбрита, вся иссохшая, в морщинах. Сморщенные губы, отвисая, обнаруживали вставную челюсть. Белые волосы были жидки и длинны. Он казался мне невысоким, хотя в ту пору большинство людей казались мне невысокими. Его плечи были согнуты и покаты. И рассматривая его, я не мог не заметить, что и он исподтишка наблюдает меня, и его глаза, даже с какою-то жадностью, бегают по мне, от широких плеч к загорелым рукам и снова к моему веснушчатому лицу.

— А теперь, — сказал он, когда мы закурили, — позвольте приступить к делу. — Я должен повторить вам, что я очень и очень стар. — С минуту он помолчал. — И у меня есть деньги, и эти деньги я должен оставить, а оставить их некому.

Мне вспомнилось множество воровских проделок на этой почве, и я решил ни за что не проговариваться о своих фунтах стерлингов. Он же продолжал распространяться о своем одиночестве, упомянул о тех тревогах, которые он испытал, не зная будто бы, куда поместить свои деньги.

— Я пробовал одно, я пробовал другое: школьные стипендии, библиотеки, благотворительные общества, богадельни, и пришел к тому заключению, — он впился глазами в мое лицо, — что лучше всего разыскать какого-нибудь юношу, с благородными порывами, честолюбивого и бедного, здорового телом и душою, и сделать его своим наследником, отдать ему все, что у меня имеется. — Он повторил: — Отдать ему все, что у меня имеется. И, таким образом, раз навсегда избавить его от всех волнений и тревог и дать ему возможность сразу применить свои силы к тому, что ему более всего по душе, и доставить ему и свободу и власть.

Я старался казаться безучастным. С явным лицемерием я сказал:

— И вам нужна моя помощь, моя медицинская помощь, чтобы найти подходящее лицо?

Он улыбнулся и так поглядел на меня из-за своей папиросы, что мне стало смешно; с таким спокойствием он принял мою притворную скромность.

— Какая карьера у этого человека! — воскликнул он. — Мне даже завидно подумать, что я скопил и устроил все, чтобы этим воспользовался другой… Но, конечно, не все же права, — у него будут и обязанности. Он, например, обязуется носить мое имя. Ведь нельзя же не взять вознаграждения за свою щедрость. И, кроме того, я должен быть досконально осведомлен во всех обстоятельствах его жизни, и только потом я усыновлю его. Необходимо, чтобы он был крепкого здоровья. Я должен быть посвящен в его наследственность, в то, как скончались его деды и отцы, и строжайшим образом исследовать его личное поведение…

Это несколько умерило мое тайное ликование.

— И если я правильно вас понимаю, — сказал я, — я…

— Да, — подхватил он, почти исступленно. —

Вы, вы, именно вы!

Я не ответил ни слова. Мое воображение закружилось в каком-то диком вихре, и даже мой внутренний скептицизм не мог его умерить. Ни капли благодарности не чувствовал я и никак не мог придумать, что мне высказать в этом смысле.

— Но почему же именно я? — промолвил я наконец.

Он, оказывается, уже слыхал обо мне от профессора Газлара, как о здоровом и нормальном молодом человеке, а он желал оставить свое состояние именно такому лицу.

Такова была моя первая встреча с этим низеньким старичком. Он держал себя очень скрытно: не сообщал своего имени, и когда я хотел задать ему несколько вопросов, поспешил расстаться со мной у дверей ресторана. Я заметил, что, расплачиваясь с лакеем за наш завтрак, он вытащил из кармана пригоршню золотых монет.

Любопытна была его забота о телесном здоровье наследника. Согласно состоявшемуся между нами условию, я в тот же день обратился в Общество страхования жизни, и там мне выдали страховой полис на большую сумму, и всю последующую неделю меня до истощения тормошили

исследованиями тамошних медиков. Но и это не удовлетворило его, и он настоял на том, чтобы меня переосвидетельствовал сам доктор Гендерсон.

Только в пятницу на Фоминой неделе пришел он к окончательному решению. Он вызвал меня поздно вечером — около девяти часов, — оторвав от химических формул, над которыми я корпел, подготовляясь к предварительным экзаменам. Он стоял в коридоре под еле мерцавшим газовым рожком, и его лицо было освещено причудливым светом. Он, казалось, согнулся еще больше прежнего, и щеки его как будто еще более впали.

От волнения голос его дрожал.

— Все как следует, мистер Иден, — сказал он. — Все как следует, решительно все. И в этот знаменательный вечер, не правда ли, нужно вспрыснуть ваше... повышение... — Здесь его прервал кашель. — Вам недолго осталось ждать, — сказал он, утирая губы платком и впиваясь в мою руку своими длинными и костлявыми пальцами. — Нет, вам очень недолго ждать.

Мы вышли на улицу и кликнули кеб. Я живо помню каждую мелочь этой поездки, быстрое легкое движение, живую смену газовых, керосиновых и электрических огней, уличные толпы, то место на Риджент-стрит, к которому мы подъ-

ехали, и тот великолепный обед, который мы заказали там. Сперва меня смущало поглядыванье хорошо одетого лакея на мой убогий костюм, но скоро шампанское разгорячило мою кровь, и моя доверчивость вернулась ко мне.

Сначала старик говорил о себе. В кебе он наконец открыл свое имя; он оказался Эгбертом Элвешемом, великим философом, которого имя мне было известно, когда я был еще школьником. Мне казалось невероятным, чтобы такой человек, такой высокий ум, уже с детства властвовавший над моим умом, чтобы это великое абстрактное представление реализовалось в виде такой дряхлой, совсем обыкновенной фигурки. Я уверен, что всякий юноша, неожиданно очутившийся в кругу знаменитостей, непременно почувствует нечто вроде моего разочарования.

Потом он заговорил о будущем, которое иссякающий поток его жизни оставит для меня в полной неприкосновенности: дома, издательские права, денежные вклады; я никогда не предполагал, чтобы философы были так богаты. С завистью следил он, как я уничтожал яства и напитки.

— Как много в вас жизненных сил, — сказал он; а потом со вздохом — вздохом облегчения, как мне показалось, прибавил: — Но теперь это уже

не надолго.

— Да, — молвил я, а голова у меня так и плыла куда-то от шампанского, — может быть, у меня и есть будущее — даже, благодаря вам, очень приятное будущее. И теперь у меня будет высокая честь носить ваше имя. Но у вас есть прошлое. Такое прошлое — оно стоит всего моего будущего.

Он покачал головой и ухмыльнулся, как мне показалось, с полупечальным признанием моей восторженной лести.

— Это будущее, неужели вы и вправду захотели бы обменяться со мной? — Тут вошел лакей с бутылками.

— Конечно, вы бы не отказались от моего имени, от моего положения, но неужели вы — по доброй воле — взяли бы себе и мои лета?

— Вместе с вашими делами, — ответил я любезно.

Он ухмыльнулся опять.

— Два кюммеля!.. — сказал он лакею и обратил свое внимание на маленький сверток, который извлек из кармана. — Этот час, — сказал он, — этот послеобеденный час есть час разных маленьких удовольствий. Вот мое еще неопубликованное открытие. — Он развернул сверток дрожащими желтыми пальцами и там оказалась

щепотка розоватого порошка. — Это… но нет, вы сами сейчас увидите, что это такое. Но Кюммель — если всыпать туда вот этого, — становится *Himmel*, а не Кюммель.

Его большие серые глаза впились в мои с непередаваемым выражением.

Меня немного шокировало, что великий учитель уделяет столько внимания напиткам. Но я сделал вид, будто меня очень интересует эта его слабая струнка, и я был в меру пьян для такого лицемерия.

Он разделил порошки поровну между двумя стаканчиками и, вдруг приподнявшись, с неожиданной величавостью протянул ко мне руку. Я сделал то же самое и стаканы звякнули.

— За быстрое превращение! — сказал он, поднося к губам стакан.

— Не так! — перебил я. — Совсем не так! За долгую жизнь! Пью за долгую жизнь.

Он помолчал немного.

— За долгую жизнь! — подхватил он и внезапно засмеялся.

Пристально глядя друг другу в глаза, мы потягивали из стаканов. Его глаза впивались в мои, и по мере того, как я пил, я чувствовал что-то в высшей степени странное. Мой мозг завертелся в

яростном вихре; казалось, я физически чувствую его вращение в моем черепе: кипящие и шипящие звуки переполнили мне слух. Я не замечал вкуса; я не ощущал аромата — я только чувствовал напряженность его глаз, которые вжигались в мои. Это питье, эта душевная смута, шум и кипение у меня в голове, все это, казалось, длится без конца. Странные смутные тени полузабытых вещей мелькали и исчезали за гранью сознания.

Но вот он прервал эти чары и со вздохом отставил стакан.

— Ну? — спросил он.

— Великолепно, — ответил я, хоть и не ощущал никакого вкуса.

Голова у меня шумела. Я не мог держаться на ногах. Мой мозг был хаосом. Но постепенно все прояснялось и становилось отчетливее, как будто я глядел на предметы в вогнутое зеркало. Он же внезапно стал страшно торопиться и занервничал чрезвычайно. Вынул часы и с гримасой взглянул на них.

— Без одиннадцати семь. А я должен… в семь двадцать пять… поспеть на станцию Ватерлоо. Мне надо бежать.

Он потребовал счет и засуетился с пальто. Еще минута, и я желал ему доброй ночи через фартук

кеба, и меня все еще не покидало это странное чувство чрезвычайной отчетливости, как будто я не только глядел, но — как бы это сказать? — даже ощущал все окружающее в перевернутый бинокль.

— Это питье! — сказал он, приложив палец ко лбу. — Мне не следовало давать его вам. Завтра у вас порядком будет ныть голова. Но погодите. Вот! — Он дал мне маленькую плоскую коробочку, вроде содовых порошков. — Как идти ко сну, примите это в воде. Но заметьте: перед самым сном, не раньше. Это облегчит головную боль. А теперь еще раз: прощайте, наследник.

В голове у меня шумело, когда я пошел к дому по Риджент-стрит, мимо ночных гуляк и по темным закоулкам, что за Портленд-роуд. Я очень живо помню впечатления этого странного пути. Теперь трудно описать особенность моего тогдашнего умственного состояния; и слова «умственная раздвоенность» — только слабо намечают его. Вот я иду по Риджент-стрит, и в то же время меня не покидает причудливое чувство, будто я подъезжаю к вокзалу Ватерлоо; я прохожу мимо Политехникума с таким ощущением, будто сажусь в вагон. Подношу к глазам пальцы, смотрю сквозь них — снова Риджент-стрит. Как бы выразить это?

Бывают хорошие актеры: он спокойно глядит на вас, а потом сделает гримасу — и вот! — другой, совсем иной человек. Такую же гримасу сделала мне улица Риджент-стрит, — не правда ли дико то, что я говорю сейчас. Потом она снова стала той же улицей — и тогда меня охватили какие-то фантастические, невозможные воспоминания.

«Тридцать лет тому назад, — подумалось мне, — здесь я повздорил с покойным братом».

Потом я громко расхохотался, к удивлению и удовольствию кучки ночных бродяг. Тридцать лет тому назад меня не было на свете, и никогда в жизни не было у меня братьев. Каким-то расплавленным безумием был тот напиток, ибо вот опять меня ущемила жалость о моем утраченном брате. На Портленде-роуд мои фантазии приняли другое направление. Я стал вспоминать исчезнувшие лавки и сравнивать нынешний вид улицы с прошедшим. После выпивки тревожные, дикие мысли вполне понятны, но что смущало меня — это ясные и отчетливые воспоминания, которые совершенно фантастическим образом вдруг охватывали меня, и другие воспоминания, явственно уплывавшие у меня из головы. Я остановился, например, перед Стивенсом, продавцом препаратов по естествознанию, и мучительно

раздумывал, какое он имеет ко мне отношение? Запоздалый омнибус протащился мимо и прошумел совершенно как поезд. Чтобы припомнить, я как будто погрузился в какой-то далекий темный колодец и наконец воскликнул:

— О, конечно! Стивенс обещал мне к завтраму трех хороших лягушек. Странно, что я забыл!

Я миновал Юстон-роуд и вышел на Тоттенхем-Корт-роуд, в совершенном замешательстве и даже немного испуганный, и едва ли даже замечал, что иду необычной дорогой, ибо обыкновенно я пересекал наискось всю эту сеть переплетающихся улиц. Я повернул на Университетскую улицу и тут обнаружил, что позабыл номер своего дома. Только сильным напряжением памяти вызвал я в уме № 11«а», и даже тогда мне почудилось, что кто-то давно позабытый сообщил мне его.

— Нет, — молвил я, — это никуда не годится. Надо сейчас же принять другие порошки.

В прихожей я долго отыскивал спички и свечку совсем не там, где всегда, и долго соображал, как мне пройти в мою комнату.

«Пьян, — подумал я, — несомненно, пьян», — и безо всякой надобности стал спотыкаться на лестнице, чтобы успокоить себя на этот счет.

С первого взгляда моя комната показалась мне

не моей, но усилием воли я преодолел самого себя, и чувство фантастической новизны сменилось привычным и знакомым. Вот мое старое зеркало, с моими заметками о белковине, заложенными за раму; вот мое старое платье, которое я ношу по будням, второпях брошенное на полу. Но все же это не совсем реально. Я чувствовал, как какое-то дурацкое убеждение пытается вселиться в меня, будто я сейчас в поезде, и вот поезд остановился, и я гляжу из окна на какую-то неизвестную станцию. Я крепко ухватился за спинку кровати, чтобы прогнать эти чары. Я сказал: «Это ясновидение; надо будет написать в Общество Психических Изысканий».

Я сел на кровать, чтобы снять ботинки. И было похоже на то, будто картина всех нынешних моих переживаний была нарисована поверх другой картины, и та, другая картина, пытается проглянуть из-под спуда. «Черт возьми, — сказал я, — это я схожу с ума или я и в самом деле сразу в двух местах?» Полураздевшись, я развел порошки в стакане. Они зашипели, заискрились и стали янтарного цвета. Я принял их, и тотчас же мне стало лучше. Я ощутил у щеки подушку и мгновенно заснул.

Проснулся я сразу; мне приснились какие-то

чудовищные звери. Оказалось, я спал на спине. Всякий, должно быть, знает этот страшный тревожащий сон, от которого устаешь и в конце концов просыпаешься, но с непонятной истомой. У меня во рту был странный вкус, во всем теле я ощущал неловкость и усталость, особенно на поверхности кожи. Голова моя лежала на подушке не шевелясь, и я ждал, что это ощущение какой-то необычности и ужаса пройдет само собою и что я снова засну. Но вместо этого мои ощущения обострились. Сперва я не замечал ничего особенного. В комнате был слабый свет, настолько слабый, что его можно бы назвать тьмою, и мебель выступала мутными пятнами из совершенной темноты. Глаза мои, уставившись в одну точку, смотрели поверх одеяла.

Какая-то уверенность, что что-то не так, овладела мною. Я сделал усилие, приподнял голову и стал вглядываться в потемки. Что произошло, я не мог понять. Я смотрел на туманные очертания окружающего, на большее или меньшее сгущение темноты, указывающее занавесы, стол, камин, полки с книгами и т. д. И вдруг я стал замечать что-то непривычное в этих светлых и темных пятнах. Уж не переставлена ли моя кровать. Вон там должны быть полки, но что-то

завернутое, словно в саван, и белеющее встало там, что-то такое, что, как ни гляди, совсем не соответствует книжным полкам. И оно слишком велико и не может оказаться сорочкой, наброшенной на стуле.

Побеждая ребяческий страх, я отбросил одеяло и спустил с постели ногу. Но я не достал ногою до пола, как это всегда бывало, а едва только дотянулся до конца матраца. Я подвинулся еще и сел на краю. Тут недалеко должны быть спички и свечка на сломанном стуле. Я протянул руку и стал шарить — ничего! Я провел рукою в воздухе, и она наткнулась на что-то тяжелое, на какую-то мягкую и плотную ткань, которая при моем прикосновении зашуршала. Я ухватил ее и потянул к себе; это оказалась занавесь балдахина над моей кроватью.

Теперь я окончательно проснулся и стал понимать, что я в чужой квартире. Это смутило меня совсем. Мутное, бледное видение становилось все бледнее и оказалось окошком, на фоне которого выделился темный овал зеркала при слабом мерцании рассвета, просочившегося через штору. Я встал на ноги и был поражен странной слабостью и неустойчивостью своего тела. Протянув вперед дрожащие руки, я медленно направился к окну

и все же ушиб себе коленку о какой-то непредвиденный стул.

Чтобы достать шнурок от шторы, я провел рукою за зеркалом, которое было значительных размеров, с бронзовыми изящными канделябрами; я не нашел шнурка, но случайно ухватился за шелковую кисточку, и с треском пружины штора взлетела вверх.

Вид из окна показался мне совершенно незнакомым. Ночь окончилась, и сквозь клочковатый туман столпившихся туч процеживался слабый полусвет зари. У самого края небес эта облачная завеса была украшена багряной каймою. Внизу все было смутно и неразличимо: какие-то темные холмы в отдалении; груда строений, устремленных вверх к каким-то башням; деревья, как пятна пролитых чернил, а под самым окном вязь чернеющих кустов и сереющих бледных тропинок. Все это было так незнакомо, что на минуту я подумал, будто все это еще во сне. Я нащупал туалетный столик; он, казалось, был сделан из какого-то полированного дерева и был превосходно убран — были маленькие граненые склянки и какая-то щетка, и еще там был странный маленький предмет вроде лошадиной подковы, с упругими гладкими разветвлениями,

лежавший на блюдце.

Ни спичек, ни свечки я так и не сыскал.

И снова я оглядел эту комнату, теперь, при поднятой шторе, бледные тени ее мебели выступили из темноты. Обнаружилась большая занавешенная кровать, и у подножия камина белая доска, на которой мерцало что-то мраморное.

Я облокотился о туалетный столик, закрыл глаза и снова открыл их, и попробовал сосредоточиться. Все было слишком осязательно и не могло оказаться сном. Я склонен был думать, что у меня в памяти просто оказался пробел, после того странного напитка; что я, может быть, уже получил наследство и что у меня все вышло из ума, чуть только я разбогател. И что стоит мне еще немного сосредоточиться, и все для меня уяснится. Но ужин со стариком Элвешемом особенно свежо сохранился в моей памяти. Шампанское, внимательные лакеи, порошки и вина, — я мог бы поклясться чем угодно, что все это было лишь немного часов назад.

И тут случилось нечто до того обыкновенное и все же до того страшное, что я и сейчас дрожу, вспоминая об этой минуте. Я заговорил вслух. Я сказал:

— Как же, черт возьми, я попал сюда?

…И это был не мой голос.

Это был не мой голос, это был тонкий голос с нечистыми звуками и не такой был резонанс у моих лицевых костей. Тогда, чтобы разуверить себя, я провел одной рукою по другой и ощутил отвисшие складки кожи, развинченность старческих костей.

— Конечно, — промолвил я этим страшным голосом, который почему-то забрался в мою глотку, — конечно, все это только сон.

В то же самое мгновение, будто против воли, я вложил свои пальцы в рот. Мои зубы исчезли! Пальцы бегали по дряблой поверхности съежившихся десен. Все у меня помутилось от ярости и омерзения.

И тут я ощутил безумное желание увидеть себя и сразу постигнуть во всем ужасе дьявольское превращение, которое случилось со мной. Я заковылял к камину и стал нащупывать спички. И вдруг какой-то лающий кашель возник в моем горле, и я запахнулся во фланелевый халат, который почему-то оказался на мне. Никаких спичек я не нашел и скоро почувствовал, что руки и ноги у меня леденеют.

Сопя и покашливая, и даже немного охая, я поплелся обратно в постель.

— Конечно, все это — сон, — бормотал я, карабкаясь вверх, — не иначе как сон.

Это было старческое повторение одного и того же слова. Я натянул одеяло на плечи, на уши, я засунул иссохшие руки под подушку и решил хорошенько улечься, чтоб скорее уснуть. Конечно, это был сон, и поутру этот сон рассеется, и я снова проснусь крепким и сильным и снова вернусь к моей юности и к моей работе. Я сомкнул глаза и установил мерное дыхание, но заснуть не мог и принялся медленно считать, возводя последовательно цифры в третью степень.

Но то, чего я добивался, не приходило. Я никак не мог заснуть. И убеждение в неумолимой реальности происшедшей со мной перемены постепенно росло во мне. Скоро я обнаружил, что лежу с открытыми глазами, что все цифры третьей степени забыты и мои костлявые пальцы покоятся на сморщенных деснах.

Наконец, отчаявшись в дальнейшем сне, я уселся на кровати и внимательно огляделся вокруг. Холодный полусвет позволил мне видеть всю комнату. Она была обширна и хорошо убрана, лучше убрана, чем любая из тех, где мне доводилось до той поры ночевать. Свеча и спички неясно вырисовывались вдали на маленькой скамеечке.

Я сбросил одеяло и, вздрагивая от утренней сырости — хотя время было летнее, — привстал и зажег свечу. Потом весь дрожа, так что колпачок над свечей дребезжал на своем стебельке, я проковылял к зеркалу и увидел… лицо Элвешема. Я смутно ожидал, что увижу его, но от этого оно не стало привлекательнее. Он всегда казался мне физически разбитым и жалким, но теперь, в фланелевом халате, который распахнулся и открывал изборожденную жилами шею, теперь, когда его тело — мое, я не могу описать, до чего оно было ужасно, покинутое, одинокое, дряхлое. Ввалившиеся щеки, рассыпавшаяся косичка грязновато-серых волос, гнойные глаза, дрожащие, сморщенные губы, и эта нижняя губа, отвислая и открывающая розоватую внутренность рта, и эти отвратительно темнеющие десны. Вы, у кого гармоничны и тело и дух; вы, люди своих собственных лет, как вам понять, в каком дьявольском плену оказался я?

Некоторое время я был положительно оглушен случившимся. Уже был день, когда я настолько пришел в себя, что мог приняться за размышления. Каким-то необъяснимым путем я преобразился, хотя чем, как не колдовством, это могло быть совершено, я никак не умел объяснить

себе. И покуда я соображал, мне припомнилась сатанинская изобретательность Элвешема. Мне вдруг показалось очевидным, что, если я нашел себя в его теле, он должен быть теперь в моем, обладая моей силой и всем моим будущим. Но как установить это?

Все это было так невероятно, даже для меня, что мой ум очень скоро затуманился, и я должен был ущипнуть себя и снова нащупать свои десны, и поглядеть на себя в зеркало, и коснуться рукой окружающих вещей, чтобы встать лицом к лицу с истиной. Уже не была ли галлюцинацией вся жизнь? Не был ли я и вправду Элвешемом? А Иден мне просто снился прошедшей ночью? Да и был ли на свете какой-нибудь Иден? Но будь я на самом деле Элвешемом, я бы помнил, где я был накануне утром, и название того города, где я жил, и что случилось перед тем, как мне приснился сон. Я боролся с моими мыслями. Я припоминал ту проклятую двойственность, которая давеча овладела моей памятью. Но теперь мои мысли были ясны.

— Этак и с ума нетрудно сойти! — воскликнул я своим пискливым голосом. Я приподнялся на ноги, поволок свое дряблое, отяжелевшее тело к умывальнику и окунул мою седую голову в чаш-

ку холодной воды; потом вытерся полотенцем и снова принялся за прежние мысли. Никаких результатов! Сомнений быть не могло: я был Иден, а не Элвешем. Но Иден в Элвешемовом теле!

Если бы я был человеком другого века, я бы покорился своей судьбе, как неизбежному колдовству. Но в наши скептические дни чудеса уже вышли из обращения. Это не что иное, как какая-нибудь психологическая игра. Что способно создать одно снадобье и один упорный взгляд, то другое снадобье и другой упорный взгляд, несомненно, способны разрушить. Ведь есть же какое-нибудь лекарство! Люди и раньше утрачивали память. Но обменяться душами, как зонтиками! Я расхохотался. Увы! Не здоровым молодым хохотом, но подлым свистящим, старческим хихиканьем. Я мог себе представить, как смеется над моим положением старый Элвешем, и припадок буйной ярости, не свойственной мне, вихрем пронесся надо мной. Я принялся торопливо облекаться в одежду, которую нашел на полу, и, только одевшись, увидел, что это была фрачная пара. Я открыл платяной шкаф и нашел несколько не столь праздничных нарядов, пару клетчатых брюк, старомодный халат. Я надел солидную шляпу на свою солидную голову и,

немного покашливая от этих усилий, побрел на площадку лестницы.

Было около четверти шестого; жалюзи были еще опущены, а дом погружен в молчание. Площадка была большая; широкая, устланная коврами лестница спускалась в темноту прихожей, и через раскрытую прямо против меня дверь я увидел конторку, вращающуюся этажерку, спинку рабочего кресла и бесконечные ряды книг.

— Мой кабинет, — пробормотал я и шагнул вперед. Но тут я кой о чем вспомнил; я вернулся обратно в спальню и вставил себе фальшивые зубы. Они легко скользнули по деснам, видимо давно приспособившись к ним. — Этак-то лучше, — сказал я себе, звякнул ими, и пошел в кабинет.

Ящики письменного стола были заперты. Его подвижная крышка тоже была заперта. Нигде я не видел ключей; карманы моих брюк были пусты. Я направился в спальню и шарил по всем костюмам и перерыл все карманы, какие только мог отыскать. Я очень торопился, и, когда кончил, можно было подумать, что в комнате хозяйничали воры. Но не только не находил я ключа, даже монеты никакой не мог найти, не нашел ни

клочка бумажки, — только уплаченный счет от вчерашнего обеда.

Странная усталость овладела мною. Я сел и уставился на платье, разбросанное по всей комнате с вывороченными карманами. Мой первоначальный пыл угас. Каждую минуту я все больше постигал безграничную умственную силу в замыслах моего врага и все яснее убеждался в безнадежности своего положения. С тяжелым усилием я приподнялся и бросился, ковыляя, в кабинет. На лестнице увидел служанку: она поднимала жалюзи. Ее поразило, я думаю, выражение моего лица. Я заперся в кабинет и, взяв кочергу, набросился на конторку. За этим делом и застали меня.

Крышка конторки была разбита, замок сломан, письма выхвачены из ящиков и разбросаны по полу. В старческой ярости я рассыпал перья и всякую другую мелочь и опрокинул чернила. Кроме того, большая ваза на камине оказалась разбитой, не знаю как. Я не мог отыскать ни чековой книжки, ни денег, ни каких-нибудь указаний на то, как мне воротить мое тело. В бешенстве бился я об ящики, когда лакей и две горничные набросились на меня.

Таков чистосердечный рассказ о моем перево-

площении. Никто не поверит самым пламенным моим уверениям. Со мной обращаются, как с помешанным, и даже в настоящую минуту я нахожусь под надзором. Но я здоров, совершенно здоров, и, чтобы доказать это, я записал с величайшей точностью все, что произошло. Я обращаюсь к читателю: есть ли хоть какой-нибудь след безумия в моем стиле или в моей манере выражаться. Я молодой человек, запертый в тело старика. Но это простое и очевидное явление всякому кажется невозможным.

Естественно, меня считают помешанным те, кто не верит моему рассказу, естественно, я не знаю, как зовут моих секретарей, не знаю докторов, приезжающих с визитами; не знаю моих слуг и соседей, — не знаю никого в этом городе (каков бы он ни был), где я очутился. Естественно, я теряюсь в своем собственном доме и терплю всякого рода неудобства. Естественно, я задаю самые странные вопросы. Естественно, я кричу, и плачу, и проявляю пароксизмы отчаяния.

У меня нет ни денег, ни чековой книжки. Банк не признает моей подписи, ибо я полагаю, что, как ни слабы мускулы моих рук, почерк у меня остался от Идена. Те же, что окружают меня, не пустят меня лично отправиться в банк. Кажется,

в этом городе даже и нет никакого банка, а счет у меня открыт где-то в Лондоне. Мне сдается, что Элвешем держал в секрете от всех домашних имя своего банкира, — и я не нахожу никаких справок.

Для меня очевидно, что Элвешем имел глубокие познания в психологии, и все изложенные мною факты только подкрепляют уверенность моих стражей, что мое помешательство есть следствие слишком усердных занятий психологией. Ах, эти бредни о тождестве личности! Два дня назад я был здоров и молод и вся моя жизнь была впереди; а теперь я буйный старик, растерзанный и жалкий, в отчаянии блуждающий по чужому роскошному дому, и меня стерегут, и меня боятся, и меня избегают, как безумца, все окружающее. А там, в Лондон, живет Элвешем, снова начинающий жизнь — в здоровом теле, со всеми накопленными знаниями и мудростью семи десятков лет.

Что произошло, я постигаю не совсем ясно. В кабинете есть какие-то рукописи — целые тома! — какие-то заметки, относящиеся, главным образом, к психологии памяти, а частью состоящие из вычислений или из каких-то шифрованных записей, совершенно мне недоступных.

В некоторых местах есть указания на то, что он также занимался философией математики. Я полагаю, что он переселил все свои познания, скопление которых и составляло его личность, из этих иссохших мозгов в мои, а мой душевный опыт переселил в это покинутое помещение. Говоря проще, он подменил свое тело. Но как возможен такой подмен, — это лежит за пределами моего мировоззрения. Я был материалистом всю свою сознательную жизнь, и вот, неожиданно, такой очевидный пример отделимости человека от материи.

Один отчаянный опыт я все же попытаюсь проделать. Я сижу здесь и пишу, а потом доведу это дело до конца. Нынче утром с помощью столового ножа, который я припрятал после завтрака, мне удалось открыть секретный ящик в этой разбитой конторке. Там ничего не оказалось, кроме маленького зеленого пузырька с белым порошком. Вокруг шейки был приклеен ярлычок и на нем надпись: «Избавление». Может быть, или даже наверняка, это яд. Я бы понял Элвешема, если бы он подсунул этот яд мне под руку: тогда было бы ясно, что он хочет избавиться от единственного живого свидетеля против себя; но тогда зачем этот пузырек так старательно

припрятан? Этот человек практически разрешил проблему бессмертия. Если с ним ничего не случится, он проживет в моем теле, пока не состарится, и тогда опять, отбросив его в сторону, он захватит молодость и силу какой-нибудь другой жертвы. Стоит только вспомнить его бессердечие — и цепенеешь от ужаса при одной мысли о его вечно растущем опыте, о… А сколько времени он уже прыгает из тела в тело?.. Но я устал писать. Кажется, порошок растворился в воде. Он не противен на вкус…

Этими словами кончается рукопись, найденная на конторке мистера Элвешема. Мертвое тело лежало на полу между конторкой и креслом. Последнее было отодвинуто, по всей вероятности, его предсмертными судорогами. Весь этот документ написан карандашом, нетвердой рукою, совершенно непохожею на его обычно твердый почерк. Нам остается констатировать только два любопытных факта. Связь между Иденом и Элвешемом несомненна, так как все имущество Элвешема завещано им этому молодому человеку. Но тот не успел получить наследства. Ибо когда Элвешем лишил себя жизни, Иден, как это ни странно, был уже мертв. За двадцать четыре часа до этого он был сшиблен с ног каким-то кебом и мгновенно скончался на многолюдном перекрестке там, где пересекается Гауэр-стрит с Юстон-роуд. Так что единственное живое существо, которое могло бы бросить свет на это фантастическое повествование, теперь находится за пределами всяких допросов. Без дальнейших комментариев мы оставляем это необыкновенное событие на личное рассмотрение читателя.

1896

Хрустальное яйцо

С год тому назад вблизи «Семи Циферблатов» находилась маленькая, выглядевшая очень грязно лавочка, над которой смытыми непогодой желтыми буквами было написано: «К. Кейв, естествоиспытатель и продавец древностей». В окне этой лавочки было выставлено множество разнообразных вещей: несколько слоновых клыков и разрозненные шахматы, четки и оружие, ящик с глазами, два черепа тигра и один человеческий, несколько изъеденных молью обезьяньих чучел (одно из них держало лампу), старинный комод, засиженное мухами страусовое яйцо — или что-то в этом роде, рыболовные принадлежности и необыкновенно грязный, пустой, стеклянный аквариум. В то время, когда начинается эта история, там еще находился кусок хрусталя, обделанный в форме яйца и прекрасно отполированный. На этот-то кусок хрусталя и смотрели два господина, стоявшие перед окном; один из них был высокий худощавый пастор, другой — смуглый чернобородый молодой человек, скромно одетый. Смуглый молодой человек говорил, энергично жестикули-

руя, и, казалось, очень желал, чтобы его спутник купил эту вещь.

В то время, как они стояли здесь, в лавку пришел мистер Кейв; мистер Кейв только что пил чай и еще дожевывал хлеб с маслом. Когда он увидел этих людей и предмет их наблюдения, настроение у него сразу испортилось. Он виновато оглянулся и тихонько закрыл дверь. Это был маленький старый человек с бледным лицом и странными водянистыми голубыми глазами; волосы у него были грязно-серого цвета, на нем был поношенный синий сюртук, старинного фасона цилиндр, на ногах — стоптанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел на двух говоривших между собой покупателей. Пастор полез в карман брюк, ощупал там пригоршню денег и показал зубы, приятно улыбнувшись. Мистер Кейв казался еще более подавленным, когда они вошли в лавку.

Пастор без церемонии спросил цену хрустального яйца. Мистер Кейв нервно посмотрел на дверь, ведущую в гостиную, и сказал, что цена яйца — пять фунтов. Пастор, обращаясь и к своему спутнику, и к мистеру Кейву, запротестовал против слишком высокой цены (это было действительно гораздо больше, чем имел намерение

спросить мистер Кейв, когда выставлял этот предмет) и попробовал торговаться. Мистер Кейв подошел к двери лавки и открыл ее.

— Цена пять фунтов, — сказал он, как будто бы желая избавить себя от лишнего бесцельного спора. При этих его словах над решеткой верхней стеклянной части двери, ведущей в гостиную, появилась верхняя часть женского лица и с любопытством посмотрела на двух покупателей. — Цена пять фунтов, — сказал с дрожью в голосе мистер Кейв.

Смуглый молодой человек, остававшийся до сих пор зрителем, внимательно наблюдал за Кейвом. Теперь он заговорил.

— Дайте ему пять фунтов, — сказал он. Пастор посмотрел на него, чтобы убедиться, говорит ли он это всерьез; затем снова взглянул на мистера Кейва — и увидел, что Кейв был бледен.

— Это — целая куча денег, — сказал пастор и, порывшись в кармане, начал считать деньги.

У него оказалось немногим больше тридцати шиллингов, и он обратился за помощью к своему спутнику, с которым, казалось, был в самой близкой дружбе. Это дало мистеру Кейву возможность собраться с мыслями, и он начал объяснять очень возбужденно, что собственно он не в праве

продать хрусталь. Оба покупателя, естественно, очень удивились и спросили мистера Кейва, почему он не подумал об этом прежде, чем начал торговаться. Мистер Кейв сконфузился, но настаивал на том, что сегодня вечером он не имел в виду продавать хрусталь, что предполагаемый покупатель хрустального яйца уже приходил. Оба, считая это попыткой еще больше повысить цену, сделали вид, что хотят уйти, но в это время дверь отворилась и появилась обладательница черной челки и маленьких глаз.

Это была полная женщина с грубыми чертами лица; она была моложе мистера Кейва и гораздо выше его ростом. Вошла она медленными тяжелыми шагами; щеки у нее горели.

— Хрусталь продается, — сказала она. — И пять фунтов достаточно хорошая цена. Я не могу понять, почему вы, Кейв, не соглашаетесь на предложение этих господ?

Мистер Кейв, очень разгневанный этим вмешательством, посмотрел на нее сердито поверх своих очков и стал, впрочем без особенной уверенности, защищать свое право вести свои дела по собственному усмотрению. Начались пререкания.

Оба покупателя наблюдали эту сцену с инте-

ресом и забавлялись, поддерживая по временам миссис Кейв своими поддакиваниями. Вплотную осажденный, мистер Кейв отстаивал свою запутанную и невероятную историю все о том же: будто нынче утром уже был покупатель на хрусталь, — и волнение мистера Кейва явно становилось мучительным. Но он с необыкновенным упорством продолжал стоять на своем. Молодой человек восточного вида положил конец этому странному спору. Он заявил, что они снова зайдут через два дня и таким образом дадут преимущество покупателю, на которого ссылался мистер Кейв.

— Но тогда мы уже будем настаивать, — сказал пастор. — Пять фунтов.

Миссис Кейв стала оправдывать своего мужа, объясняя, что он иногда бывает «немножко странным», и, когда оба покупателя удалились, супружеская чета приготовилась свободно и всесторонне обсуждать происшедшее.

Миссис Кейв резко нападала на мужа. Бедный маленький человек, дрожа от волнения, сам запутавшись в своих противоречиях, настаивал, что, с одной стороны, он имеет в виду другого покупателя, а с другой — хрусталь, откровенно говоря, стоит десять гиней.

— Почему же ты спросил лишь пять фунтов? — поинтересовалась его жена.

— Предоставьте мне вести мои дела по собственному усмотрению, — сказал мистер Кейв.

Мистер Кейв жил с падчерицей и пасынком, и вечером за ужином происшествие снова подверглось обсуждению. Никто из сидевших за ужином не был высокого мнения о деловых способностях мистера Кейва, но последний его поступок казался уж прямо верхом безумия.

— По моему мнению, он уже и раньше отказывался продать этот хрусталь, — сказал пасынок, развязный верзила лет восемнадцати.

— Но пять фунтов! — возразила падчерица, положительная молодая особа двадцати шести лет.

Ответы мистера Кейва были жалки: он лишь робко бормотал, что это его дело и больше ничье. Посреди ужина мистера Кейва прогнали в лавку — запереть двери на ночь; уши у мистера Кейва горели, и слезы досады застилали его очки. Зачем он так долго оставлял хрусталь на окне? Какое безумие! Вот что беспокоило его. Некоторое время ему казалось уже невозможным избежать продажи хрусталя.

После ужина падчерица мистера Кейва и его пасынок разоделись и ушли, а жена поднялась

наверх, чтобы, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое-чем, поразмыслить насчет истории с хрусталем. Мистер Кейв ушел в лавку и оставался там довольно долго. Он делал вид, что он очень занят тем, что украшает камешками ящики для золотых рыбок, но на самом деле был поглощен чем-то другим, о чем будет речь впереди. На следующий день миссис Кейв увидела, что хрусталь уже убран с окна и лежит позади связки подержанных книг, трактующих насчет рыболовства. Миссис Кейв переложила хрусталь на более видное место. Много разговаривать об этом она не стала, так как у нее была сильная головная боль. А мистер Кейв всегда готов был уклониться от разговоров. День прошел неприятно. Мистер Кейв был более, чем всегда, рассеян и вместе с тем необыкновенно раздражителен. После обеда, когда его жена по обыкновению легла спать, он снова убрал хрусталь с окна.

На следующий день мистер Кейв вышел, чтобы отнести акулу в одну из госпитальных школ, где акула была нужна для вскрытия. В его отсутствие мысли миссис Кейв снова вернулись к хрусталю и к тому, как приличным образом потратить свалившиеся с неба пять фунтов. Она уже распределила их мысленно самым приятным образом:

тут была и покупка для нее самой зеленого шелкового платья, и поездка в Ричмонд. Вдруг звон колокольчика у входной двери призвал ее в лавку. Покупатель, один из лаборантов школы, пришел жаловаться на то, что несколько лягушек, заказанных еще на вчера, не доставлены до сих пор. Миссис Кейв не одобряла этой особенной отрасли дела мистера Кейва, и джентльмен, говоривший в несколько повышенном настроении, удалился после короткого разговора, настолько вежливого, насколько позволяло раздраженное состояние джентльмена. Глаза миссис Кейв естественным образом обратились к окну: вид хрусталя должен был подтвердить получение пяти фунтов и связанные с ними мечты. Но, к ее удивлению, хрусталя там не было.

Она подошла к тому месту за прилавком, где нашла хрусталь накануне, но и там его не было. Она принялась немедленно за усердные поиски по всей лавке.

Отнесши акулу, мистер Кейв вернулся домой примерно без четверти три. Дома он увидел, что в лавке какой-то беспорядок, а жену нашел в полном отчаянии: она стояла на коленях за прилавком и рылась в материалах для набивки чучел. Когда дребезжание колокольчика извести-

ло о возвращении мистера Кейва, разгоряченное и опечаленное лицо его жены появилось над прилавком, и она сразу стала обвинять мужа в том, что он «это спрятал».

— Что «это»? — спросил мистер Кейв.

— Хрусталь.

Вместо ответа мистер Кейв, по-видимому очень удивленный, бросился к окну.

— Его нет здесь! — сказал он. — Великий боже! Что с ним сделалось?

В это самое время, громко ругаясь, вошел в лавку из внутренней комнаты пасынок мистера Кейва; он вернулся домой на несколько минут раньше мистера Кейва. Он был в учении у торговца подержанной мебелью в конце улицы, но обедал дома и был, конечно, раздосадован, что обед еще не готов.

Но услышав об исчезновении хрусталя, он забыл и про обед, и гнев его с матери обратился на отчима. Конечно, их первой мыслью было, что мистер Кейв запрятал хрусталь. Но мистер Кейв энергично отрицал, что знает что-нибудь о судьбе хрусталя. Свои клятвенные уверения он закончил тем, что сам стал обвинять сперва жену, а затем пасынка: «Это они спрятали хрусталь и сами хотят тайком продать его». Начался

чрезвычайно язвительный и волнующий спор, кончившийся у миссис Кейв особенным нервным состоянием, средним между истерикой и обмороком, что заставило пасынка вернуться после обеда в мебельный склад на полчаса позже, а мистера Кейва — искать убежище от припадка жены в лавке.

Вечером спор возобновился, но уже с меньшей страстностью, и теперь это больше походило на судебное разбирательство под председательством падчерицы. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кейв дошел в конце концов до крайнего отчаяния и ушел, громко хлопнув дверью. Остальные члены семьи, воспользовавшись отсутствием хозяина, уже не стесняясь посудачили на его счет и затем обыскали весь дом с чердака до погреба, надеясь случайно наткнуться на хрусталь.

На следующий день оба покупателя снова зашли. Миссис Кейв приняла их почти в слезах. Оказалось, что никто не мог и представить себе, сколько она вытерпела от Кейва за все время ее супружеских мытарств. Она передала также в собственном освещении историю исчезновения хрусталя. Пастор и молодой человек восточного вида молчаливо улыбнулись друг другу и ска-

зали, что все это очень странно. Казалось, что миссис Кейв готовилась рассказать им историю всей своей жизни, и поэтому они стали собираться уходить из лавки. Тогда миссис Кейв, цепляясь за слабую надежду, спросила у пастора его адрес, чтобы в случае, если она добьется чего-нибудь от Кейва, можно было известить пастора. Был дан точный адрес, но, очевидно, затем этот адрес был утерян. Миссис Кейв никак не могла вспомнить его.

Вечером этого дня Кейвы, казалось, исчерпали все свои душевные волнения, и мистер Кейв, уходивший из дому после обеда, ужинал в печальном одиночестве, приятно непохожем на страстные споры предшествующих дней. За последнее время дела дурно складывались в доме Кейва; ни хрусталь, ни покупатели не появлялись.

Теперь, чтобы не искажать фактов, мы должны признать, что мистер Кейв был лгуном: он прекрасно знал, где был хрусталь. Хрусталь был в квартире мистера Джейкоби Уэйса, ассистента-демонстратора в госпитале Св. Екатерины на Уэстберн-стрит. Хрусталь стоял на буфете, полуприкрытый черной бархатной материей, рядом с графином американского виски. От этого мистера Уэйса и были получены данные, на осно-

вании которых написан настоящий рассказ. Кейв принес в госпиталь яйцо, спрятав его в мешке с акулой, — принес и настойчиво просил молодого исследователя хранить у себя этот хрусталь. Мистер Уэйс сначала не решался. У него были особенные отношения с Кейвом: ему нравились странные характеры, и он не раз приглашал старика к себе в комнату покурить, выпить и высказать свои несколько забавные взгляды на жизнь вообще и на свою жену в частности.

Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с миссис Кейв, когда в отсутствие мистера Кейва он поджидал его возвращения. Уэйс знал о постоянных нападках, которым подвергался Кейв, и вот, обсудив юридически происшедшее, Уэйс решил принять хрусталь на хранение. Мистер Кейв обещал впоследствии объяснить более подробно свою странную привязанность к хрусталю, но он определенно говорил о том, что видел в хрустале видения… Он рассказал об этом в тот же вечер мистеру Уэйсу.

Кейв рассказал очень запутанную историю. Он сообщил, что приобрел хрусталь вместе с разными другими вещами на аукционе имущества другого торговца редкостями. Какая цена этому хрустальному яйцу, мистер Кейв не знал,

и наудачу назначил десять шиллингов. За эту цену хрусталь и попал к нему в руки несколько месяцев тому назад, и Кейв уже подумывал, как бы «вернуть свои денежки», как вдруг сделал странное открытие.

В то время мистер Кейв чувствовал себя очень плохо: надо помнить, что ко времени описываемых событий здоровье его порядком расстроилось, и вдобавок он испытывал большие страдания из-за пренебрежительного и даже прямо-таки плохого отношения со стороны жены и ее детей. Его жена была пустая, сумасбродная, бесчувственная женщина и имела все растущую склонность к тайному употреблению спиртных напитков; падчерица его была зла и заносчива, а пасынок возымел к нему страшную нелюбовь и не упускал случая проявлять это чувство. Неприятности, связанные с делом, тяжело ложились на Кейва, и мистер Уэйс думает, что Кейву случалось иной раз грешить по части спиртного. Кейв начал свою жизнь при очень благоприятных условиях, получил прекрасное воспитание, а теперь страдал иногда по целым неделям от меланхолии и бессонницы. Когда ночью от разных мыслей ему становилось невмочь, он покидал свое место на постели рядом с женой, делая это тихонько, что-

бы никого не разбудить, и затем бродил по дому. Однажды около трех часов утра в конце августа случай направил его в лавку.

Грязное маленькое помещение было непроницаемо-темно, за исключением одного места, где Кейв заметил какой-то необыкновенный яркий свет. Подойдя ближе, он увидел, что это было хрустальное яйцо, стоявшее на углу прилавка возле окна. Тонкий луч света, пробивавшийся сквозь щель в ставнях, ударялся о яйцо и, казалось, наполнял всю его внутренность.

Мистеру Кейву пришло в голову, что это не согласуется с теми законами оптики, с какими он был знаком в дни своей молодости. Он понял бы, если бы лучи, преломившись в хрустале, соединились в фокусе внутри его, но это рассеяние света не согласовалось с его понятиями о физике. Кейв подошел поближе к хрусталю, внимательно рассматривая его внутри и снаружи: на время в Кейве возродилась та научная любознательность, которая в молодости определила выбор его призвания. Он был удивлен, когда убедился, что свет этот не был постоянным, но переходил по всему яйцу, как будто оно было полым шаром из какого-то блестящего пара. Двигая яйцо, чтобы рассмотреть его со всех сторон, Кейв вдруг

заметил, что он заслонил собою яйцо от светового луча, но хрусталь от этого не стал меньше блестеть. Сильно удивленный, Кейв взял хрустальное яйцо и перенес его подальше от луча — в самую темную часть лавки. Яйцо светилось еще в продолжение четырех или пяти минут, затем стало медленно блекнуть и погасло. Кейв поместил его в полосу дневного света — и его сияние почти немедленно восстановилось.

До сих пор, по крайней мере, мистер Уэйс был в состоянии проверить замечательную историю мистера Кейва. Он сам неоднократно держал яйцо перед световым лучом, диаметр которого был меньше одного миллиметра, и после этого в совершенной темноте — насколько можно было добиться темноты с помощью бархатной покрышки, — хрусталь казался несомненно светящимся, как фосфор, хотя свет этот и был очень слабый. Однако казалось, что яркость этого света была какого-то особенного рода, и глаза различных людей неодинаково воспринимали ее: так мистер Харбингер, имя которого известно каждому образованному читателю в связи с Пастеровским институтом, был совершенно не способен видеть какой бы то ни было свет. А способность мистера Уэйса была сравнительно

ниже способности мистера Кейва. И у Кейва эта способность сильно менялась: в периоды особенной его слабости и утомления он видел ярче.

С самого начала этот свет в хрустале как-то странно очаровал мистера Кейва: он больше говорил его одинокой душе, чем мог бы сказать какой-нибудь том патетических писаний. О своих любопытных наблюдениях мистер Кейв не говорил ни одному человеческому существу. Кейв жил в атмосфере мелкой злобы, и для него признаться, что то или другое доставляет ему удовольствие — значило рисковать, что он лишится этого удовольствия. Кейв заметил, что с приближением утра и с увеличением яркости рассеянного света вся поверхность хрусталя теряла свой блеск. Некоторое время Кейв мог видеть что-нибудь в хрустале только ночью, в темном углу лавки.

Но ему пришло в голову воспользоваться старой бархатной покрышкой, которую он употреблял на подстилку под коллекцию минералов: сложив эту покрышку вдвое и покрыв ею голову и руки, Кейв мог уловить светящееся движение внутри хрусталя даже днем. Он очень опасался, чтобы об этом не узнала его жена, и потому он предавался этому занятию только в послеобе-

денное время, когда жена спала наверху, да и тут из предосторожности прятался в темном углу за прилавком. Однажды, поворачивая хрусталь в руках, Кейв что-то в нем заметил: вспыхнуло и исчезло нечто вроде молнии, но у Кейва осталось впечатление, что в яйце на минуту открылось перед ним зрелище обширной, далеко раскинувшейся, чудесной страны; повернув яйцо еще раз, Кейв опять закрылся от света, и снова увидел то же самое, что и раньше.

Было бы скучно и бесполезно рассказывать о всех фазах открытия мистера Кейва. Достаточно сказать, что результат был таков: хрусталь, рассматриваемый под углом около 137° по направлению к лучу света, давал ясную, последовательную картину обширной странной местности; картина эта отнюдь не была похожа на сон, а производила определенное впечатление действительности, и чем ярче был свет, тем реальнее и яснее она казалась. Это была движущаяся картина, то есть некоторые предметы двигались в ней, но медленно, определенно, как подлинные, реальные предметы, причем в соответствии с изменением направления светового луча и угла зрения менялась также и картина. Это на самом деле должно было быть похоже на то, что получается при рас-

сматривании через овальное стекло: повертывая стекло, можно получить различные виды.

Мистер Уэйс уверял меня, что рассказ мистера Кейва был очень подробен и что никакого возбуждения, которое обыкновенно наблюдается у галлюцинирующих, у Кейва не замечалось. Нужно упомянуть о том, что все попытки самого Уэйса разглядеть ясную картину в бледном опаловом блеске хрусталя были совершенно безуспешны, несмотря на все его старания. Разница в силе впечатлений, получаемых этими двумя людьми, была очень велика, и вполне понятно, что то, что для мистера Кейва представлялось целой картиной, было лишь туманным пятном для мистера Уэйса.

Пейзаж, по описанию мистера Кейва, неизменно представлял собою обширную равнину, и Кейву всегда казалось, что он смотрит на эту равнину с значительной высоты, как будто с башни или мачты. На восток и на запад равнина была ограничена тянущимися на далекое расстояние громадными красноватыми скалами, напоминавшими Кейву скалы, виденные им на какой-то картине; но что это была за картина — мистер Уэйс не мог установить. Эти скалы шли на север и на юг (Кейв мог определить страны горизонта

по звездам, которые были видны ночью), уходя в почти безграничную перспективу и еще до пересечения теряясь в туманных далях. Кейв был ближе к восточной цепи утесов; в первом его видении солнце восходило как раз над утесами, и мистер Кейв видел множество летающих фигур; фигуры эти были темные в сравнении с солнечным светом и бледные в сравнении с их тенью; мистер Кейв принял эти фигуры за птиц. Длинный ряд зданий лежал внизу; ему казалось, что он смотрит на них сверху; при приближении к темному краю картины, где лучи света уже преломлялись, эти здания становились неясными. Возле сверкающего широкого канала были деревья, странные по форме и окраске: темно-зеленого цвета — как мох — и изящного серого цвета. Что-то большое и блестяще окрашенное пролетало через всю картину. Но в первое время, когда мистер Кейв видел эти картины, он их видел только во время вспышек света; руки у него дрожали, голова тряслась, видение появлялось и исчезало, становилось туманным и неясным. И в первое время для него представляло величайшую трудность найти снова то положение картины, в котором он ее потерял из виду.

Следующий раз он ясно увидел картину в

кристалле через неделю после первого случая, причем промежуток между ними не дал ничего, кроме нескольких мучительно-неясных проблесков и некоторого полезного опыта; второе видение показало Кейву вид вдоль долины. Вид был другой, но у Кейва была странная уверенность, неоднократно подтвержденная последующими наблюдениями, что он все время видел этот странный мир с одного и того же места, хотя он пытался смотреть в хрусталь с разных сторон. Длинный фасад большого здания, крышу которого он видел прямо под собой, теперь виднелся в перспективе. Мистер Кейв узнал крышу. Перед фасадом находилась терраса массивных размеров и необыкновенной длины; внизу, у средины террасы, расставленные на определенных промежутках, высились огромные, но очень изящные мачты; на верхушках мачт были прикреплены маленькие блестящие предметы, сиявшие как заходящее солнце. О значении этих маленьких предметов мистер Кейв догадался только спустя некоторое время, когда он описывал эту сцену мистеру Уэйсу. Терраса нависала над густыми зарослями какой-то роскошной, красивой растительности, а дальше простиралась обширная, поросшая травой лужайка, на которой отдыха-

ли какие-то приземистые существа, по форме похожие на жуков, но неизмеримо большого размера. За лужайкой пролегала дорога, богато украшенная разноцветными камнями, а еще дальше, окаймленная густой красной травой, расстилалась широкая зеркальная поверхность воды, проходя через долину как раз параллельно отдаленным утесам. Весь воздух, казалось, был наполнен стаями больших птиц, двигавшихся по величественным кривым. По ту сторону реки высилось множество великолепных зданий; здания были красиво раскрашены и сверкали металлической резьбой и гранями среди леса похожих на мхи и лишайники деревьев. И вдруг что-то несколько раз промелькнуло через картину, — это походило на мельканье украшенного драгоценностями веера или взмахи крыла, — и тотчас же появилось лицо, или, вернее, верхняя часть лица с очень большими глазами; было так, как будто это лицо придвинулось к лицу мистера Кейва или находилось по ту сторону хрусталя. Мистер Кейв был так напуган впечатлением полной реальности этих глаз, что отодвинул свою голову от хрусталя, чтоб посмотреть, нет ли чего позади него. Мистер Кейв настолько увлекся наблюдениями, что для него было прямо-таки

неожиданностью очутиться опять в холодной темноте маленькой лавочки с ее привычным запахом метила, плесени и гниения. Пока он глядел вокруг себя, сиявший хрусталь стал уже гаснуть и скоро совсем погас.

Таковы были первые общие впечатления мистера Кейва. Вся история его видений в высшей степени точна и подробна. С самого начала, когда долина впервые на секунду блеснула перед ним и поразила его, — с самого начала его воображение было странно взволновано; в дальнейшем, когда он стал обдумывать подробности виденной им сцены, его удивление перешло в страсть. Он стал невнимательно и рассеянно заниматься своими делами, думая только о том времени, когда он сможет опять вернуться к своим наблюдениям. И вот тут-то — это было через несколько недель после первого видения — явились два покупателя, настойчиво желавшие купить хрусталь, и только с трудом удалось спасти хрусталь от продажи, как я уже рассказывал.

Теперь это стало тайной мистера Кейва; по сию пору непонятно, каким чудом ему удалось утащить тайком хрусталь, но это все же удалось, и мистер Кейв украдкой заходил поглядеть на него; так ребенок украдкой забегает в сад, ку-

да ему запретили ходить. Но мистер Уэйс, как и подобает молодому ученому, имел особенно ясный и последовательный склад ума. Хрусталь и его история непосредственно задели Уэйса; сам он удовлетворился, увидев собственными глазами свечение хрусталя, но решил исследовать систематически то, что было действительно правдоподобно в утверждениях мистера Кейва. Тут было только одно: мистер Кейв слишком уж пристрастился приходить и тешить свои глаза зрелищем чудесной страны, и приходил он каждый вечер от восьми до половины десятого, а иногда, в отсутствие мистера Уэйса, и днем; он приходил даже по субботам, после обеда. С самого начала мистер Уэйс делал тщательные заметки, и именно его научному методу обязаны мы тем, что было установлено соотношение между направлением, по которому первичный луч входил в хрусталь, и всей виденной Кейвом картиной. Поместивши хрусталь в ящик с просверленным небольшим отверстием для пропуска возбуждающего луча и применив голландскую сажу в качестве непроницаемой для света преграды, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений; таким образом получилась возможность в течение короткого промежутка времени

обозревать долину в желаемом направлении.

Расчистив таким образом путь, мы можем дать краткий отчет об этом призрачном мире внутри хрусталя. Описанные предметы были видимы для мистера Кейва при всех условиях, а метод действия был всегда неизменен: Кейв наблюдал хрусталь и говорил о том, что видел, а мистер Уэйс (который еще студентом научился этой премудрости — писать в темноте) кратко записывал его показания. Когда хрусталь потухал, его вынимали из ящика, ставили на прежнее место и вновь зажигали электрический свет. Мистер Уэйс спрашивал, и в затруднительных случаях эти наводящие вопросы помогали выяснить дело. Ничего не могло быть менее призрачно и более реально, чем все это.

Внимание мистера Кейва скоро сосредоточилось на птицеподобных существах; много этих птицеподобных существ он видел в каждом из своих прежних видений. Первое впечатление мистера Кейва вскоре изменилось. Долгое время он считал, что эти существа могут представлять собой дневную породу летучей мыши. После он стал думать, — смешно сказать, — что это могут быть херувимы. У них были круглые, странно похожие на человеческие головы, и это именно

глаза одного из них так поразили Кейва во время второго наблюдения. У них были широкие серебристые крылья, непокрытые перьями, но блестящие, как чешуя только что вытащенной из воды рыбы и с тою же тонкой игрой красок; эти крылья не были построены наподобие крыльев летучих мышей или птиц, но, как узнал от Кейва мистер Уэйс, крылья эти, поддерживаемые изогнутыми ребрами, исходили прямо из тела. (Если представить себе крылья бабочки с изогнутыми ребрами, то это, пожалуй, даст самое близкое представление о крыльях этих существ.) Тело было мало и снабжено двумя пучками хватающих органов, подобных длинным щупальцам; щупальца эти помещались непосредственно подо ртом. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, он в конце концов несомненно убедился, что именно этим существам принадлежали большие, будто человеческие постройки и прекрасный сад, придававшие такой великолепный вид обширной долине. А мистер Кейв в числе других особенностей отметил, что в зданиях, которые он видел в хрустале, не было дверей, но были большие, круглые, настежь открытые окна, служившие входом и выходом для крылатых существ. Они входили в них с помощью своих щу-

пальцев, складывали свои крылья до величины небольшой палочки и прыгали внутри. Но среди них было еще множество более мелкокрылых существ, подобных большим стрекозам, мошкам и летающим жукам, а по лужайке — тоже ползали лениво взад и вперед блестяще окрашенные гигантские земляные жуки. Сверх того, на шоссе и террасе виднелись какие-то большеголовые существа, похожие на больших мух, но бескрылые; эти существа деловито ковыляли на своих рукоподобных щупальцах.

Мы уже упоминали о блестящих предметах на мачтах, стоявших перед террасой ближайшего здания. Мистеру Кейву, после очень внимательного рассмотрения одной из этих мачт, в один особенно яркий день показалось, что блестящий предмет был совершенно такой же хрусталь, как тот, в который он вглядывался. Еще более внимательное наблюдение убедило его в том, что на каждой из видневшихся в перспективе двадцати мачт находился подобный же предмет.

Случайно одно из больших крылатых существ вспорхнуло на одну из мачт, сложило свои крылья и, схватившись частью своих щупальцев за мачту, пристально стало смотреть на хрусталь в течение по крайней мере пятнадцати минут.

Целый ряд наблюдений, сделанных по предложению мистера Уэйса, убедил обоих наблюдателей, что, поскольку дело касается этого призрачного мира, хрусталь, в который оба они всматривались в данный момент, — стоял на верхушке самой отдаленной мачты террасы и что однажды один из жителей этого иного мира заглянул в лицо мистеру Кейву, когда он производил свои наблюдения.

Вот каковы существенные факты этой очень странной истории. Если и считать все остроумной выдумкой мистера Уэйса, придется все же признать одно из двух: либо хрусталь мистера Кейва существовал одновременно в двух мирах и когда этот хрусталь перемещали в одном мире — он все же оставался неподвижным в другом, что кажется совершенно нелепым; или же существует какая-то особенная связь хрусталя мистера Кейва с другим, совершенно подобным же хрусталем в том, ином мире, и то, что видно внутри одного хрусталя в этом мире, при соответствующих условиях видно и наблюдателю соответствующего хрусталя в другом мире; и наоборот.

Пока, конечно, мы не знаем, каким образом оба хрусталя связаны между собой, но в настоящее время мы знаем достаточно, чтобы понять, что

такая вещь совершенно невозможна. Это мнение о хрусталях, находящихся в какой-то связи один с другим — было предположением, пришедшим в голову мистеру Уэйсу, и мне это предположение кажется, по меньшей мере, весьма вероятным.

Но где был этот другой мир? И на это живой ум мистера Уэйса также скоро пролил свет. После солнечного захода небо быстро темнело — в самом деле, были очень короткие сумерки — и показывались звезды. Можно было заметить, что эти звезды — те же самые, что и мы видим, и что они составляют те же самые созвездия. Мистер Кейв узнал Медведицу, Плеяды, Альдебарана и Сириуса: так что этот иной мир должен был находиться где-нибудь в Солнечной системе и, по крайней мере, на расстоянии нескольких сот миллионов миль от нашего. Следуя и дальше в этом направлении, мистер Уэйс узнал, что полночное небо было более темного синего цвета, чем наше небо во время зимнего солнцестояния, и что солнце казалось немного меньше. Здесь было две небольших луны, похожих на нашу, но меньше и совершенно различных между собой, причем одна из этих лун двигалась так быстро, что ее движение было ясно заметно во время наблюдения. Эти луны никогда не бывали высоко

на небе, но исчезали вскоре после восхода: это происходило потому, что при каждом их появлении на небосклоне они затмевались, так как находились слишком близко к главной планете. И все это совершенно соответствует тем условиям, какие существуют на Марсе, хотя мистер Кейв и не знал об этом.

На самом деле, кажется чрезвычайно правдоподобным, что, смотря в хрусталь, мистер Кейв действительно видел планету Марс и ее обитателей. И если это так, то вечерняя звезда, так ярко сиявшая на небе этого отдаленного видения, была не что иное, как наша собственная Земля.

В течение некоторого времени марсиане — если это были марсиане, — казалось, не знали о наблюдениях мистера Кейва. Раз или два один из них приходил смотреть и очень скоро уходил к другой мачте, как будто неудовлетворенный тем, что видел. В то время мистер Кейв мог наблюдать за действиями этого крылатого народа, не привлекая их внимания, и, хотя его сведения были неопределенны и отрывочны, они тем не менее очень правдоподобны. Вообразите то впечатление о человечестве, которое получилось бы у наблюдателя-марсианина, если бы он после долгих приготовлений и уже с сильно уставши-

ми глазами стал смотреть на Лондон с высоты колокольни Св. Мартина. И при этом для наблюдения имел бы не больше четырех минут. Мистер Кейв не мог утверждать, были ли крылатые марсиане такими же, как те, которые прыгали по дороге и террасе, и могли ли последние надевать крылья по желанию. Он видел некоторое время каких-то неуклюжих двуногих, белых и отчасти прозрачных — они чем-то отдаленно напоминали обезьян; эти двуногие паслись среди каких-то лишаеобразных деревьев, и однажды несколько их погналось за одним из прыгавших круглоголовых марсиан. В конце концов марсианин попал в их щупальцы, но тотчас же картина внезапно потухла и оставила мистера Кейва в темноте, в очень мучительном состоянии. В другой раз появился какой-то большой предмет (этот предмет мистер Кейв принял вначале за какое-то гигантское насекомое), — появился и с невероятной быстротой понесся вдоль по дороге по ту сторону канала. Когда он подвинулся ближе, мистер Кейв заметил, что это был аппарат из блестящего металла и чрезвычайно сложный. Затем, когда мистер Кейв взглянул снова, аппарат уже исчез из виду.

Спустя некоторое время мистер Уэйс стал ста-

раться привлечь внимание марсиан; при первом же удобном случае, когда странные глаза одного из них плотно прижались к хрусталю и мистер Кейв закричал и отскочил прочь, — оба, Уэйс и Кейв, немедленно открыли свет и стали жестами подавать сигнализирующие знаки. Но когда в конце концов мистер Кейв стал снова рассматривать хрусталь, марсианина уже не было.

К началу ноября наблюдения стали таким образом все больше совершенствоваться; мистер Кейв, чувствуя, что подозрения его семьи относительно хрусталя уже улеглись, начал носить его при себе, чтобы, если представится возможность днем или ночью, усладиться тем, что стало самым реальным в его жизни.

В декабре мистер Уэйс в связи с предстоящими экзаменами был более обыкновенного занят; сеансы, к сожалению, откладывались на неделю, и в течение десяти или одиннадцати дней — он сам точно не помнил — Уэйс совсем не видел мистера Кейва. Затем ему захотелось возобновить их наблюдения, и, так как его усиленная работа уже кончилась, он отправился к «Семи Циферблатам». На углу он заметил, что запирались лавки любителя птиц и сапожника; лавка мистера Кейва была уже закрыта.

Уэйс постучался, и дверь открыл пасынок в трауре. Он тотчас же позвал миссис Кейв, на которой, как не мог не заметить мистер Уэйс, был, правда дешевый, но чрезвычайно импозантный костюм вдовы. Не без удивления мистер Уэйс узнал, что Кейв умер и уже похоронен. Миссис Кейв была в слезах и немного охрипла. Она только что вернулась из Хайгейта. Ее мысли были, казалось, заняты лишь собственными планами и подробностями приличных похорон, но все же мистеру Уэйсу удалось в конце концов узнать об обстоятельствах смерти Кейва. Кейв был найден мертвым в своей лавке ранним утром на другой день после его последнего визита к мистеру Уэйсу; окоченевшие руки Кейва сжимали хрусталь. Миссис Кейв сказала, что лицо Кейва улыбалось, а черная бархатная покрышка от минералов лежала на полу у его ног. Он, должно быть, умер за пять или шесть часов до того, как его нашли.

Это было большим ударом для мистера Уэйса, и он горько упрекал себя за то, что пренебрегал явными симптомами болезни старика. Но его мысли были главным образом заняты хрусталем. Зная особенности характера миссис Кейв, он подошел к этой теме очень осторожно. И был весьма поражен, узнав, что хрусталь уже продан.

Первым побуждением миссис Кейв, лишь только тело Кейва перенесли наверх, было написать шальному пастору, предлагавшему пять фунтов за хрусталь, и сообщить пастору о том, что хрусталь найден. Но после усердных поисков, в которых помогала и дочь, миссис Кейв пришлось убедиться, что адрес потерян. У них не было средств, чтоб облечься в траур и похоронить Кейва, как это требовалось изысканным стилем обитателей старого квартала «Семи Циферблатов», и поэтому они обратились к знакомому торговцу на Грейт-Портленд-стрит. Он очень любезно принял участие в продаже и оценке вещей. Он сам оценивал вещи, и хрустальное яйцо было включено в один из его аукционов. Выразивши подходящее к случаю сожаление (сказано это было, впрочем, второпях), мистер Уэйс устремился сразу на Грейт-Портленд-стрит. Но здесь он узнал, что хрустальное яйцо было уже продано высокому смуглому человеку в сером.

Здесь фактический материал этой странной, но, во всяком случае, мне кое-что говорящей истории, обрывается. Торговец на Грейт-Портленд-стрит не знал, кто был высокий смуглый человек в сером, и не обратил на него достаточно внимания, чтобы точно описать его. Торговец

не знал также, в какую сторону пошел человек в сером после того, как вышел из лавки. Мистер Уэйс оставался некоторое время в лавке, выводя торговца из терпения своими безнадежными вопросами и изливая свое раздражение. В конце концов, убедившись, что дело ушло из его рук и развеялось как сон, он вернулся к себе домой, и тут был несколько удивлен тем, что нашел у себя на неубранном столе составленные им столь осязательные и видимые заметки об этой истории.

Его досада и разочарование, естественно, были очень велики. Он вторично и столь же безрезультатно посетил торговца на Грейт-Портленд-стрит, затем прибегнул к объявлениям в таких периодических изданиях, которые, казалось, могли попасть в руки собирателей bric-à-brac[15]. Он также написал письма в «Дейли кроникл» и «Нэйчер», но обе эти газеты, подозревая мистификацию, просили его еще раз подумать до напечатания писем. Он был также предупрежден, что эта странная история, к сожалению, лишенная всякой правдоподобности, может повредить его репутации ученого исследователя. Кроме того, его собственная работа требовала

---

[15] Примечания: 15
Старинные вещи (*франц.*).

безотлагательных занятий.

Таким образом, через месяц или около этого, если не считать случайных визитов отдельным торговцам, мистер Уйэс волей-неволей оставил поиски хрустального яйца, и оно по сию пору остается неразысканным. Случайно как-то мистер Уэйс мне рассказал все это, и я вполне верю ему, что он изо всех сил старался отделаться от своих самых неотложных дел, чтобы возобновить поиски.

Останется ли хрустальное яйцо навсегда потерянным или нет, сущность и происхождение его сейчас одинаково интересны.

Если купивший его — коллекционер, надо надеяться, что мистеру Уэйсу удастся напасть на его след через соответствующие магазины. Уэйсу удалось открыть пастора и «восточного человека», с которыми имел дело мистер Кейв, — это были не кто иные, как достопочтенный Джемс Паркер и молодой принц Боссо-Куни из Явы. Я им обязан некоторыми подробностями этой истории. Целью принца было простое любопытство. Он тем настойчивее хотел купить, чем упрямее Кейв отказывался продать.

Более чем возможно, что покупщиком во второй инстанции был просто случайный поку-

патель, а совсем не коллекционер, и хрустальное яйцо, может быть, в настоящее время находится на расстоянии какой-нибудь мили от меня, служит просто для украшения гостиной или вместо пресс-папье — и все его замечательные свойства остаются неизвестными. Отчасти именно потому, что такая судьба хрустального яйца представляется мне вероятной, я и набросал этот рассказ в форме, в которой он может быть прочтен обыкновенным любителем легкого чтения.

Мое собственное мнение по этому вопросу вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. Я верю, что хрусталь наверху мачты на Марсе и хрустальное яйцо мистера Кейва были в каких-то физических в настоящее время совершенно необъяснимых отношениях. Мы оба верим также, что земной хрусталь был послан с планеты на землю (возможно, что в весьма отдаленные времена) с целью дать возможность марсианам ближе познакомиться с нашими делами. Возможно, что пары к хрусталям на других мачтах также находятся на нашем земном шаре. Никакой теорией галлюцинаций подобных фактов нельзя объяснить.

1897

Звезда

В первый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче, что его движение совершенно непохоже на движение планет и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты — явление совершенно беспрецедентное.

Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность

Солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, — таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.

На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. «Столкновение планет» —

так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве мировых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда зашло солнце и на земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды.

Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суетящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу, развозчики молока и разносчики газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это), и в океане — моряки, ожидавшие

дня: в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!

Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после наступления дня, уже не мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещаемых этим огненным знамением в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы — все стояли под лучами восходящего солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.

А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппараты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление — гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир — планета, сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения,

превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки — постоянные наблюдатели звезд, — ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении, и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.

А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала больше! — кричали они. — Она стала ярче!» И действительно, хотя серп Луны, заходившей на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды.

«Она стала ярче!» — восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных об-

серваториях переглядывались, затаив дыхание. «Она приближается, — говорили они. — Приближается!»

И один голос за другим повторял: «Она приближается!» И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные наборщики набирали слова: «Она приближается!» Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страшную возможность, заключенную в словах: «Она приближается!» Эти слова неслись по просыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом спрашивали: «Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!»

Одинокие бродяги, не нашедшие приюта в эту

холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься: «Пусть приближается, ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного».

— Что мне за дело до новой звезды? — кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего.

Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло на большую, ярко сияющую белую звезду. «Центробежность! Центростремительность… — сказал он, подперев кулаком подбородок. — Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? Будет действовать сила центростремительная — и планета упадет на Солнце. И тогда… Окажемся ли мы на ее пути? Неужели…»

Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни, а в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся Луна казалась только бледно-желтой тенью самой себя. Один из городов Южной Африки встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки.

«Даже небеса иллюминованы», — сказал льстец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. «Это наша звезда», — шептали они, упоенные ее серебристым сиянием.

Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги: его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся и немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну, и штора, щелкнув, поднялась. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.

Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику.

— Ты можешь убить меня, — сказал он, помолчав. — Но я могу вместить тебя — и всю вселенную

тоже — в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой. Даже теперь.

Он посмотрел на маленький пузырек.

— Больше спать незачем, — сказал он.

На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию, только если вертит в пальцах мел, и однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых, оживленных лиц и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы.

— По некоторым обстоятельствам, от меня не зависящим, — сказал он и остановился, — я не смогу закончить этот курс. Судя по всему, милостивые государи, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно.

Студенты переглянулись: не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора.

— Было бы интересно, — продолжал он, — посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить. Предположим…

Он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно.

— Что значит «жило напрасно»? — шепотом спросил один студент другого.

— Слушай! — отозвался тот, кивая на лектора.

Скоро они начали понимать.

В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие Льва к Деве, и свет ее был так ярок, что, когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в зените, Капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно-белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом

холодном, ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными.

В эту ночь на земле никто не спал, и в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквах для молитвы. А в небе, по мере того как Земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда.

Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народу. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасаю-

щая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращалась со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло «описать кривую» и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. «Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнения и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела», — вот что предсказывал великий математик.

А в вышине, подтверждая его слова, сияла одинокая, холодная, голубовато-белая звезда близящегося светопреставления.

Многим, кто, до боли напрягая зрение, смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно на глаз. И в эту же ночь неожиданно

изменилась погода: мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью.

Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы, — это не значит, что весь мир был охвачен ужасом из-за появления звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром, и, если не считать разговоров в свободное от работы время, созерцания великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время; врачи и гробовщики занимались своим делом, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленные искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты, и многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы, чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года: тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда, в сущности, не звезда, а только газ, комета; и даже если бы это была звезда,

все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл — презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером, в семь часов пятьдесят минут по гринвичскому времени, звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, также вернулись к привычным занятиям, и все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду.

И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но казалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика и заключить, что опасность уже миновала.

Но скоро насмешки стихли: звезда росла. Она росла с грозным постоянством, час от часу; с каж-

дым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день, но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда взошла над Англией, она была величиной в треть лунного диска, и оттепель все усиливалась. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть жаркий ветер, а в Виргинии, Бразилии и в долине реки святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозовых туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитобе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды, все реки, берущие начало в этих горах, вздулись, и забурлили, и скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском,

и наконец вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин.

На южноатлантическом и аргентинском побережье приливы были выше, чем когда-либо на памяти людей, и во многих местах бури гнали воду на много миль в глубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения; они прокатились по всей Америке, от Полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Котопахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря.

А звезда продвигалась над Тихим океаном, имея в кильватере побледневшую Луну и волоча за собой, как шлейф, грозовые бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней, пенясь, захлестывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И наконец эта клокочущая страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ри-

нулась в глубь материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое Солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну, ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих в добела накаленное небо, а потом на них надвинулся все нарастающий рокот воды. Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей: они бежали, сами не зная куда, задыхаясь, с помутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть.

Китай был залит слепящим белым светом, но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу — яростные потоки лавы, и вся Земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев, и вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны

индийских джунглей пылали в тысяче мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам к последней надежде человечества — к открытому морю.

Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфоресцировать, и пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей.

И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что Земля перестала вращаться. Везде — на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях — люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за часом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые они считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя Земля содрогалась непрестанно, но в тропиках просвечивали сквозь пелену пара Сириус, Ка-

пелла и Альдебаран. И когда наконец большая звезда взошла — почти на десять часов позже, чем прежде, — вслед за ней почти сразу взошло Солнце, а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск.

Звезда начала замедлять свое движение, проходя еще над Азией, и вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль, и вдруг на это горнило отчаяния набежала тень, подул холодный ветер и заклубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и Землей проходила Луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к Богу, в минуту этой передышки на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло Солнце. И звезда. Солнце и Луна, все вместе, по-

неслись по небу.

И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она взошла почти одновременно с Солнцем; некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и наконец они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее уже нельзя было различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном отупении, порожденном голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться. Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу.

Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний; по всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видали, а там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч, с неба низринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и земля, как взморье после бури, была усеяна всевозможными обломками и

трупами людей и животных. Вода возвращалась в русла много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время и в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения.

Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города, к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробираясь среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше. Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за восемьдесят дней.

В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми; о том, как были спасены законы, книги и машины, о странной перемене, происшедшей с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива: такими зелеными, цветущими стали эти места,

что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды.

Марсианские астрономы — потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане — существа, сильно отличающиеся от людей, — были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматривали их со своей точки зрения. Один из них писал: «Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу Солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними, и единственно заметной переменой было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах».

Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.

1897

Бог по имени Джимми Лупоглазый

— Не всякому довелось побыть богом, — сказал загорелый человек. — А мне довелось. Чего только со мной не бывало!

Мне показалось, что он решил до меня снизойти.

— Уж выше некуда, так? — спросил загорелый. — Я один из тех, кого спасли с «Покорителя морей». Просто чума, как летит время! Двадцать лет уж минуло. Вы навряд ли помните про «Покорителя морей»?

Что-то знакомое, подумал я, стараясь вспомнить, когда и где я об этом читал.

— «Покоритель морей»? — переспросил я, напрягая память. — Что-то насчет золотого песка, но точно…

— Он самый, — перебил меня он. — Хотели скрыться от пиратов, им тогда еще хвост не прикрутили, вот и свернули почем зря в тот гадкий проливчик. А там и вулканы, и берега скалистые. Возле Суны полно мест, где надо держать ухо востро, не то на что-нибудь живо напорешься.

Вот этот «Покоритель» и затонул, не успели там разобраться, что к чему, а глубина-то — двадцать морских саженей. А на борту, между прочим, — на пятьдесят тысяч фунтов золота, и песка, и в слитках, такой прошел слух.

— В живых кто-то остался?

— Трое.

— Вспомнил, — сказал я. — Была какая-то команда спасателей…

При слове «спасатели» загорелый разразился такой отборной бранью, что я оторопел. Он еще поругался, но уже менее оригинально, а потом словно дернул себя за язык.

— Не сдержался, — извинился он. — Но как услышу про спасателей…

Он наклонился поближе.

— Я тоже был в деле, — сообщил он. — Хотел, видишь ли, разбогатеть, а вместо этого стал богом. Тут ведь такое дело… Быть богом — это тебе не фунт изюма, — добавил он и какое-то время изменялся краткими, но не раскрывающими сути образами. Наконец он продолжил рассказ: — Значит, был я, матрос Джейкобс да еще Олвейз, помощник капитана с «Покорителя морей». Он-то и заварил всю кашу. Как сейчас помню: гребем мы в судовой шлюпке, тут он и подкинул эту

идею, да так, что она нам сразу в душу запала. Он вообще был мастак на всякие затеи. «Там на борту сорок тысяч фунтов, — сказал он тогда, — а где посудина затонула, знаю я один». Тут любой соблазнится, ясное дело. Олвейз у нас был за старшего с самого начала. Договорился с братьями Сандерс, у них была своя шхуна, «Гордость Баньи», купил подержанный водолазный костюм, с аппаратом для сжатого воздуха, так что и насос не нужен. Он бы и сам с нами нырял, да только ему дурно становилось на глубине. А настоящих спасателей он надул, сварганил для них фальшивую карту, вот они и искали вчерашний день возле Старр-Рейса, в ста двадцати милях отсюда.

А мы на нашей шхуне были счастливы до чертиков, веселились, пили, надежд полные карманы. Ведь дело-то — легче не придумаешь, проще пареной репы, как говорят бывалые парни — «верняк». Мы только ржали до упаду над настоящими спасателями, так что бока начали болеть, мол, как там они промышляют, — эти бедолаги взялись за дело на два дня раньше нас. Мы все толклись в каюте Сандерсов, занятная собралась команда: все из старшего состава, ни одного матроса, и тут же стоит и ждет своей очереди этот водолазный скафандр. Молодой Сандерс был

смешливый малый, а на это чудище и правда без смеха смотреть было нельзя — голова толстенная, и пялится своими зенками. Ну, тут младший Сандерс нас повеселил. Назвал его Джимми Лупоглазый и давай с ним беседовать по-человечьи. Спросил, женат ли он, как поживает миссис Лупоглазая, как дела у маленьких Лупоглазиков. Тут любой со смеху лопнет. Каждый божий день мы пили за здоровье Джимми Лупоглазого, отвинчивали ему глаз и вливали туда стакан рома, и скоро вместо мерзкого резинового запаха от него уже шел благородный аромат, как от бочки. Эх, веселое было времечко, доложу я вам! Бедолаги, мы и думать не думали, какие приключения выпадут на нашу долю.

Мы решили, что спешить — только дело портить, и целый день тихонько подбирались к месту, где затонул «Покоритель морей»; оно было как раз между двух побитых штормами серых скал — это выпирала из воды застывшая лава. Чтобы ни на что не напороться, мы бросили якорь в безопасном месте, за полмили оттуда, и давай ругаться — кто останется на борту? А «Покоритель» — вот он, лежит на дне, даже не перевернулся, сквозь толщу воды видны верхушки мачт. Спорили мы, спорили, а кончилось тем,

что в шлюпку забрались все. В пятницу утром, когда день только занялся, я надел скафандр и нырнул под воду.

Вот была картинка, доложу я вам! Так и стоит перед глазами! В утреннем свете все выглядело как-то чудно. Кто в тропиках не бывал, думает, там, куда ни глянь, плоский берег, пальмы, да волны набегают на берег. Как бы не так! В том месте, к примеру, все было иначе. Не просто скалы, подточенные волнами, а какие-то громадные изогнутые насыпи, будто горы шлака лежат у сталелитейного завода, а ниже — зеленая слизь, качаются там и сям колючие кусты, вода спокойная, прозрачная, что твое стекло, тускло отливает серо-черным, и в ней замерли огромные красно-бурые водоросли, а среди них шныряет и ползает какая-то живность. А вдалеке, за впадинами, мелкими водоемами и серыми отвалами, на склоне горы — лес, природа все равно берет свое, хотя лава все выжгла и превратила в пепел. На другом склоне тоже лес, там дыбится — как его звать? — амбитеатр из черно-рыжего вулканического пепла, а аккурат посредине этой красоты — море, что-то вроде бухты.

А утро совсем раннее, все вокруг как в дымке, вокруг — ни души, куда вдоль пролива ни посмот-

ри. Только наша «Гордость Баньи» притулилась у шишковатых скал ближе к открытому морю… Ни души, — повторил он и, помолчав, продолжил: — Откуда они взялись, бог весть. Мы и не думали про осторожность, вокруг-то никого, бедняга Сандерс, который младший, даже давай песню горланить. Я влез в костюм Джимми Лупоглазого, осталось шлем надеть. «Ты полегче, — говорит Олвейз, — видишь, мачта торчит». Глянул я на судно, подхватил шлем и чуть не вывалился за борт — старший Сандерс решил развернуться. Задраили мне стекла, все сделали как положено, я закрыл клапан в поясе, чтобы легче погружаться, — и прыг в воду, ногами вперед, лесенки у нас не было. Шлюпку качнуло, все смотрят в воду мне вслед, вот моя голова исчезла во мраке и в водорослях, окружавших мачту. Даже самый осмотрительный парень в мире не станет озираться по сторонам, когда вокруг такая тишина. Людьми и не пахло.

Скажу честно, ныряльщик из меня никакой. Да и остальные были не лучше. Сколько мы с этим скафандром возились, дабы понять что и как. А на глубину я вообще нырял впервые. Ощущение, доложу вам, не из приятных. В ушах адская боль. Знаете, так бывает, когда зевнешь или чихнешь

— и в ухо стреляет, только тут раз в десять хуже. А башка трещит, раскалывается, точно грипп подхватил. Да и легким, и другим органам тоже несладко. Вроде идешь вниз, а кажется, что вверх, да так и несет дальше. Задрать голову и глянуть, что там над тобой, не можешь, под ноги тоже не посмотришь, а чуть согнешься, сразу что-то заболит. Чем глубже, тем мрак гуще, а на дне и так все черным-черно, пепел да ил. Будто из рассвета тебя несет обратно в ночь.

Из тьмы призраком выплыла мачта, за ней стайки рыбешек, потом захлюпали красные водоросли, и тут — бац! — это я глухо стукнулся о палубу «Покорителя морей». Рыбки, что кормились мертвецами, взлетели надо мной, словно рой мух с кучи мусора в летнюю пору. Я повернул краник, пустил сжатый воздух — в скафандре душновато, да и резиной воняет, несмотря на ром, — стараюсь прийти в себя. Оказалось, что на дне прохладно, и дышать стало не так трудно.

Мне полегчало, и я начал глазеть по сторонам. Вот уж зрелище! Свет необычный, сумеречный, с красноватым отливом — это водоросли длинными лентами облепили корабль с обеих сторон. А где-то над головой — лунная с зеленым отблеском синева. Палуба «Покорителя морей»

цела, разве что чуток накренилась на правый борт, покоится в темноте между водорослями, на ней только обломки мачт — был сильный удар о дно, — а дальше к носу вообще не видно ни зги. Покойников на палубе нет, наверное, тела застряли в водорослях. Потом, в каютах, я наткнулся на два скелета, там их смерть и застигла. Чудно было стоять там на палубе и потихоньку разбираться, что к чему. Возле этих поручней я, бывало, курил звездными вечерами, а в этом углу пожилой господин из Сиднея флиртовал с нашей пассажиркой-вдовушкой. Приятно было на них смотреть, всего-то месяц назад, а теперь их мясом даже крабика не покормишь.

Пофилософствовать я любил всегда и, скажу честно, провел в таких мыслях добрые пять минут, а уж потом спустился вниз — где оно, это чертово золото? Такого дела враз не сделать, я шарил по большей части в кромешной тьме, на лестнице сбивали с толку какие-то голубые отблески. И что-то вокруг меня двигалось, невесть что ткнулось в мое стекло, ущипнуло за ногу. Крабы, наверное. Всю эту плавучую непонятную дребедень я отгонял легкими пинками, потом нагнулся и подобрал какой-то стержень, бугры с шипами. Как думаете, что это было? Спинной

хребет! Правду сказать, к виду костей я всегда был равнодушен. Перед тем как мне нырять, мы все подробно обсудили, а Олвейз точно знал, где припрятано золотишко. И я его вскорости нашел! Приподнял сундук с одного угла, на дюйм или около того.

Он сделал паузу.

— Приподнял, — продолжил он. — Самую малость, вот так! Чистого золота на сорок тысяч фунтов! Золото! Я в своем шлеме прямо заорал от радости, даже в ушах зазвенело. А меня уже измучила духота, да и просто усталость, я проторчал под водой минут двадцать пять, а то и больше, и решил: с меня достаточно. Я снова добрел до лестницы, поднялся наверх и, едва глаза оказались вровень с палубой, вижу — здоровенный крабище! Он в панике отпрыгнул и улепетнул куда-то в сторону. Так и меня напугал. Вылез я на палубу, прикрутил клапан за шлемом: воздух скопится — и меня вынесет на поверхность. Вдруг сверху что-то захлопало, будто веслом лупят по воде, но я и головы не поднял. Решил, это наши сигналят, мол, дуй наверх.

Тут вижу, мимо меня что-то летит, тяжелое, врезалось в доску и трясется. Пригляделся я — это же тесак молодого Сандерса! Что мне было

думать? Выронил, наверное, дурень, запросто мог меня ранить! В общем, всплываю навстречу дневному свету. Уже добрался до верхушки мачты «Покорителя морей» — вдруг: бух! Что-то стукнуло меня прямо в воде, и прямо перед моим шлемом — башмак! Тут еще какая-то жуть на меня навалилась, отчаянно трепыхаясь. Прижало меня сверху, уж не знаю что, вертится надо мной да крутится. Я подумал было, что это осьминог или что-то вроде того, — но нет, вижу башмак! Осьминоги башмаки не носят. Все это мелькнуло в долю секунды. Меня снова потянуло вниз, я вскинул руки, чтобы удержаться, — и тут вся эта тяжесть соскользнула с меня и улетела ко дну, а меня, само собой, потащило на поверхность…

Он помолчал.

— Вижу голое черное плечо, а за ним — лицо молодого Сандерса, шею ему проткнуло копье, а изо рта и раны будто струйки вылетают, розово-дымчатые, это же в воде. Два тела сцепились, сплелись в клубок, ни один другого не отпустит — так оба и пошли ко дну. Тут мой шлем снова брякнулся обо что-то, да так, что едва не раскололся. Оказалось, это борт каноэ, а в нем — черномазые! Черномазые! Две лодки битком.

Здорово, да? Тут за борт летит Олвейз, из него

тоже торчат три копья. А эти туземцы, три или четыре пары ног, баламутят воду вокруг меня. Не скажу, что я все хорошо видел, но суть понял сразу, резко крутанул мой клапан — пузырьки так и вылетели — и помчался вслед за беднягой Олвейзом. Конечно, я перепугался. Сандерс со своим черномазым все еще бились из последних сил, но их уже снова несло к поверхности, а я за несколько секунд вернулся в полумрак палубы «Покорителя морей».

Вот, думаю, незадача, просто чума! Черномазые? Какой у меня выбор? Внизу задохнешься, вверху зарежут, вот и весь выбор. Я понятия не имел, насколько мне хватит воздуха, но под водой разве отсидишься? Мало того что я попал в такую передрягу, так еще и духота, и голова как с перепоя. Про безобразных дикарей, этих грязных папуасов, мы и думать не думали. Всплывать прямо здесь — смерти подобно, но делать что-то надо. Я не мешкая перевалился за борт, попал прямо в водоросли и сиганул сквозь тьму. Остановился только раз, встал на колени: поправить шлем да глянуть наверх. Над головой — до жути яркая зеленая голубизна, два каноэ, между ними наша шлюпка, плавают, совсем мелкие, где-то вдалеке, будто корявая буква «Н». Смотрю я туда, а в горле

ком: три лодчонки мирно себе покачиваются, это как понимать?

Наверное, десять минут, что я тыкался в этой кромешной тьме, были самыми жуткими в моей жизни — давление кошмарное, будто тебя зарыли в песок, в груди боль, вонь такая, что вот-вот вывернет наизнанку, а вместо воздуха — запах рома и резины. Просто чума! Вдруг чувствую, дно под ногами круто вверх уходит. Поднял я снова голову — посмотреть, видны ли каноэ со шлюпкой, — и иду себе дальше. Замер, когда воды надо мной было не больше фута, хотел разглядеть, куда меня ноги несут, но, ясное дело, только и увидел, что отражение дна. Ринулся я вперед и будто пробил головой зеркало. Высунулся из воды и вижу отмель, а за ней — лес. Огляделся, но ни туземцев, ни нашей шхуны нет — их укрывала груда вздыбленной лавы. Внутренний голос — что же я за дурак такой! — велел мне бежать к лесу. Шлем я не снял, только приоткрыл одну из глазниц, продышался и вышел из воды. А воздух на вкус чистый, легкий — с ума сойти!

Ясное дело, когда у тебя в подошвах свинца на четыре дюйма, на голове медный бугор с футбольный мяч, а сам ты тридцать пять минут проторчал под водой, рекорд по бегу не поста-

вишь. Вот я и плелся, как крестьянин за плугом. На полпути к перелеску вижу: с десяток черномазых, если не больше, вышли на опушку и пялятся на меня, разинув рты.

Застыл я как вкопанный — эх, во всем Лондоне такого дурака не сыскать! Рвануть назад к воде — шансов не больше, чем у перевернутой черепахи. Закрутил я свое оконце, чтобы руки освободить, стою и жду их. А что еще делать?

Вижу, они совсем ко мне не спешат. Ага, думаю, вот в чем дело! Джимми Лупоглазый, говорю себе, это они, красавчик, на тебя загляделись. В голове от всех этих страстей слегка шумело, да и чертово давление сменилось. «Чего уставились? — сказал я, словно дикари могли меня услышать. — Не знаете, кто к вам пожаловал? Вы такого точно в жизни не видели». Завинтил я выпускной клапан и пустил сжатый воздух из поясного устройства — пока не раздулся почище любой лягушки. Вот тут я их ошарашил! Они и шага сделать не посмели. Вижу, один, а потом и другие — хлоп на четвереньки. Не могут взять в голову, что я за птица, вот и решили на всякий случай быть повежливее — а что, очень мудро и разумно с их стороны. Я прикинул: может, попятиться к морю да и сбежать от них? Потом понял — нет,

так не спастись. Шаг назад сделаю — тут меня и сцапают. Думаю, была не была! И с отчаяния затопал прямо к ним по песку, тяжелой поступью, с важностью машу им вспухшими руками. А сам трясусь от страха.

Но если вид чудной, в трудную минуту это только на пользу — это я и раньше знал, и теперь скажу. Мы уже в семь лет знаем, что такое водолазный костюм, а представляете, как такая штука сбивает с толку темного дикаря? Несколько черномазых кинулись наутек, другие давай биться лбами о землю. А я медленно и важно двигаюсь на них, вид у меня, может, и дурацкий, но марку держу, как слесарь на подряде. Ясно, что они меня приняли за какое-то небывалое чудо.

Вдруг один из них как подпрыгнет — и давай пальцем тыкать, руками мне махать, вижу, остальные то на меня смотрят, то на море. И что еще они там нашли? Повернулся я медленно, с достоинством, — из-за мыса выплывает несчастная «Гордость Баньи», да не сама, а два каноэ тянут ее на буксире. Тут мне совсем худо стало. Видать, они ждали от меня какого-то одобрения, ну, я и взмахнул невнятно руками пару раз. Потом повернулся и снова затопал к деревьям. Помнится, иду и вовсю молюсь, повторяю как чокнутый:

«Господи, помилуй и спаси! Господи, помилуй и спаси!» Это только круглый дурак опасности не боится да ржет над молитвой.

Но эти черномазые меня просто так отпускать не собирались. Давай вокруг меня приплясывать, поклоны бить, а сами вроде бы ведут меня к тропе между деревьев. Уж не знаю, за кого они меня приняли, ясно, что не за британского подданного, а уж я в ту минуту, кажется, был готов это подданство выкинуть куда подальше.

Не поверите — разве что вы знаете повадки дикарей, — но эти необразованные бестолковые бедолаги потащили меня к побитому ветрами черному камню — познакомить со своим идолом. Я к тому времени уже смекнул, до чего они темные, и, едва завидев этого божка, живо сообразил, в какую игру играть. Завыл баритоном: «У-у-у, у-у-у», выл долго и на одной ноте, потом снова замахал руками, медленно, торжественно уложил их статую на бок и уселся верхом. Присесть мне давно хотелось, ведь скафандр — наряд для тропиков не самый подходящий. Или, если по-другому, уж больно бросается в глаза. Короче, сел на их идола и сижу. Они поначалу просто обалдели, а через минуту, вижу, что-то скумекали и давай бить мне челом. Ну, скажу вам, от такого

оборота мне полегчало, хотя плечи и ноги ныли нещадно.

Правда, одно меня тревожило: те, которые в каноэ, — они-то что подумают, когда вернутся? Они вполне могли видеть меня в шлюпке, когда я еще не нырнул и сидел без шлема. А если они из кустов следили за нами с ночи? Тут же выведут на чистую воду. Я весь извелся, думаю, вот попал как кур во щи. Так и страдал, пока не вернулась эта веселая гвардия.

Но они все приняли за чистую монету, как и вся их чертова деревня. Видно, это потому, что я просидел истуканом, как сидячие египетские статуи, часов, наверное, двенадцать — пока сил хватило. По крайней мере, как ни крути, с этой работой я справился. Не представляете, каково это — ведь жара, да и воняет жутко. А им и невдомек, что внутри — живой человек! Я был для них каким-то кожаным великим чудо-идолом, который им на радость явился из воды. Как я все это вытерпел? Упадок сил! Жарища! Спертый воздух! Вонь от резины и рома! Да еще эта шатия вовсю суетится! Положили прямо передо мной кусок лавы, вывалили на нее какую-то кровавую мерзость и развели костер, запах хоть помирай, а это объедки с их звериного пиршества — и вот

жгут весь этот ужас в мою честь. В животе у меня здорово урчало, но тут я понял, как боги обходятся без еды: от этих паленых жертвоприношений аппетит кто хочешь потеряет. Дикари притащили много всякой всячины с нашей шхуны. Тут я обрадовался — среди прочего вижу пневматический насос для нагнетания воздуха. Потом эти парни с девицами собрались вокруг меня в кружок — и давай плясать похабные танцы. Надо же, как по-разному разные народы уважение выказывают! Будь у меня под рукой топорик, я бы многих из них порешил, прямо взбесили! И все это время я сижу, как мумия, — а что делать? Наконец, когда пришла ночь и, надо полагать, им в этом обнесенном плетнем святом месте стало темно, а дикари, знаете ли, темноты боятся, я давай мычать; тогда они снаружи развели большие костры и дали мне передохнуть во мраке моей хижины; тут уж я мог открутить мои оконца и все обдумать, не скрывая, насколько мне худо. Господи! Как же мне было худо!

Я совсем ослаб, изголодался, а мысли метались, как жук на булавке, — суеты до черта, а толку никакого. Так и носились по кругу. Парней, конечно, жалко, им только и дела, что в стельку напиться, но такой судьбы даже они не заслуживали, перед

глазами все еще стоит молодой Сандерс с копьем, торчащим из шеи. А сокровище ведь так и лежит в «Покорителе морей», надо до него добраться и перепрятать в надежное место, а уж потом вернуться и забрать. И еще загвоздка — где взять еду? В общем, в голове полный хаос. А показать им знаками, что хочу есть, опасно — это будет слишком по-человечьи. Так и просидел без маковой росинки во рту до самого рассвета. В деревне все затихло, мне стало совсем невтерпеж, я поднялся и нашел в миске что-то вроде артишоков да еще кислое молоко. Подкрепился, а что осталось, положил отдельно рядом с другими подношениями, как бы намекнул им на свои вкусы. Утром они пришли на молитву, а я сижу себе недвижно и величаво, прямо на их прежнем божестве, с утра точно такой, каким был вечером. Прислонился спиной к столбу посреди хижины, можно сказать, сижу и сплю. Так я и стал богом у этих варваров — понятное дело, богом понарошку; конечно, это чистой воды богохульство, да иногда выбирать не приходится.

Не хочу сказать, что бог из меня вышел, каких свет не видывал, но что есть, то есть: пока я был у них богом, удача им так и перла. Нет, я себя вовсе не выпячиваю. Но они свели счеты с другим

племенем — каких только приношений за это не натаскали, хотя к чему они мне? — рыбы наловили, как никогда, да и урожай собрали небывалый. Ну и шхуну, что им досталась, они тоже считали моей заслугой. Для новичка такой послужной список — совсем неплохо. Хотите верьте, хотите нет, а я продержался у этих дикарей племенным богом без малого четыре месяца…

А что мне было делать? Правду сказать, скафандр я иногда снимал. Я заставил их смастерить мне что-то вроде святилища, помню, сколько времени ухлопал, чтобы объяснить, чего я от них хочу. В этом и была главная закавыка — как им объяснить, что мне требуется. Коверкать их тарабарщину, хоть бы я ее и знал, — нельзя, все-таки я бог. Махать у них перед носом руками что есть мочи — тоже не годится. Я наловчился рисовать каракули на песке — сижу, бывало, рядом с ними на песке и гугукаю в свое удовольствие. Иногда догадаются, чего я хочу, иногда все делают наоборот. Но всегда из кожи вон лезли, лишь бы мне угодить. А меня все время одна мысль гложет: как главное дело уладить? И по ночам, ближе к рассвету, я в полной экипировке топал к тому месту, откуда был виден пролив, где затонул «Покоритель морей», а как-то лунной ночью даже

попытался добраться до него, но с водорослями, скалами да темнотой не совладал. Вернулся, когда день был уже в разгаре, и вижу: сидит мое черномазое дурачье на берегу и молится, мол, вернись к нам, морской бог. А я еле иду, силы на исходе, накувыркался за ночь, кажется, сейчас дух вон — шутка ли, топать туда и обратно, а эти чудилы завопили от счастья, так и дал бы каждому по башке! Нужны мне эти их церемонии!

И тут явился миссионер. О, этот миссионер! Та еще птица. Просто чума! Днем было дело, я сижу себе, как положено, на своем месте, на этой их черной каменюке, и тут этот — принесла нелегкая. Слышу, снаружи загудели, залопотали, и тут он говорит толмачу: «Они поклоняются чурбанам да камням». Я вмиг сообразил, куда ветер дует. Открыл я одно свое оконце, чтобы удобнее было, и недолго думая как заору: «Чурбаны и камни, говоришь! А ну иди сюда, сейчас по башке так врежу, что не поздоровится!» Повисла тишина, потом мои снова залопотали, и входит этот тип, с Библией в руке, такой как все они, — рыжеватый хилый очкарик в пробковом шлеме. А тут я сижу в тенечке, довольный, медноголовый и в очках-консервах, ну он сперва и оторопел, и мне это польстило. «Ну что, — говорю, — почем

нынче ножницы?» На дух не выношу этих миссионеров.

Покуражился я над ним, это точно. Совсем салага, до меня ему как до неба. Пасть разинул, мол, кто я такой, а ему говорю: интересно — почитай, вон у меня под ногами все написано. Ничего там, ясное дело, написано не было, кто будет писать? Но он наклонился, а его толмач, суеверный, как все они (а тут еще рядом живой миссионер), решил, что тот мне поклоны бьет, и тоже бухнулся оземь. А мои дикари прямо взвыли от радости, так что потом в моей деревне подобным типам делать было уже нечего.

Но, конечно, зря я так щелкнул его по носу. Здравый смысл подвел, надо было все ему начистоту выложить про сокровище и взять его в долю. Он бы наверняка согласился. Любой ребенок, если минуту подумает, сразу смекнет, зачем тут костюм водолаза, — все знают, что где-то неподалеку затонул «Покоритель морей». В общем, через неделю после того, как я его выпер, вижу утром — «Материнство», судно-спасатель из Старр-Рейса, тащится через пролив и по дну шарит. Весь мой, черт его дери, замысел, все мои мучения — насмарку! Чума! И взбеленился же я! Чего ради парился, как дурак, в этом вонючем

скафандре! Четыре месяца!

Загорелый опять разразился отборной бранью.

— Только подумать, — вернулся он к нормальной речи, — золота на сорок тысяч фунтов!

— А миссионер вернулся? — спросил я.

— Еще как! На свою голову! Был готов биться об заклад, что внутри их бога сидит человек, я, мол, дорогие папуасы, сейчас его выведу на чистую воду. Да не тут-то было — снова я ему нос утер. Всякие сцены да объяснения — это не по мне, вскорости я смылся и двинул к себе в Банью, вдоль берега, днем в зарослях прятался, а по ночам в деревнях промышлял, так и кормился. Все мое оружие — копье. Ни одежды, ни денег. Вообще ничего. Как говорят, моя красота — все мое богатство. Мог разжиться на восемь тысяч фунтов — моя пятая доля, — да свой шанс проворонил. Но туземцы, дай им бог здоровья, всыпали этому миссионеру по первое число: решили, это он виноват, что от них удача отвернулась!

1898

«Новейший ускоритель»

Если и был такой человек, что искал булавку, а нашел червонец, так это, несомненно, мой добрый приятель, профессор Гибберн.

Я и прежде слыхал, что многие великие вещи изобретались совершенно нечаянно, но с профессором Гибберном произошло прямо что-то невероятное. Можно смело сказать, что его открытие перевернет вверх ногами всю нашу жизнь. А он, между тем, хотел только найти какие-нибудь возбуждающие капли, которые дали бы возможность обессиленным людям поспевать за торопливым веком.

Мне уже случалось неоднократно принять это новое снадобье, и, по-моему, будет лучше всего, если я подробно опишу его действие на мой организм. Из дальнейшего видно, какой богатой находкой окажется это средство для всех искателей новых ощущений.

Как многим небезызвестно, мы с профессором Гибберном — соседи по Фолкстону. Если память мне не изменяет, снимки с его портретов были помещены в журнал «Стрэнд» в конце 1899 года.

Там он изображен в различные периоды своей жизни. Я не могу проверить это сейчас, так как журнал за этот год взят у меня кем-то на прочтение и до сих пор не возвращен, но читатель, может быть, помнит высокий лоб и необыкновенно длинные черные брови, которые придают его лицу что-то мефистофельское.

Он живет в очень милом особнячке, на Аппер-Сэндгейт-роуд. Такие особнячки, построенные в смешанном стиле, придают довольно причудливый характер западному концу этой улицы. Крыша у этого дома голландская, а портик мавританский; и за тем окном, которое выступает вперед, работает сам профессор. Там же мы часто курим и занимаемся болтовней. Он большой шутник, и к тому же ему приятно поговорить со мной о своих занятиях. Это один из тех людей, которые в беседе видят потребность: она помогает им работать.

И, таким образом, у меня была возможность шаг за шагом проследить созидание «Новейшего ускорителя». Хотя конечно, значительная часть экспериментальных работ производилась Гибберном не в Фолкстоне, а в шикарной новой лаборатории на Гауэр-стрит, рядом с госпиталем. Эту лабораторию он первый и обновил.

Как известно всем, или, по крайней мере, как известно людям интеллигентным, специальность Гибберна — ею он приобрел такую громкую и заслуженную репутацию среди физиологов, — действие лекарств на нервную систему. Снотворные, успокаивающие, анестезирующие средства — здесь, говорят, он не знает себе равных. В химии также он пользуется большим авторитетом и, по моим соображениям, в той путанице, которая царит теперь в науке по вопросам о клетке нервного узла и осевом волокне, он осветил немало темных мест, и многие его сведения в этой области останутся сокрыты для всех, покуда ему не заблагорассудится обнародовать их.

В последние годы он с особенным тщанием занимался вопросом о возбуждающих средствах и еще до открытия своего «Ускорителя» сделал в этой области много успехов. Благодаря ему медицина приобрела по крайней мере три укрепляющих средства, совершенно безвредных и имеющих громадную ценность во врачебной практике. В случаях истощения препарат, известный под именем «Сироп “Б” д-ра Гибберна», спас больше народу, чем любая спасательная лодка по всему морскому побережью.

— Но все эти пустячки меня уже не тешат! — сказал он мне как-то однажды, около года назад. — Все они имеют лишь частичное и местное влияние. Одни возбуждают сердце, оставляя мозг в первоначальной апатии; другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на нервное солнцесплетение, — но чего я добиваюсь и чего я, черт возьми, добьюсь — это такое средство, которое возбудит в вас все, которое сразу подымет вас всего с головы до пят и повысит все ваши силы в два… даже в три раза против обычной нормы. Да! Вот чего добиваюсь я теперь.

— Это будет чрезмерная трата сил, — заметил я.

— Ну да — и еще трата еды и всего такого… Вы подумайте только, в чем тут дело. Представьте себе пузырек, вот как этот, — он взял со стола зеленую склянку, — и в этом бесценном пузырьке заключена возможность думать вдвое скорее, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать.

— Но разве так возможно?

— По-моему, да. А если нет, у меня пропал понапрасну целый год. Здесь у меня различные препараты гипофосфатов, и, кажется, они должны указывать, что нечто подобное… осуществимо… Пусть подействует только в полтора

раза, — и то хорошо!

— И то хорошо! — согласился я.

— Если, скажем, вы политик, государственный человек, и у вас бездна дел, а время не терпит.

— Я бы тогда напоил этой штукой своего секретаря…

— И выиграли бы времени вдвое. Или возьмите себя: положим, вам надо закончить вашу книгу…

— Я всегда проклинаю тот день, когда начал ее, — отозвался я.

— Или вы — доктор. Заняты до смерти, а вам надо сесть и обдумать диагноз… Или адвокату… Или зубрите к экзамену…

— Прямой расчет таким господам дать десять целковых за каплю, — сказал я.

— Или, скажем, дуэль, — продолжал Гибберн, — и вам надо возможно скорее спустить курок — от этого зависит все.

— Или вот тоже, — подхватил я, — фехтование…

— Словом, вы видите, — сказал Гибберн, — это средство помогло бы во всем, а вреда от него никакого. Разве что на бесконечно малую степень оно приблизило бы вас к старости. Но зато ведь вы и проживаете вдвое, по сравнению с другими…

— Ну, на дуэли, — сказал я, раздумывая, — вряд ли это было бы честно…

— Это как порешат секунданты, — сказал Гиббери.

— И вы полагаете, — вернулся я к прежнему, — что такое снадобье возможно?

— Так же возможно… — сказал Гибберн и поглядел на улицу, где что-то зашумело и пронеслось, — так же возможно, как автомобиль. Собственно говоря…

Он умолк со значительным видом и негромко постучал по столу зеленым пузырьком.

— Мне сдается даже, что я такой состав знаю… Кое-чего я уже в этом отношении достиг.

По той нервной усмешке, с какою он произнес эти слова, я понял, до чего все это дорого для него. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они бывали близки к концу, — не иначе.

— Может быть, может быть… он вызовет энергии даже больше, чем вдвое…

— Это будет очень важная штука! — сказал я на всякий случай.

— Это будет, я думаю, очень важная штука.

Но все же, мне кажется, он тогда не совсем еще понимал, какая это в самом деле важная штука.

Я помню, мы не раз возвращались к этой теме.

«Новейший ускоритель» — так назвал он свое снадобье, и с каждым разом в его словах слышалось все больше уверенности.

То он вдруг заговаривал о неожиданных физиологических последствиях, которые может вызвать этот состав, и при этом слегка омрачался; то, с нескрываемым корыстолюбием, принимался обсуждать со мною денежную сторону дела.

— Это великое изобретение, — говорил Гибберн, — великое и страшное. Я знаю, как много я даю миру, и, по-моему, я вправе ждать от него заслуженной благодарности. Достоинство науки своим чередом, но, по-моему, мне следует получить монополию на мое снадобье хотя бы лет на десять. Мне вовсе не нравится, что в конце концов в жизни все сливки достаются каким-то колбасникам.

Конечно, с течением времени мой интерес к новому изобретению не ослабевал. Я всегда имел в душе некоторую склонность к метафизике. Меня всегда увлекали различные парадоксы насчет времени и пространства, и теперь мне казалось, что Гибберн изобрел не что иное, как именно абсолютное ускорение жизни. Предположим, что человек станет принимать его капли регулярно: жизнь его сделается очень бурной и ускорится

страшно; в одиннадцать лет он уже достигнет совершеннолетия, в двадцать пять лет он будет пожилой, а к тридцати годам у него начнется старческая дряблость.

Магия аптекарских капель всегда была для меня изумительна: вы можете сделать человека безумным или спокойным; невероятно сильным и бодрым или вялым, беспомощным и слабым; усилить эту страсть и ослабить ту — и все при посредстве капель; и вот появлялось новое чудо, еще одно, в этом арсенале пузырьков, готовых к услугам врачей.

Но все подобные мысли мало интересовали Гибберна: он слишком был поглощен технической стороной своего изобретения.

Седьмого или восьмого августа он сообщил мне, что осталась одна только дистилляция, которая и решит исход всего дела, а десятого я от него узнал, что все уже сделано и что «Новейший ускоритель» — есть осязаемая реальность. Я встретил его, идучи в Фолкстон, — насколько я помню, я шел тогда стричься, а он направлялся ко мне, чтобы поделиться со мной своей радостью. Я помню, как блестели у него глаза, а лицо раскраснелось, и уже тогда я заметил странную стремительность его походки.

— Готово! — закричал он и схватил меня за руку и заговорил быстро-быстро: — Совсем, совсем готово. Идем ко мне и посмотрим.

— Правда?

— Правда! — воскликнул он. — Просто не верится. Идем ко мне и посмотрим.

— И действует… вдвое?

— О, больше, гораздо больше… Мне даже самому страшно. Идем, и вы увидите! Отведайте его, попробуйте его! Самый чудесный в мире состав.

Он схватил меня за руку и зашагал с такой быстротой, что мне пришлось нестись вслед за ним чуть не вскачь. Мы поднялись на холм. Мимо проезжал какой-то шарабан, и, сколько там было народу, все обернулись и единодушно принялись пялить на нас глаза, как умеют пялить глаза только в шарабанах.

Стоял ясный и жаркий день, один из тех, которых так много в Фолкстоне, — когда каждая краска ярка невероятно и каждый контур так резок. Конечно, был легкий ветер, но как мог он при таком движении освежить меня?

Наконец я взмолился о пощаде.

— Разве я иду слишком скоро? — удивился Гиббери и, замедлив шаги, все же продолжал нестись как угорелый.

— Вы уж небось порядком выпили своего снадобья? — выговорил я, отдуваясь.

— Нет, — сказал он. — Разве что одну только капельку той воды, что осталась в чашке… когда я отмыл от нее все следы моего вещества. Вчера вечером я, правда, принял немного, но ведь, согласитесь, это уже древняя история.

— И оно действует… вдвое? — спросил я, весь в поту подбегая к его дому.

— В тысячу раз, во много тысяч раз! — выкрикнул Гибберн, распахивая настежь свои резные дубовые ворота.

— Фью! — сказал я и последовал за ним на крыльцо.

— Я даже и представить себе не могу, во сколько раз, — продолжал он, доставая ключ.

— И вы…

— Это бросает новый свет на физиологию нервной системы и переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений!.. Одному небу известно, во сколько тысяч раз… Мы все это исследуем после; но раньше всего надо попробовать капли.

— Попробовать капли? — сказал я, поднимаясь по лестнице.

— Ну да! — сказал Гибберн уже из кабине-

та. — Вот они здесь, в этом маленьком зеленом пузырьке! Если только вам не страшно.

Я человек по природе осторожный, и смелость моя больше в теории. Мне действительно было страшно. Но заговорило тщеславие.

— Собственно говоря… — сказал я в замешательстве. — Вы утверждаете, что уже пробовали их.

— Да, пробовал, — сказал он, — и не правда ли, не похоже, чтоб они повредили мне?

Я опустился в кресло.

— Ну хорошо, я приму. На самый худой конец, мне больше не придется ходить стричься, а это, по-моему, гнуснейшая обязанность цивилизованного человека. Как вы принимали эти капли?

— На воде, — сказал Гибберн, взявшись рукой за графин.

Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. Его манеры сразу приобрели такой характер, как у врача-специалиста с Гарлей-стрит.

— Это очень странные капли, — сказал он.

Я махнул рукою.

— Я должен предупредить вас: перед тем как вы примете капли, закройте глаза и откройте их только через минуту или около того — с большой

осторожностью. Наше зрение есть вопрос длины воздушных волн, а отнюдь не их обилия; но если глаза у вас будут открыты, то ваша сетчатка ощутит известный толчок, сопровождающийся головокружением и очень неприятным чувством. Закройте же глаза.

— Ладно, — сказал я. — Могу и закрыть.

— Во-вторых, сохраняйте полное спокойствие. Не вздумайте, например, дергаться. Вы можете получить здоровый ушиб. Помните, что ваш организм начнет работать во много тысяч раз быстрее обыкновенного. Сердце, легкие, мускулы, мозг, — решительно все, и вы проявите массу энергии, сами того не подозревая. Вам и в голову это не придет; ощущения у вас останутся прежние. Но только все вокруг как будто сразу замедлит ход во много тысяч раз и пойдет тише, чем прежде. И отсюда черт знает какие странные последствия.

— Господи! — сказал я. — И, значит, по-вашему…

— Вот вы сейчас увидите, — сказал он и взял мензурку. Потом бросил взгляд на стол перед собой. — Стаканы, — сказал он, — вода. Все готово! Не следует принимать слишком много для первого раза. — Драгоценная жидкость переливается из зеленого пузырька в мензурку. — Помните все,

что я вам говорил, — повторяет Гибберн, наливая эту жидкость в стакан, точно таким же жестом, как итальянский лакей наливает виски. — Как можно крепче закройте глаза и соблюдайте полное спокойствие в течение двух минут.

Он прибавил воды по три чайные ложечки в каждый стакан.

— Кстати, — сказал он. — Не вздумайте ставить ваш стакан на стол. Продолжайте держать его в руке, а руку положите на колено. Вот! Именно так. А теперь…

Он поднял стакан.

— За «Новый ускоритель»! — сказал я.

— За «Новый ускоритель»! — отозвался он, и мы чокнулись, опорожнили стаканы, и я тотчас же закрыл глаза.

Вам известна эта пустота небытия, в которую погружаешься под влиянием «веселящего газа»! Не знаю, сколько времени я был именно в таком состоянии. Потом до меня донесся голос Гибберна; он приказывал мне проснуться. Я встряхнулся и открыл глаза.

Он где стоял, там и остался, и стакан по-прежнему был у него в руке. Одна только разница, что теперь это был пустой стакан.

— Ну? — сказал я.

— Ничего не чувствуете особенного?

— Ничего. Легкое возбуждение, пожалуй. И больше ничего.

— А звуки?

— Никаких звуков, — сказал я. — Полнейшая тишина. Только что-то стучит, как дождь, как будто все вещи оказались под дождем. Что это такое?

— Это звуки распались на свои элементы, — сказал он, — кажется, так, но поручиться я не могу.

Он поднял глаза на окно.

— Видали вы до сих пор, чтобы этаким манером занавеска прикреплялась к окну?

Я посмотрел на занавеску и увидел, что она как бы застыла и что уголок у нее как загнулся от ветра, так и остался.

— Не видал никогда, — сказал я. — Что за странность!

— А это? — сказал он и растопырил пальцы, в которых помещался стакан. Естественно, я не мог не мигнуть глазами, ожидая, что стакан разобьется. Но он даже не шевельнулся; он повис в воздухе — неподвижно.

— Вы, конечно, знаете, — сказал Гибберн, — падающий предмет делает в этих широтах в первую секунду шестнадцать футов. И этот стакан тоже

делает шестнадцать футов в секунду. Но, понимаете ли, он еще не успел сделать и сотой доли секунды. Это может дать вам понятие о силе моего ускорителя.

Стакан медленно опускался. Он провел рукою вокруг стакана, над ним и под ним. Потом он взял его за донышко и тихонько поставил на стол.

— Ну что? — обратился он ко мне и засмеялся.

— Как будто ничего, — сказал я и начал медленно приподниматься на кресле.

Я чувствовал себя очень хорошо, и в голове у меня не было никакого потемнения. Но все во мне как-то страшно заторопилось. Мое сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, и это не причиняло решительно никакого неудобства. Я глянул в окно. Какой-то велосипедист, застывший на одном месте, с застывшим облаком пыли позади, стремглав догонял какую-то бричку, которая тоже не двигалась ни на вершок. Я просто рот раскрыл от удивления пред этим невероятным зрелищем.

— Гибберн! — закричал я, — сколько времени действуют эти чертовские капли?

— Не имею ни малейшего понятия! — ответил он. — Когда я принял их прошлый раз, я пошел спать и проспал их. Говорю вам, мне стало страш-

но. Тогда это длилось несколько минут, так я соображаю, — хотя мне казалось, несколько часов. По-моему, это скоро должно проходить.

Я с гордостью заметил, что мне ничуть не страшно, — может быть, потому, что нас все-таки было двое.

— Почему бы нам не пойти гулять? — предложил я.

— В самом деле!

— Пусть поглядят на нас!

— Что вы! Что вы! Нас и не увидят! Мы понесемся быстрее, чем в сказке. Идем! Но как? В окно или в дверь?

И мы выбрали окно.

Я много читал о различных чудесах, я о многом мечтал и многое пережил сам, но из всего этого самым необычайным и диким событием всей моей жизни была, несомненно, эта краткая прогулка вместе с Гиббером по полям и лугам Фолкстона после принятия капель.

Мы пронеслись чрез резные дубовые ворота, вылетели на дорогу и тотчас же наше внимание было привлечено каким-то омнибусом, совершенно окаменевшим. Верхушки колес, лошадиные ноги, конец хлыста и нижняя челюсть возницы (он только что начал звать) — все это

находилось хоть в каком-нибудь движении, но остальное в этом неуклюжем экипаже совершенно застыло.

И все — совершенно бесшумно. Сидящие там люди были, как статуи большого монумента, — кучер, кондуктор и одиннадцать человек пассажиров. Стало даже как-то неприятно, когда мы обошли это сооружение вокруг. Так же люди, как и мы, застыли, остановились в самых непринужденных позах, не докончив того или иного жеста.

Какая-то девушка и молодой человек делают друг другу глазки и в таком положении остались, как будто навеки. Женщина в развевающемся плаще ухватилась рукой за перила и навеки вперяет немигающий взор в окна Гиббернова дома. Какой-то мужчина закручивает свой ус, как будто он у него из воска, а другой протянул окостенелую руку вслед за улетающей шляпой.

Мы глядели на них, и смеялись над ними, и корчили им рожи, и, внезапно почувствовав к ним презрение, отвернулись от них и перед самым носом велосипедиста прошли по направлению к лугам.

— Господи! — воскликнул вдруг Гибберн, — глядите-ка туда!

Перед нами была пчела; она медленно перебирала крылышками в воздухе и двигалась со скоростью весьма ленивой улитки.

Итак, мы пришли на лужайку. Там началось уже сплошное безумие. Оркестр играл, очевидно, громко, но нам казалось, что он совсем затих, и у него было что-то вроде одышки, и он испускал последние вздохи, и вздохи эти переходили порою как бы в заглушенное тиканье каких-то чудовищных часов.

Люди застыли и стояли навытяжку — странные немые куклы, наделенные разумом, неустойчиво остановившиеся на одной ноге в тот момент, как шагали по травке. Проходя, я увидел небольшого пуделя; он повис в воздухе на половине прыжка, и я следил, как медленно он опускался на землю.

— Нет, вы посмотрите сюда! — воскликнул Гибберн, и мы оба остановились возле какого-то франта в белом полосатом костюме, в белых ботинках и в панаме; он слегка повернул голову и подмигивал двум разодетым дамам. Подмигивание, если исследовать его с таким тщанием, какое было доступно нам, — вещь весьма непривлекательная. Оно утрачивает всю свою лихость и бойкость, и тогда обнаруживается, что подмигивающий глаз закрывается не вполне плотно и что

из-под опущенного века проглядывает нижняя часть глазного яблока и узенькая полоска белка.

— Отныне, — сказал я, — если Бог не отобьет у меня памяти, никому не буду подмигивать…

— А также и улыбаться, — подхватил Гибберн, разглядывая зубы улыбающейся дамы.

— Однако ужасно жарко! — сказал я. — Пойдемте-ка тише.

— Ну вот! — отозвался Гибберн.

Мы понеслись мимо садовых скамеек у дорожки. Многие из сидевших там казались почти естественными, но больно было смотреть на военных музыкантов, застывших во время игры. Какой-то краснощекий маленький господин застыл как раз в то мгновение, когда делал нечеловеческие усилия сложить на ветру газету. По многим признакам, все эти застывшие люди сидели на ветру, но для нас этого ветра не существовало. Мы выбрались оттуда и отошли от толпы в сторонку и стали издали наблюдать ее.

Разглядывать все это множество людей, вдруг остолбеневших и сделавшихся как бы из воска, было до жуткости удивительно. Конечно, это глупо, — но я весь был преисполнен тогда каким-то необъяснимым чувством радости и собственного превосходства. Подумайте только! Все, что было

сказано, подумано, сделано мною с той поры, как это вещество проникло в мой организм, — было одним лишь мгновением ока для всех этих людей и для всей вселенной.

— «Новейший ускоритель»... — начал было я, но Гибберн перебил меня:

— Эта проклятая старуха! — сказал он.

— Какая старуха?

— Моя соседка, — сказал Гибберн. — Вот ее любимая болонка; она вечно тявкает. Нет, искушение слишком сильно!..

Временами у Гибберна появляется что-то мальчишеское. Он действует под первым впечатлением. Не успел я слова сказать, он уже бросился вперед, выхватил эту собачонку из видимого мира и со всех ног понесся с нею на Фолкстонскую скалу. Это было так необычайно. Животное даже не пискнуло, не стало вырываться, не выказало ни малейших признаков жизни. Оно словно окаменело в позе глубокого сна, и Гибберн держал его за шею, как будто оно было деревянное.

— Гибберн! — закричал я. — Что вы делаете? — Но тотчас же я перебил самого себя: — Если вы не остановитесь, — крикнул я, — ваше платье загорится. Ваши парусиновые брюки уже начинают тлеть.

Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.

— Гибберн! — воскликнул я, настигая его. — Перестаньте. Температура слишком высока. Мы бегаем слишком быстро. От двух до трех миль в секунду. Подумайте: трение воздуха.

— Что? — переспросил он, взглянув на собачку.

— Трение воздуха! — заорал я. — Трение воздуха. Слишком быстро движемся. Как метеорит. Слишком жарко. Гибберн, Гибберн! Я весь в поту, и все тело зудит. Вы видите, люди зашевелились. По-моему, действие капель кончается. Оставьте же собаку!

— А? — сказал он.

— Действие капель проходит, — повторил я. — Мы разгорячены, и действие капель проходит. Я весь промок, весь в поту.

Он поглядел на меня, потом на оркестр, у которого одышка как будто участилась.

Потом сильным взмахом руки он швырнул собачонку прочь, и та медленно закружилась в воздухе и, все еще неживая, повисла над сомкнувшимися зонтиками мирно беседующих людей. Гибберн ухватил меня за локоть.

— Черт! — воскликнул он. — Кажется, вы правы. Страшная усталость и… О да: вон у того человека

зашевелился носовой платок. Вполне очевидно. Нам надо отсюда убираться — и поскорее.

Но, может быть, к нашему счастью, мы не могли убраться оттуда с достаточной быстротой. Нам пришлось бы бежать, а если бы мы побежали, то нас охватило бы пламенем. Для меня нет никаких сомнений, что нас охватило бы пламенем. Мы и не подумали об этом — но чуть мы только пустились бежать, как действие капель прекратилось. Это произошло в бесконечно малую часть секунды… Действие «Новейшего ускорителя» кончилось: как будто опустили занавес. Я услышал тревожный голос Гибберна:

— Садитесь! — и хлопнулся на траву у края дороги, и вскрикнул от обжога. И по сию пору на том месте, где я присел, осталась, полоска выжженной травы.

И тут мне показалось, что все сбросило с себя оцепенение: разрозненные вздохи оркестра слились и снова послышалась музыка, каждый гуляющий коснулся наконец ногою земли и пошел своим путем, флаги захлопали, улыбки завершились речами, мигающий кончил подмигивать и с довольным видом продолжал прогулку, а все сидевшие под деревьями зашевелились и заговорили.

Вселенная ожила снова и перестала отставать от нас, или, вернее, мы перестали обгонять вселенную. Мы чувствовали себя так, как будто из быстрого поезда сразу вышли на станцию. Сперва все предметы закружились пред нами, и меня даже немного стошнило, как от морской болезни. Этим все кончилось. Маленькая собачонка, которая, казалось, на минуту повисла в воздухе, наконец упала — с большой быстротой — прямо в зонтик какой-то даме.

Это и послужило нашему спасению.

Только какой-то дородный старик с больными ногами увидал нас и завозился в своем кресле и долго потом поглядывал в нашу сторону с величайшей подозрительностью и наконец заметил что-то по нашему адресу сопровождавшей его сиделке. Больше, кажется, ни одна душа не видала, как внезапно мы здесь появились. Скоро мы перестали дымиться, хотя трава подо мною все еще жгла.

Всеобщее внимание было отвлечено в другую сторону. И даже общественный оркестр так засмотрелся, что впервые за все свое существование сбился с такта и стал фальшивить. Всех изумило, что какой-то откормленный пес, мирно дремавший у восточной стены павильона, вдруг

был переброшен неизвестной силой на запад и полетел прямо на зонтик какой-то даме; у этого пса от необычайной быстроты полета шерсть оказалась слегка опаленной.

Все вскочили, одни налетели на других, опрокинули вверх ногами скамейки, прибежал городовой.

Не знаю, чем кончилось: мы слишком были озабочены, как бы самим выпутаться из этого дела и вдобавок всячески старались убраться поскорее от больного старика: чего доброго, еще пристанет с расспросами.

И чуть мы немного остыли, и шум в голове прошел, — мы встали и, обойдя толпу, вернулись на прежнюю дорогу, чтобы выйти к дому Гибберна.

За скамьями и креслами на этой лужайке наблюдают какие-то служители. На фуражке у каждого значится: «надзиратель». И я издали совершенно ясно слышал, при всей суматохе, как господин, сидевший рядом с той дамой, у которой пострадал от собачки зонтик, распекал такого «надзирателя» и, осыпая его незаслуженными ругательствами, громко вопрошал:

— Если собаку швырнули не вы, то кто же тогда, спрашивается?

Движение и звук вернулись к нам так внезап-

но, что я даже упустил сделать свои наблюдения, со всею точностью и обстоятельностью, какие так желательны в этих случаях. Кроме того, надо было позаботиться и о себе: наше платье все еще жгло нас порядком, а белые брюки Гибберна спереди были совсем опалены и стали бурого цвета.

Так что на обратном пути мне было не до научных наблюдений. Пчелы, конечно, я уже не нашел. Я думал найти того велосипедиста, но, когда мы вышли на Сэндгейт-роуд, он уже скрылся из виду, а может быть, и омнибус заслонил его от нас. Самый же омнибус трясся тут перед нами, невдалеке от ближайшей церкви, и теперь все пассажиры ожили и двигались, как всегда.

Только одно удалось нам заметить: подоконник, куда мы становились ногами, прыгая из окна, был слегка прожжен в тех местах; а на тропинке от наших ног остались необычайно глубокие следы.

Так «Новейший ускоритель» был впервые испробован мною. В сущности говоря, мы пробежали все это пространство и столько наговорили и столько сделали в течение одной секунды. Мы прожили полчаса за то время, что оркестр взял две ноты. Но у нас было такое впечатление, будто весь мир приостановился на время, чтобы нам

было удобнее сделать ему смотр. Принимая во внимание все обстоятельства дела и, главным образом, ту стремительность, с которой мы вели себя за пределами дома, нужно признать, что все могло окончиться для нас значительно хуже, и Гибберну предстоит еще многое исправить в своем «Ускорителе»; только тогда этот препарат станет пригодным для всеобщего употребления; но в действии его уже не может быть никаких сомнений.

После первого смелого опыта Гибберн устремил все внимание на то, чтобы урегулировать силу этих капель, и мне приходилось не раз принимать различные дозы под его наблюдением. Он давал мне их, меняя пропорции, без малейших дурных результатов. Но должен сознаться, что, приняв его капель, я уже не решался выходить на улицу.

Считаю нелишним упомянуть, что и весь этот рассказ написан мною под действием снадобья профессора Гибберна; он написан весь в один присест, без перерыва: я отрывался только для нескольких глотков шоколада. Начал я его писать в 6 часов 25 минут, а теперь, по моим часам, на одну минуту больше половины седьмого. Никакими словами нельзя достаточно выразить, как

удобно это средство, чтобы исполнить длинную и трудную работу, даже если у тебя совсем нет досуга.

Гибберн занят теперь изысканием количественной зависимости между той или иной дозой его «Ускорителя» и тем или иным организмом. В противовес этому составу он надеется изобрести соответствующий «Замедлитель», чтобы, по желанию, ослаблять его чрезмерное действие.

Этот «Замедлитель» будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам «Ускорителя»; если пациент примет его отдельно от того препарата, то у него явится возможность растянуть несколько секунд своего времени и обнять ими целый ряд часов и, таким образом, окоченеть в бездействии и в апатии, застыть наподобие ледника посреди самой бурной и разжигающей обстановки.

Оба препарата вместе должны произвести революцию в культурной жизни человечества. Здесь начало того освобождения от Оков Времени, о которых писал Карлейль. Если «Ускоритель» поможет нам сосредоточиваться со страшной силой на каком-нибудь моменте нашей жизни, требующем наивысшего подъема энергии, то «Замедлитель» обеспечит нам полное спокой-

ствие в самых мучительных, тягучих и скучных обстоятельствах.

Может быть, я слишком преувеличиваю значение «Замедлителя», который пока что еще не изобретен, но в отношении «Ускорителя» не может быть никаких сомнений. Он поступит в продажу в один из ближайших месяцев, как только удастся придать ему такую форму, чтобы публике удобнее было с ним обращаться.

Его можно будет достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине, он будет продаваться в маленьких зеленых бутылочках, по довольно высокой цене, но цена эта не покажется чрезмерной, если принять во внимание его высокие качества. «Нервный ускоритель д-ра Гибберна» — так он будет называться, и Гибберн питает надежду, что у него будет возможность выпустить его на рынок сразу в трех различных видах: в 200 градусов, в 900 и в 2000, что и будет обозначено соответственными ярлычками: оранжевым, розовым и белым.

Когда этот «Ускоритель» станет доступен большой публике, то, конечно, могут возникнуть разные нежелательные последствия. Может быть, он облегчит даже преступления и при его содействии преступнику легко будет укрыть-

ся в какую-нибудь дыру времени. Как и всякое сильнодействующее средство, «Ускоритель» может быть употреблен во зло. Но мы с Гибберном обсудили этот вопрос всесторонне и пришли к выводу, что это дело судебной медицины и к нам никакого касательства не имеет.

Наше дело — изготовлять и продавать «Ускоритель», а что из этого выйдет, мы посмотрим.

1901

Филмер

По правде говоря, чтобы освоить искусство полета, потребовались старания многих тысяч людей — кто-то что-то предлагал, кто-то ставил опыты, и вот наконец для завершения работы понадобилось одно усилие ума, усилие решительное и энергичное. Но расхожее мнение безжалостно несправедливо, и вышло так, что из всех этих тысяч право прослыть первооткрывателем выпало на долю человека, который никогда не летал, так же как за открытие энергии пара мир решил воздать все почести Уатту, а за изобретение парового двигателя — Стефенсону. Безусловно, из всех почитаемых имен самые нелепые и трагические почести достались бедняге Филмеру, тихому труженику науки, потому что именно он решил задачу, которая приводила в замешательство и даже немного пугала не одно поколение; именно ему было суждено нажать на кнопку и в результате изменить соотношение мира и войны, да и вообще всю нашу жизнь и наше понимание счастья. Это ярчайший пример того, как скромный рядовой ученый совершает

выдающееся открытие, и человечество вновь и вновь удивляется такому несоответствию. Многое из того, что связано с Филмером, остается, да и останется, туманной загадкой — филмеры не привлекают внимание босуэллов, но основные факты, как и заключительная сцена, достаточно ясны, к тому же сохранились письма, заметки и некоторые косвенные сведения, что позволяет восстановить общую картину. Собрав воедино все, что есть у нас в распоряжении, мы можем сложить рассказ о жизни Филмера — и его смерти.

Первое достоверное упоминание о Филмере в анналах истории — это заявление с просьбой принять его в качестве студента-стипендиата на обучение физике в государственных лабораториях колледжа в Южном Кенсингтоне. Себя в этом документе он представляет сыном «армейского обувщика» (попросту «сапожника») из Дувра и сообщает, что довольно неплохо разбирается в химии и математике, приводя в подтверждение результаты экзаменов. Не беспокоясь о собственном достоинстве, он признается в бедности и прочих жизненных невзгодах и говорит, что жаждет развивать полученные знания. Попасть в лаборатории — это его заключительная цель, но в заявлении написано «злоключительная», и

эта описка лишь сильнее выдает его желание посвятить себя точным наукам. Надпись на обороте документа свидетельствует, что Филмер добился желаемого. Но до недавнего времени никаких следов его успехов в этом государственном учреждении найти не удавалось.

Теперь, однако, известно, что, несмотря на открыто заявленное им рвение к исследовательской работе, Филмер, проучившись как стипендиат меньше года, соблазнился возможностью поправить свои денежные дела и ушел из лабораторий, нанявшись за девять пенсов в час ассистентом к знаменитому профессору, проводившему крупные исследования в области физики Солнца; эти исследования и поныне поражают сообщество астрономов. Мы не знаем, чем занимался Филмер следующие семь лет, если не считать оценочных листов Лондонского университета при переходе с курса на курс, согласно которым Филмер медленно, но верно подбирался к степени бакалавра по математике и химии. Сведений о том, как и где он в это время жил, нет, скорее всего, он давал уроки, чтобы хватало на учебу, и продолжал научные занятия, необходимые для получения ученой степени. Как ни странно, упоминание о нем содержится в

переписке поэта Артура Хикса.

«Ты помнишь Филмера, — писал Хикс своему другу Вэнсу. — Ну так вот, он ничуть не изменился, так же враждебно бурчит себе под нос, такой же небритый подбородок — каким образом человеку удается всегда ходить с трехдневной щетиной? Та же манера действовать исподтишка, будто так и норовит пролезть перед вами, даже его пиджак и потрепанный воротник за эти годы не претерпели изменений. Он что-то писал в библиотеке, и я из сострадания сел рядом, так он меня же умышленно и оскорбил, загородив рукой свои записки. Видимо, он бьется над каким-то великим открытием и заподозрил меня — нашел кого заподозрить, мою брошюру печатает Бодлианская библиотека! — в том, что я украду его гениальную идею. Он добился поразительных успехов в университете и говорил об этом, захлебываясь и брызгая слюной, будто боялся, что я прерву его, прежде чем он все это вывалит. Походя, будто речь шла о рядовой поездке в кебе, он упомянул и о получении докторской степени. Тут он спросил меня о моих занятиях, явно рассчитывая на выгодное для себя сравнение, при этом рука, которой он защищал записи со своей драгоценной идеей, наполнявшей его сердце

надеждой, нервно дрогнула.

“Поэзия, — хмыкнул он. — Поэзия. И чему вы надеетесь научить таким образом, Хикс?”

Вот что происходит с провинциалом, который метит в профессора, и я должен благодарить небеса за то, что они наделили меня бесценным даром праздной лени, иначе и я бы тянулся к ученой степени, а это — путь к саморазрушению…»

Да, забавная виньетка, видимо, это Филмер где-то в канун его открытия. Хикс оказался не прав, полагая, что выше уровня провинциального ученого Филмер не поднимется. В следующий раз он мелькает перед нами лектором, знакомит Общество искусств с «каучуком и его заменителями» — к тому времени он уже управляющий крупной фабрики по производству пластика, а также (как мы теперь знаем) член Общества воздухоплавателей, хотя его вклад в тамошние дискуссии оказался нулевым, — несомненно, свое великое изобретение он предпочитал довести до ума без помощи извне. В течение двух лет после выступления перед Обществом искусств он спешно оформляет патенты и заявляет миру (не всегда достойными способами), что завершил различные изыскания, которые позволят создать летательный аппарат. Первое внятное сообщение

об этом появилось в дешевой вечерней газетенке — не без участия человека, жившего в одном доме с Филмером. Такая спешка после столь долгих, тайных и усердных трудов, видимо, объяснялась неоправданной паникой: некто Бутл, известный американский шарлатан от науки, заявил об открытии, а Филмер ошибочно истолковал это как попытку украсть его идею.

Но в чем эта идея заключалась? Она была весьма проста. До Филмера аэронавтика развивалась по двум несхожим направлениям. К первому относились воздушные шары, большие летательные аппараты легче воздуха; они легко взлетали и относительно безопасно садились, но беспомощно плыли сквозь пространство по воле любого подхватившего их ветерка. Другой вариант — летающие машины, которые летали пока лишь в теории; эти крупные и плоские сооружения тяжелее воздуха запускались ввысь и поддерживались в полете с помощью тяжелых двигателей; увы, почти все они разбивались при первом же приземлении. Но если отвлечься от последнего факта, именно вес этих летающих машин теоретически давал им преимущество — а именно возможность летать против ветра (без решения этой задачи аэронавтика не имеет

смысла). В чем же состояла конкретная заслуга Филмера? Он придумал, как объединить в одном летательном аппарате противоположные и дотоле несовместимые свойства воздушного шара и тяжелой летающей машины, причем его аппарат мог по воле пилота становиться либо тяжелее, либо легче воздуха. Подсказкой ему послужили сжимающиеся плавательные пузыри рыб и воздухоносные полости у птиц. Он изобрел устройство из сжимавшихся и абсолютно непроницаемых баллонов, которые, расширяясь, без труда поднимали аппарат в воздух, а благодаря сложной системе «мускулов», какими он эти шары оплел, сокращались и почти полностью уходили в каркас. Все это размещалось на большой раме из полых и жестких трубок, и, когда аппарат терял высоту, воздух из трубок с помощью оригинального устройства автоматически перекачивался в баллоны и оставался там столько времени, сколько требовалось пилоту. Крыльев или пропеллеров у этой машины, в отличие от других аэропланов, не было, а в действие ее приводил небольшой, но весьма мощный прибор для сжатия баллонов. По замыслу Филмера, его аппарат поднимется в воздух на значительную высоту, если выкачать воздух из

рамы и перегнать его в баллоны, а потом, сжав баллоны и вернув воздух в раму, можно сменить центр тяжести и таким образом направить полет в нужную сторону. Снижаясь, машина набирает скорость, при этом теряет в весе, а инерция движения, возникшая при спуске, позволяет снова подняться — для этого нужно сместить центр тяжести и наполнить воздухом баллоны. Этот замысел и теперь лежит в основе всех успешных летательных аппаратов, но его не так-то просто воплотить в жизнь — нужно проработать множество деталей. Это и сделал Филмер, работая «беззаветно и отдавая всего себя без остатка», как он сообщал осаждавшим его газетчикам, когда оказался в зените славы. Особенно непросто далась ему эластичная оболочка для сжимающихся баллонов. Для нее потребовалось новое вещество, которое пришлось открыть и изготовить, и этот труд, как он всякий раз указывал газетчикам, был «куда более изнурительным, чем работа над основным и, по видимости, более значительным изобретением».

Не стоит думать, что едва Филмер объявил газетчикам о своем замысле, как сразу прославился. Без малого пять лет он скромно трудился на каучуковой фабрике, — видимо, этот неболь-

шой доход оставался главным источником его существования, хотя Филмер и пытался, действуя весьма сумбурно, убедить безразличную публику в том, что он действительно что-то изобрел. На досуге он забрасывал письмами научные журналы и ежедневные газеты, подробно излагая конечную цель своих изысканий и требуя финансовой помощи. Одного этого было бы достаточно, чтобы убирать его письма в долгий ящик. Свободное время он тратил на беседы со швейцарами редакций ведущих лондонских изданий — увы, бесплодные, потому что у этой публики он доверия не вызывал. Он даже пытался увлечь своей идеей военное ведомство. В нашем распоряжении есть секретное письмо, которое генерал-майор Залп направил графу Аксельбантскому. «Этот тип — не от мира сего и вдобавок невежда», — пишет генерал-майор со свойственной ему армейской прямотой и здравомыслием. Заметим, что в итоге японцы получили военное превосходство в этой области, каковое, к нашему вящему неудовольствию, сохраняют по сей день.

И вдруг Филмеру улыбнулась удача: изобретенная им оболочка для сжимающихся баллонов оказалась пригодной для клапанов нового керосинового двигателя, и он получил средства на

создание опытного образца своего аппарата. Он вмиг простился с каучуковой фабрикой, прекратил всю прочую писанину и, сохраняя легкую таинственность, что неизбежно окутывала все его начинания, взялся за дело. Видимо, он руководил изготовлением деталей и складировал их в специальном помещении в Шордиче, а окончательную сборку делали уже в Димчерче, графство Кент. Аппарат получился небольшой и не мог поднять человека, но Филмер весьма остроумно использовал то, что в ту пору называли лучами Маркони. Первый полет этой первой взмывшей в воздух машины состоялся над полями возле Берфорд-Бриджа, недалеко от Хайта, в графстве Кент, и Филмер сам управлял полетом, следуя за аппаратом на специально построенном трехколесном велосипеде с моторчиком.

Полет в общем и целом оказался на диво успешным. На телеге аппарат из Димчерча привезли в Берфорд-Бридж, откуда он взлетел на высоту почти триста футов, устремился вниз и добрался почти до Димчерча, потом сделал разворот, снова взмыл вверх, описал несколько кругов и приземлился без повреждений в поле за гостиницей в Берфорд-Бридже. Во время посадки произошло нечто странное. Филмер соскочил с

велосипеда, перебрался через канаву, пробежал к своему триумфальному детищу ярдов двадцать, неловко вскинул руки — и, бездыханный, рухнул на землю. Тут все вспомнили, что, пока аппарат летал, Филмер был бледен и крайне возбужден; не упади он в обморок, об этом бы забыли. Уже потом, в гостинице, он без видимой причины истерически разрыдался.

Свидетелями полета стали человек двадцать, да и те по большей части были люди невежественные. За подъемом аппарата наблюдал доктор из Нью-Ромни, но спуска он не видел — его лошадь, услышав стрекот велосипедного моторчика, взбрыкнула и выкинула наездника из седла. За полетом также наблюдали из двуколки двое свободных от дежурства кентских полисменов, бакалейщик, который ездил по клиентам в поисках заказов, да еще две дамы на велосипедах — вот и весь список людей, более или менее образованных. Впрочем, были там и два репортера, один из фолкстонской газеты, другой — совсем уж второсортный писака на вольных хлебах (Филмер всегда жаждал достойной рекламы и, зная теперь, как она делается, оплатил его дорожные расходы). Второй был из тех, кто вызывает недоверие даже к самому до-

стоверному событию, его насмешливая статейка появилась в одном популярном журнале. Но, к счастью для Филмера, говорить этот малый умел лучше, чем писать. Со своей историей он пришел к Бэнгхерсту, владельцу «Новой газеты», одному из самых оборотистых и не особо щепетильных дельцов в мире лондонской прессы, и тот сразу учуял запах сенсации. Репортер с нашего горизонта исчезает, несомненно получив сомнительное вознаграждение, а Бэнгхерст собственной персоной — двойной подбородок, серый саржевый костюм, брюшко, солидный голос, уверенные жесты и так далее — появляется в Димчерче, ведомый своим несравненным журналистским нюхом. Обстановку он оценил мгновенно — что произошло и какие дивиденды это событие сулит в будущем.

Едва Бэнгхерст взялся за дело, долгое затворничество Филмера враз принесло плоды. Слава настигла его мгновенно и неотвратимо. Посмотрите подшивки журналов за 1907 год, и вы увидите, с какой невероятной скоростью в те дни можно было обрести признание и взлететь на гребень успеха. В июльских газетах о полетах нет ни слова, перспективы полетов нет, и молчание это красноречиво: подняться в воздух людям

не суждено, это невозможно, да и незачем. Но уже в августе первые полосы газет вместо войны в Юньнани и золотых приисков на севере Гренландии вовсю трубят о полетах, о Филмере, снова о полетах, парашютах, тактических ухищрениях в воздухе, о правительстве Японии, и снова о Филмере, и снова о полетах. Бэнгхерст вкладывает в проект десять тысяч фунтов, потом еще пять и свои хорошо известные, прекрасно оборудованные (но дотоле стоявшие без дела) частные лаборатории и несколько акров земли возле его усадьбы на Серрейских холмах отводит для постройки полноценного летательного аппарата, пообещав взяться за дело с присущими ему рвением и энергией. Тем временем в скрытом от посторонних глаз саду городского особняка Бэнгхерста в Фулеме Филмер раз в неделю предстает перед избранной публикой и показывает ей полеты своего экспериментального образца. Несмотря на гигантские вложения, в убытке «Новая газета» не осталась и предъявила читателям прекрасные фотоснимки первой из подобных демонстраций.

На помощь нам снова приходит переписка между Артуром Хиксом и его другом Вэнсом.

«Я видел Филмера в зените славы, — пишет Хикс не без некоторой зависти, естественной

для поэта, чья популярность осталась в прошлом. — Он причесан, гладко выбрит, одет как на вечернюю лекцию в Королевском институте (новомодный сюртук, лакированные остроносые туфли), и вообще поражает несоответствие: с одной стороны, очкастый гений, с другой — выставленный на всеобщее обозрение оробевший и сконфуженный обормот. Лицо как серое полотно, голова выдвинута вперед, а сам так и рыщет янтарными глазками — кто еще преклоняется перед его славой? Костюм вроде бы сшит по мерке, но сидит на нем так, будто куплен в магазине готового платья. Как и раньше, он невнятно бормочет, но ясно, что превозносит себя до небес; едва Бэнгхерст на минуту заткнется, Филмер тут же вклинивается в группу гостей, и, когда идет по лужайке, видно, что дышит прерывисто и слегка дергается, а белые ручонки стиснуты в кулаки. Он напряжен, ужасно напряжен. Вот вам Величайший Изобретатель Всех Времен — Величайший Изобретатель Всех Времен! Главное, ты ясно понимаешь: ничего подобного он не ждал, даже близко. А Бэнгхерст всегда где-то рядом, управляет своим сокровищем с присущей ему энергией, и клянусь, еще до завершения проекта он притащит к себе весь Лондон! Вчера он запо-

лучил самого премьер-министра и, черт возьми, держался с ним вполне на равных. Только подумать! Филмер! Наш немытый тихоня Филмер — гордость британской науки! Вокруг него так и вьются какие-то герцогини, бойкие красотки из высшего сословия щебечут хорошо поставленными голосами — кстати, вы заметили, что светские дамы нынче на диво любознательны? “Ах, мистер Филмер, как вам это удалось?”

Простолюдину в такой обстановке трудно ответить вразумительно. Можно себе представить, что он там бормотал: “Беззаветно трудишься, мадам, отдаешь всего себя без остатка… ну, не знаю, может, какой-то особый дар свыше?”».

Пожалуй, описание Хикса не противоречит фотографиям в приложении к «Новой газете». На одном снимке машина, снижаясь, скользит в сторону реки, в просвете между вязами видна башня Фулемской церкви, на другом Филмер сидит за пультом управления в окружении богатых и знаменитых, а Бэнгхерст скромно отошел на второй план, но вид у него решительный. Групповой снимок, как ни странно, удался. Почти полностью загораживая Бэнгхерста, на Филмера оценивающе и задумчиво смотрит леди Мэри Элкингхорн, которая, несмотря на свои тридцать восемь лет и

тянущийся за нею шлейф сплетен, на диво хороша и единственная на снимке, кто не смотрит в объектив, запечатлевший всю когорту.

Такова внешняя канва этой истории, но, как всякая внешняя канва, она весьма приблизительна. Что до сути, тут многое по очевидным причинам покрыто мраком. Что Филмер чувствовал в те дни? Таились ли под его новомодным сюртуком неприятные ожидания? Филмер не сходил с первых полос всех газет, от грошовых до самых дорогих, весь мир превозносил его как «Величайшего Изобретателя Всех Времен». Он изобрел настоящий летательный аппарат, и каждый день в мастерских на Серрейских холмах полноценная модель принимала все более законченный вид. Наконец работа была завершена, и мир не сомневался: раз Филмер эту машину придумал и создал, то, понятное дело, именно он (кто же еще?) гордо и радостно сядет за штурвал, именно он поднимет аппарат в воздух и полетит.

Теперь мы хорошо знаем: простые гордость и радость, естественные в свете такого события, не вязались с внутренним миром Филмера, но тогда эта мысль никому не приходила в голову. Между тем дело обстояло именно так. Предстоящий полет наверняка не давал ему покоя днем, а записка,

в которой он жалуется врачу на постоянную бессонницу, дает все основания полагать, что по ночам его тоже донимали опасения. Да, в теории полет безопасен, но ворваться в пустоту, вознестись к небу на тысячу футов — при этой мысли его охватывал тошнотворный страх, ведь это так рискованно, так опасно! Наверное, когда его впервые назвали «Величайшим Изобретателем Всех Времен», он уже представил себе картину этого полета. Под ним — зияющая пропасть. Возможно, в юности он посмотрел вниз с большой высоты либо как-то неудачно упал; возможно, привычка спать не на том боку привела к тому, что по ночам его мучили всем известные кошмары, он куда-то проваливался — и в ужасе просыпался. Этот ужас давил на него всей своей тяжестью, сейчас это можно утверждать с уверенностью.

Видимо, в ранние дни своих изысканий он не думал, что лететь придется ему самому. Построить машину — в этом была его цель, а потом горизонты расширились и вышло так, что именно ему предстоит взвихриться в небо. Он изобретатель и довел свое изобретение до конца. Но летать? Только теперь до него дошло, что за рулем аппарата все видят его. Эта мысль не покидала Филмера, однако он продолжал держаться

бодро, разгуливал по великолепным лабораториям Бэнгхерста, давал интервью, строил из себя светского льва, носил элегантные наряды, хорошо питался, жил в роскошной квартире и наслаждался обильными плодами славы и успеха, которые самым вульгарным образом накрыли его с головой, — и почему, собственно, не получить удовольствие от жизни после стольких лет мытарств и недоедания?

По прошествии времени еженедельные сборища в Фулеме прекратились. Однажды модель ненадолго ослушалась Филмера — либо его попросту отвлек рассыпавшийся в комплиментах архиепископ. Так или иначе, в тот самый момент, когда тот, точь-в-точь как обычно делают архиепископы в книжках, пробирался через длинную цитату на латыни, аппарат вдруг ринулся по крутой траектории вниз и приземлился на Фулем-роуд в трех ярдах от лошади, впряженной в омнибус. На несколько секунд аппарат замер, изумляя окружающих и сам как будто изумленный, потом затрясся и разлетелся на куски, попутно угробив лошадь.

Последних слов из похвалы церковника Филмер уже не слышал. Застыв на месте, он глазел в небо — на свое детище, которое выпорхнуло

из поля его зрения и стало ему неподвластным. Длинные белые пальцы все еще сжимали ставшую ненужной панель. Вслед за ним в небо с несвойственной его сану опаской посмотрел и архиепископ.

Потом раздались треск, крики, с дороги послышался какой-то шум — и Филмер словно очнулся. «Боже!» — прошептал он и опустился на стул.

Почти все стояли, разинув рот, пытаясь увидеть пропавший аппарат, кто-то кинулся в дом.

Но сооружение большой машины это только ускорило. Работами руководил сам Филмер, как всегда неторопливо и размеренно, хотя на душе у него становилось все тревожнее. Прочность и надежность аппарата заботили его до крайности. Крупица сомнения — и он останавливал все работы, требуя заменить сомнительную деталь. Его старший помощник Уилкинсон из-за этих задержек часто негодовал — считал, что в них нет нужды. Бэнгхерст воспевал терпение и уверенность Филмера на страницах «Новой газеты», но в разговорах с женой гневно бранился, а Макэндрю, второй помощник, считал, что Филмер поступает мудро. «Провал нас не устраивает, — говорил Макэндрю. — Он все делает как надо».

При любой возможности Филмер подробно

объяснял Уилкинсону и Макэндрю, как именно работает тот или иной узел его летающей машины, как этой машиной управлять, и, когда пришло время запускать ее в небесные просторы, этим искусством они владели не хуже, а то и лучше самого Филмера.

Думаю, будь Филмер тогда способен разобраться в себе и четко решить вопрос с предстоящим полетом, он бы с легкостью отказался от этого мучительного испытания. Определись он на этот счет — и мог бы много чего предпринять. Например, найти специалиста, который подтвердил бы: в сердце у него шумы, страдает желудок или, скажем, легкие — и лететь ему просто нельзя. Меня искренне удивляет, что ничего этого он не сделал. Можно было просто по-мужски заявить: испытывать машину самолично он не намерен. Но хотя страх и терзал его душу, ясности в мыслях не было. Наверное, в ту пору Филмер уговаривал себя: в решающую минуту он не сдрейфит. Он походил на тяжелобольного человека, который уверяет, что ему слегка не по себе, но скоро он поправится. При этом он все медлил с доделкой машины, и с его попустительства в головах обывателей укоренилась мысль, что поведет ее в полет именно Филмер. Он даже принимал

преждевременные комплименты: вот, мол, какой мужественный человек! Несмотря на эту тайную слабину, его явно приводила в восторг и даже опьяняла связанная с ним шумиха — он наслаждался и даже упивался ею.

Свою лепту внесла и леди Мэри Элкингхорн.

Как это у них началось, Хикс не мог взять в толк. Возможно, сначала она ему слегка «симпатизировала», с присущей ей беспристрастной пристрастностью. Не исключено, что в ее глазах он выглядел заметной фигурой, когда управлял своим бороздившим облака монстром, — было в нем что-то притягательное, хотя Хикс решительно не желал этого признавать. Вероятно, однажды они оказались в необходимом уединении, великий изобретатель набрался необходимого мужества и пробормотал или выпалил нечто личное. Так или иначе, интрига завязалась и быстро стала достоянием света, который в похождениях леди Мэри Элкингхорн всегда видел повод поразвлечься. В итоге все только усложнилось: состояние влюбленности изрядно укрепило в непорочной душе Филмера решимость взглянуть опасности в лицо и не отказываться от полета, хотя в ином случае такой отказ был бы понятным и естественным.

Какие чувства леди Мэри испытывала к Филмеру и что она о нем думала — об этом остается только гадать. В тридцать восемь лет человек уже способен набраться житейской мудрости, но отнюдь не стать мудрецом, и в его голове еще могут возникать некие глянцевые картинки и далекие от реальности фантазии. В глазах леди Мэри Филмер предстал фигурой исполинского масштаба, а это всегда имеет значение; возможности его казались уникальными, по крайней мере, в воздухе. Полеты опытного образца выглядели чем-то сродни магии, а женщины всегда безосновательно полагают: если мужчина в чем-то силен, его силы безграничны. И сомнительные манеры Филмера вкупе с невзрачным внешним обликом обратились в достоинства. Он скромен, терпеть не может показуху, но когда понадобится проявить свои истинные качества, тут все увидят, чего он стоит!

Миссис Бамптон, ныне усопшая, решила высказать леди Мэри свое мнение о Филмере: при всех его достоинствах он не более чем «бирюк».

— Но я таких мужчин еще не встречала, — возразила леди Мэри со спокойной невозмутимостью.

Глянув украдкой на это невозмутимое лицо,

миссис Бамптон решила: свой долг она выполнила и все, что хотела сказать леди Мэри, уже сказала. Но в разговорах с другими она себя сдерживать не стала.

Наконец неумолимо, в соответствии с неспешным ходом времени, наступил тот самый рассвет, тот великий день, в который, как Бэнгхерст обещал своим читателям (а по сути, всему миру), человек поднимется в воздух и покорит пространство. Филмер ждал этого рассвета, ждал его с глубокой ночи, смотрел, как мало-помалу тают звезды и розовато-серый жемчуг уступает место ясному голубому небу, — день обещал быть солнечным и ясным. Он наблюдал все это через окно своей спальни в недавно пристроенном крыле дома Бэнгхерста в стиле Тюдоров. По мере того как из неясной тьмы появлялись формы и очертания предметов, Филмер все яснее видел праздничные приготовления по ту сторону буковой рощицы, у зеленого павильона на краю парка. Три трибуны для зрителей из ближнего круга, новый забор из свежих досок, сараи и мастерские, разноцветные мачты для флагов — пусть развеваются флаги, решил Бэнгхерст, — но пока они просто висели, безвольно поникнув в утреннем безветрии. Посредине возвышалась укрытая брезентом

могучая форма. Эта форма странным и грозным образом предвещала начало новой эры, которая обязательно возникнет, будет развиваться вширь и ввысь, изменит жизнь человечества и выйдет на авансцену во всех его делах, — но Филмер почти наверняка видел эту картину в очень узком и личном свете. Несколько человек слышали, как он вышагивает в предрассветные часы, — огромный дом заполонили гости, хозяин-издатель был большой мастер сжимать пространство. Часов в пять, если не раньше, Филмер вышел из спальни, покинул спящий дом и выбрался в парк, где в лучах солнца уже резвились пташки, белки и лани. Макэндрю, тоже любитель вставать рано, встретил Филмера около аппарата, и они еще раз оглядели его вместе.

Скорее всего, Филмер обошелся без завтрака, вопреки настояниям Бэнгхерста. Едва потянулись гости, Филмер укрылся в своей комнате. Часам к десяти он возник в кустистой аллее, видимо, потому, что увидел там леди Мэри Элкингхорн. Она прогуливалась по парку и беседовала со школьной подругой, миссис Брюис-Крейвен, и, хотя Филмер знаком с нею не был, он присоединился к их паре, и какое-то время они гуляли вместе. Несколько раз, несмотря на острый ум

леди Мэри, повисала напряженная тишина. Миссис Брюис-Крейвен тоже не удавалось сгладить возникавшую неловкость. «Мне показалось, — заметила она потом весьма противоречиво, — что это очень несчастный человек, он хочет что-то сказать, но не может это сделать без посторонней помощи. Но как же ему поможешь, если не знаешь, что у него на уме?»

К половине двенадцатого огороженные места для зрителей были уже заняты, а по подъездной аллее, окаймлявшей парк, бесконечной чередой прибывали экипажи. Лужайка, аллеи и угол парка ближе к дому были усеяны группками разряженных гостей, желавших поглазеть на предстоящий полет. Филмера сопровождали двое: Бэнгхерст, осознававший свою значимость и лучившийся от счастья, и сэр Теодор Хикл, президент Общества воздухоплавателей. Позади шествовала госпожа Бэнгхерст в компании леди Мэри Элкингхорн, Джорджины Хикл и местного священника. Бэнгхерст с победным видом вещал без умолку, а когда ненадолго брал передышку, паузу тут же заполнял Хикл, осыпая Филмера комплиментами. Сам Филмер шагал между ними, не говоря ни слова, разве что от него требовался ответ. Позади них госпожа Бэнгхерст

восхищенно внимала блестящему ораторскому искусству настоятеля со льстивым вниманием к высшему духовному чину, хотя вот уже десять лет восседала на верхних ступенях общественной лестницы. А леди Мэри, явно уверенная в том, что мир вот-вот освободится от иллюзий, смотрела на опущенные плечи «непростого» человека, подобных которому она еще не встречала.

Когда в поле зрения трибун попала эта центральная группа, оттуда послышалось несколько приветственных выкриков, но не так много, да и те были лишены бодрящего энтузиазма. До аппарата оставалось ярдов пятьдесят, и в этот момент Филмер искоса глянул через плечо, прикидывая, далеко ли дамы, и впервые после выхода из дому решился что-то произнести первым. Он оборвал Бэнгхерста, рассуждавшего о Прогрессе, на полуслове, и в голосе его слышалась хрипотца.

— Слушайте, Бэнгхерст… — начал он и тут же смолк.

— Да? — откликнулся Бэнгхерст.

— Хотел сказать… — Он облизнул губы. — Мне немного нездоровится.

Бэнгхерст застыл на месте.

— Что? — изумился он.

— Что-то мне не по себе. — Филмер двинулся

было дальше, но Бэнгхерст не шевельнулся. — Сам не знаю. Может, сейчас пройдет. А если нет… может быть… Макэндрю…

— Вам нездоровится? — переспросил Бэнгхерст и уставился на побледневшего изобретателя. — Дорогая, — обратился он к подошедшей супруге, — Филмер говорит, что ему нездоровится.

— Немного не по себе, — пояснил Филмер, стараясь не встречаться взглядом с леди Мэри. — Может, еще пройдет…

Наступило молчание.

Филмеру показалось, что он один-одинешенек в целом свете.

— Так или иначе, — заявил Бэнгхерст, — полет отменять не будем. Может, присядете где-то на минутку…

— Наверное, толпа на меня так действует, — предположил Филмер.

Снова повисло молчание. Бэнгхерст изучающе посмотрел на Филмера, потом перевел взгляд на публику на трибунах.

— Как не вовремя, — заметил сэр Теодор Хикл. — Но все-таки… мне кажется… ваши помощники… Но если вы не в состоянии и внутренний голос…

— Думаю, что мистер Филмер и мысли такой не

допускает, — вмешалась леди Мэри.

— Но если мистер Филмер нервничает… как он полетит, это просто опасно… — Хикл кашлянул.

— Вот и хорошо, что опасно, — заявила леди Мэри, решив, что ясно изложила свою, да и Филмера, точку зрения.

Филмера раздирали противоречия.

— Я чувствую, что должен лететь, — заключил он, глядя в землю. Потом поднял голову и встретился глазами с леди Мэри. — И я хочу полететь, — добавил он и улыбнулся ей еле заметной улыбкой. Затем повернулся к Бэнгхерсту: — Мне бы посидеть где-нибудь в тенечке, подальше от толпы…

Бэнгхерст наконец начал понимать, что происходит.

— Идемте в мою комнатку в зеленом павильоне, — предложил он. — Там прохладно.

И он взял Филмера под руку.

Филмер снова повернулся к леди Мэри Элкингхорн.

— Через пять минут буду как новенький, — пообещал он. — Вы уж меня простите…

Леди Мэри Элкингхорн улыбнулась ему.

— Кто же мог ожидать такое… — пробормотал он, обращаясь к Хиклу, и ушел, увлекаемый Бэн-

гхерстом.

Остальные смотрели им вслед.

— Он такой ранимый, — сказала леди Мэри.

— Безусловно, крайне нервный тип личности, — поддержал ее священник, у которого была одна слабость: ему казалось, что весь мир, за исключением женатых церковников с множеством детей, состоит из одних «неврастеников».

— Разумеется, — сказал Хикл, — изобретателю совсем не обязательно лететь самому…

— Как он может не лететь? — удивилась леди Мэри с тенью презрения в голосе.

— Будет некстати, если он заболеет, — сурово вставила миссис Бэнгхерст.

— Не заболеет, — заверила ее леди Мэри. Кто, как не она, вселил решимость в Филмера?

— …Все будет хорошо, — успокаивал Бэнгхерст Филмера по дороге к павильону. — Вам нужен глоток коньяка, все как рукой снимет. Кому лететь, как не вам? Куда же это годится, если вместо вас полетит другой…

— Я и сам хочу лететь, — встрепенулся Филмер. — Сейчас соберусь с силами. Можно сказать, я уже готов… Нет! Сначала глотну коньяку.

Бэнгхерст завел его в небольшую комнату, взял со стола пустой графин и вышел, чтобы попол-

нить запасы. Его не было пять минут.

Что можно сказать об этих пяти минутах? Изредка лицо Филмера могли видеть зрители восточной части трибун, оно прижималось к оконному стеклу, а потом вновь исчезало. Бэнгхерст скрылся где-то за главной трибуной, что-то громко скомандовал, и вот уже к павильону с подносом шел дворецкий.

Свое последнее решение Филмер принял в уютной комнатке с простой зеленой мебелью и старинной конторкой — в быту Бэнгхерст обходился без излишеств. На стенах висело несколько маленьких гравюр с картин Морленда, полка с книгами. Но вышло так, что на столе Бэнгхерст оставил ружьецо, из которого забавы ради постреливал грачей, а на каминной полке лежала жестяная коробка с патронами, их там оставалось три или четыре. Филмер вышагивал по комнате, мучимый неразрешимой дилеммой, и остановился перед аккуратным ружьем, лежавшим поперек блокнота, а потом и перед коробкой с четкой красной этикеткой: «22-й калибр. Длинный».

Видимо, решение он принял мгновенно.

Раздался выстрел, но никто не связал его с Филмером, хотя, если стрелять в замкнутом пространстве, хлопок наверняка прозвучит громко,

к тому же в бильярдной, отделенной от Филмера тонкой оштукатуренной перегородкой, находилось несколько человек. Но когда дворецкий Бэнгхерста открыл дверь, он тут же учуял кислый запах порохового газа и, по его словам, сразу все понял. Ибо прислуга Бэнгхерста и прежде догадывалась, какие мысли бродят в голове Филмера.

Весь этот тяжелый день Бэнгхерст держался как, на его взгляд, подобает человеку, столкнувшемуся с фатальной катастрофой, а его гости, насколько возможно, деликатно обходили молчанием очевидный факт: покойный самым искусным и изысканным образом посадил Бэнгхерста в лужу. Хикс рассказал мне, что публика внутри ограды вмиг рассеялась, «словно на горизонте возник кредитор», а в поезде на Лондон, надо полагать, все, как один, заранее знали: летать человеку не дано. «А все же надо было ему попробовать, — судачили многие, — раз дело зашло так далеко».

Вечером, когда почти все разъехались, Бэнгхерст рухнул подобно колоссу на глиняных ногах. Мне сказали, что он рыдал (наверняка это было впечатляющее зрелище), кричал, что Филмер погубил его жизнь, и предложил Макэндрю купить весь летательный аппарат за полкроны. Сделка

состоялась, Макэндрю промямлил: «А я как раз подумал…» — но тут же умолк.

На следующее утро газеты всего мира на все лады склоняли имя Филмера, впервые превзойдя в этом «Новую газету». Прочие властители дум на все лады — в зависимости от их статуса и степени конкуренции с «Новой газетой» — вещали о «полном провале новой летательной машины» и «самоубийстве шарлатана». Однако в Северном Сюррее эту новость затмили необычные события в небесах.

Всю ночь Уилкинсон и Макэндрю вели жаркий спор: что же все-таки толкнуло их босса на такое скоропалительное решение?

— Конечно, бедняга просто-напросто струсил, но назвать его шарлатаном язык не поворачивается, — сказал Макэндрю. — Он настоящий ученый, и я готов это доказать на практике, мистер Уилкинсон, главное, чтобы без посторонних глаз. Экспериментам на публике я не доверяю.

И вот, пока весь мир читал о безоговорочном провале нового летательного аппарата, Макэндрю взмыл в воздух и принялся совершать над Эпсомом и Уимблдоном весьма размашистые и эффектные пируэты. Что до Бэнгхерста, в нем вновь пробудились надежда и энергия, и, нимало не заботясь об общественной безопасности и интересах местных властей, он помчался к месту события на машине прямо в пижаме (утром, подняв занавеску в спальне, он своими глазами увидел взлет), прихватив с собой, в числе прочего, кинокамеру, которую, как потом оказалось, заклинило. А в зеленом павильоне, на бильярдном столе, под простыней лежал Филмер.

1901

Правда о Пайкрафте

Он сидит в каких-нибудь десяти шагах от меня. Стоит мне только повернуть голову, и я вижу его. И когда наши взгляды сталкиваются — а это случается постоянно, — в его взгляде…

Это мольба, да еще с оттенком подозрительности.

Черт бы побрал эту подозрительность! Если б я хотел порассказать о нем, я б уж давным-давно это сделал. Но ведь я молчу, молчу, — так пусть бы он и жил себе с легким сердцем. Как будто может быть что-нибудь легкое в такой туше! Нет, кто поверит мне, вздумай я рассказать?

Бедняга Пайкрафт! Огромная, нескладная, живая масса жира. Самый толстый клубмен во всем Лондоне.

Он сидит за одним из клубных столиков в глубокой нише у камина и что-то уплетает. Что именно? Я осторожно оглядываюсь и ловлю его в тот миг, как он проворно приканчивает горячий пирожок с маслом, а сам впился в меня взглядом. Да, черт его побери, буквально впился в меня взглядом!

Ну, Пайкрафт, с меня достаточно. Раз ты такой жалкий трус, раз ты ведешь себя, словно не полагаешься на мою порядочность, — получай! Прямо под взглядом твоих заплывших глаз я пишу все напрямик — всю чистую правду о Пайкрафте. О человеке, которому я помог, которого я прикрывал и который отплатил мне тем, что сделал для меня пребывание в клубе буквально несносным. И все из-за этой своей слезливой мольбы, из-за вечного немого призыва: «Не выдавай!»

И затем, почему он вечно ест?

Итак, я пишу правду, всю правду целиком и ничего, кроме правды!

Пайкрафт! Я познакомился с ним в этой самой комнате. Я тогда только что стал членом клуба, был молод и нервничал, и он заметил это. Я сидел совершенно один, втайне мечтая иметь побольше знакомых в клубе. И вдруг подходит он — этакая перекатывающаяся масса, сплошные подбородки и живот, — хрюкнул что-то, плюхнулся в кресло возле меня, долго сопел, усаживаясь, потом так же долго возился со спичками, зажег наконец сигару и тогда только обратился ко мне. Я уж не помню, с чего он начал, кажется что-то о спичках, которые никак не зажигаются, а сам все подзывал одного за другим проходивших мимо лакеев

и им тоже толковал об этих спичках тонким, пискливым голосом. Но именно так завязалось наше знакомство.

Он болтал о всякой всячине и, наконец, перешел к спорту. А отсюда — к моему сложению и цвету лица. «Вы, должно быть, хорошо играете в крикет», — заключил он. Не спорю, я действительно худощав, меня, пожалуй, можно даже назвать тощим, и верно, что цвет кожи у меня темноватый, однако… нет, я не стыжусь своей прабабушки-индуски, но все-таки мне не нравится, когда первый встречный напоминает мне о ней намеками на мою внешность. Так что я с самого начала невзлюбил Пайкрафта.

Но он завел речь обо мне только для того, чтобы тут же перейти к собственной особе.

— Я уверен, — сказал он, — что вы не больше моего занимаетесь гимнастикой и, по всей вероятности, едите не меньше. (Как все толстяки, он воображал, что ничего не ест.) И тем не менее, — он кисло улыбнулся, — мы совсем непохожи друг на друга.

И тут он пустился бесконечно разглагольствовать о своем ожирении: что он предпринимает против своего ожирения, что собирается предпринять против своего ожирения, что ему советовали

предпринять против ожирения и что, как он слышал, предпринимают другие, страдающие таким же ожирением, как и он. Априори считается, сказал он, что проблема питания в основном сводится к диете, а в проблеме усвоения организмом тех или иных веществ основную роль играют медикаменты. Это действовало на меня удручающе. Его болтовня душила меня. Мне стало казаться, что я сам распухаю, слушая его.

Изредка такое можно выдержать, когда сидишь в клубе, но наступил момент, когда моей выдержке пришел конец. Пайкрафт совершенно завладел мною. Стоило мне войти в клуб, как он тут же устремлялся ко мне. А иногда он даже усаживался и пыхтел возле меня, пока я завтракал. Мне казалось порой, что он положительно цепляется за меня. Он был надоедлив, прилипчив, но уж не настолько туп, чтобы ограничиться только моим обществом; нет, с самого начала я заметил нечто в его поведении — ну, словно он догадывался, что я мог бы… словно видел во мне слабую, единственную надежду на спасение, какой не видел ни в ком другом.

— Я готов отдать все на свете, только бы сбавить в весе, — начинал он обычно, — все на свете. — Он таращил на меня глаза из-за своих обширных

щек и отдувался.

Бедняга Пайкрафт! Он только что позвонил лакею — несомненно, чтоб заказать вторую порцию пирожков.

И вот в один прекрасный день он открыл свои карты.

— Наша фармакопея, — сказал он, — наша западная фармакопея — отнюдь не последнее слово медицины. Вот на Востоке, мне говорили…

Он оборвал фразу и выпучил глаза. Мне почудилось, будто я стою перед аквариумом.

И вдруг я разозлился на него.

— Послушайте-ка, — сказал я. — Кто разболтал вам о рецептах моей прабабушки?

— Видите ли… — пробовал он уклониться.

— Вот уже целую неделю, всякий раз, как мы встречаемся, — а мы встречаемся довольно-таки часто, — вы не перестаете весьма прозрачно намекать на мою маленькую семейную тайну.

— Ну, — сказал он, — раз уж дело пошло начистоту, — да, признаюсь. Мне сообщил это…

— Паттисон?

— Не совсем, — промямлил он. И я понял, что он лжет. — То есть… да.

— Паттисон, — заявил я, — принял это средство на свой страх и риск.

Он сложил губы сердечком и поклонился.

— Рецепты моей прабабушки, — продолжал я, — весьма своеобразны. Мой отец почти взял с меня слово…

— Но он не сделал этого?

— Нет. Но он предупредил меня. Однажды он сам попробовал одно снадобье…

— Ах… Но, как вы полагаете… А что, если… что, если среди этих рецептов есть…

— Это очень странные документы, — настаивал я. — Даже самый их запах… Нет, это невозможно!

Но, раз отважившись на такой шаг, Пайкрафт твердо решил добиться своего. Я всегда избегал подвергать его терпение излишнему испытанию. Чего доброго, накинется вдруг и просто раздавит. Признаюсь, я проявил слабость. Но он заставил меня наконец произнести: «Ну что ж, рискните!»

История с Паттисоном, о которой я упомянул, была совершенно в другом роде. В чем именно она заключалась, отношения к настоящему рассказу не имеет, но во всяком случае я знал, что тот рецепт, который я дал ему тогда, был вполне безвреден. Об остальных я не был так осведомлен и в общем был весьма склонен сомневаться в их безопасности.

Но даже если Пайкрафт отравится…

Сознаюсь, идея отравления Пайкрафта показалась мне заманчивой.

В тот же вечер я достал из сейфа затейливый, странно пахнущий ящичек сандалового дерева и просмотрел шелестящие кожаные лоскутки. Джентльмен, писавший эти рецепты для моей прабабушки, имел, очевидно, слабость к кожам самых разнообразных сортов, и почерк у него был неразборчив до крайности. Многое в этих записях я просто не понял и ни в одной из них не разобрался до конца, хотя в моей семье, с давних пор связанной с гражданской службой в Индии, из рода в род передается знание индусского языка. Но я довольно быстро разыскал тот рецепт, который, как я знал, должен был тут находиться, и некоторое время сидел на полу у сейфа, рассматривая странный клочок кожи.

— Послушайте, — обратился я к Пайкрафту на следующий день, вырывая рецепт из его жадных рук. — Насколько я разобрал, это средство для потери веса.

— Ах!.. — простонал Пайкрафт.

— Я не вполне уверен, но, кажется, я не ошибаюсь. И если хотите послушать моего совета, не пробуйте его. Потому что, знаете ли, желая вам угодить, Пайкрафт, я черню репутацию моей

семьи, ведь мои предки по этой линии, насколько мне известно, довольно-таки таинственная публика. Понятно?

— Дайте мне его, — сказал Пайкрафт.

Я откинулся на спинку стула и попробовал дать волю воображению, но безуспешно.

— Скажите, бога ради, Пайкрафт, вы представляете себе, как будете выглядеть, когда похудеете?

Но урезонить его было невозможно. Я взял с него слово, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не заикнется больше в моем присутствии о своем отвратительном ожирении — никогда, а затем вручил ему кожаный лоскуток.

— Это мерзкое снадобье.

— Ничего, — ответил он и взял рецепт.

И вдруг Пайкрафт вытаращил глаза.

— Но… Но… — запнулся он.

Он только что обнаружил, что рецепт написан не по-английски.

— Я переведу его вам, как сумею, — сказал я.

Я сделал все, что мог. После этого мы не разговаривали две недели. Едва он приближался ко мне, я хмурился и знаком предлагал ему удалиться, и он соблюдал наш уговор, но к концу второй недели он был так же толст, как и прежде. И наконец он не выдержал.

— Я должен с вами поговорить, — обратился он ко мне. — Это нечестно. Тут что-то не так. Никаких результатов. Я начинаю сомневаться в знаниях вашей прабабушки.

— Где рецепт?

Он осторожно вытащил его из бумажника.

Я пробежал рецепт глазами.

— Вы взяли тухлое яйцо?

— Нет. А разве это обязательно?

— Это само собой разумеется во всех рецептах моей бедной дорогой прабабушки: если качество составных элементов не указано, следует брать наихудшие. Она признавала только крутые меры. Но кое-что из составленных частей может быть заменено, тут даны варианты. Вы достали вполне свежий яд гремучей змеи?

— Я достал гремучую змею у Джемрэча. Она стоила… она стоила…

— Это меня не касается. А вот этот последний ингредиент…

— Я знаю человека, который…

— Отлично. Так. Ну я напишу вам эти варианты. Насколько я знаю индусский, это снадобье одно из самых отвратительных. Между прочим, «собака» здесь может означать «пария».

В течение месяца после этого я постоянно видел

Пайкрафта в клубе, все такого же толстого и озабоченного. Он продолжал блюсти наш договор, лишь иногда нарушая дух его унылым покачиванием головы. Затем однажды, уже выходя из клуба, он снова начал:

— Ваша прабабушка…

— Ни слова о ней, — предостерег я, и он умолк. Я уже вообразил, что Пайкрафт бросил свои попытки, и даже как-то видел, как он рассказывал о своем ожирении трем новичкам в клубе, словно пустился на поиски новых рецептов. И тут совершенно неожиданно я получил его телеграмму.

— Мистер Формалин! — проорал у меня над ухом мальчуган-посыльный. Я принял телеграмму и тут же ее распечатал.

«Ради всего святого приезжайте. Пайкрафт».

— Гм, — протянул я. Сказать по совести, я был чрезвычайно доволен, что репутация моей прабабушки, очевидно, реабилитирована, и позавтракал в отличнейшем расположении духа.

У швейцара я узнал адрес Пайкрафта. Пайкрафт проживал в верхнем этаже дома на Блумсбери, и я отправился туда, как только допил кофе с ликером. Я ушел, даже не выкурив сигары.

— Мистер Пайкрафт? — осведомился я в подъезде.

Мне сказали, что мистер Пайкрафт болен: не выходил уже два дня.

— Он ожидает меня, — сказал я. И меня проводили наверх.

Я позвонил у двери с маленьким решетчатым окном, выходящей на площадку.

— Напрасно он затеял все это, — сказал я про себя. — Кто ест по-свински, пусть и выглядит, как свинья.

Какая-то особа вполне почтенного вида, с озабоченным лицом и в чепчике, сбившемся набок, пытливо оглядела меня из окна.

Я назвал себя, и она неуверенно открыла дверь.

— Ну-с? — спросил я, пока мы стояли в дверях квартиры Пайкрафта.

— Он сказал, что пусть приходит, если, значит, вы придете, — проговорила она, не проявляя ни малейшего намерения провести меня куда бы то ни было. И затем с загадочным видом: — Он заперся, сэр.

— Заперся?

— Заперся еще со вчерашнего утра и никого к себе не пускает, сэр. И нет-нет да как начнет браниться!.. Ах боже ты мой!

Я уставился на дверь, на которую указывали

ее взгляды.

— Заперся вон там?

— Да, сэр.

— Что с ним стряслось?

Она печально покачала головой:

— Он все приказывает, чтоб ему подавали побольше кушаний. Да потяжелей все просит. Я уж достаю, что можно. И свинину-то, и пудинг на сале, и сосиски, и горячий хлеб, и все такое. Оставлю еду у дверей, а сама ухожу. Сэр, он столько ест, что прямо страх берет.

За дверью послышался пискливый возглас:

— Это вы, Формалин?

— Это вы, Пайкрафт? — заорал я, подошел к двери и постучал.

— Скажите ей, пусть она уйдет.

Я исполнил поручение.

Затем послышалось какое-то странное постукивание по двери, как будто кто-то в темноте нащупывал дверную ручку, и затем знакомое пыхтение.

— Все в порядке, — сказал я, — она ушла.

Но дверь еще долго не открывалась.

Я услышал, как повернулся ключ. Затем голос Пайкрафта произнес:

— Войдите.

Я повернул ручку и открыл дверь. Разумеется, я ожидал увидеть Пайкрафта.

Но, представьте себе, его там не было!

В жизни своей не испытывал я большего изумления. Моему взору предстала гостиная в неописуемом беспорядке, — среди книг и письменных принадлежностей расшвыряны тарелки, несколько стульев опрокинуто, но Пайкрафта…

— Все в порядке, дружище; заприте дверь, — снова послышался голос Пайкрафта. И тут я его обнаружил.

Он был наверху, у самого карниза над косяком двери, словно кто-то приклеил его к потолку. На лице его читалась тревога и раздражение. Он пыхтел и ворочался.

— Заприте дверь, — повторил он. — Если эта женщина увидит…

Я запер дверь и уставился на Пайкрафта.

— Если что-нибудь сдвинется и вы слетите вниз, вы сломаете себе шею, Пайкрафт, — сказал я.

— Если б я это мог, — пропыхтел он.

— Человек вашего возраста и веса, и чтоб занимался детской гимнастикой…

— Перестаньте, — простонал он, и лицо его приняло мученическое выражение. — Ваша проклятая прабабушка…

— Осторожнее! — предостерег я.

— Я вам сейчас все объясню, — и он опять принялся ерзать под потолком.

— На чем вы там держитесь, черт возьми?

И вдруг я понял, что он ни на чем не держится, что он просто парит под потолком, как оторвавшийся воздушный шар. Он опять начал ерзать, пытаясь отстать от потолка и спуститься по стене ко мне.

— Это все ваш рецепт, — сказал он, отдуваясь. — Ваша пра…

— Полегче! — крикнул я.

Он несколько небрежно ухватился за раму гравюры, и она шлепнулась на диван, а Пайкрафт снова взлетел под потолок. Бедняга стукнулся, и тут я сообразил, почему он весь, на всех наиболее выдающихся выпуклостях тела, перепачкан мелом. Он начал спуск вторично, держась за выступ камина, и на этот раз дело пошло успешнее.

Зрелище было поистине необычайное — огромный, апоплексического вида толстяк спускается с потолка на пол.

— Это ваше средство… — проговорил он. — Подействовало лучше, чем нужно.

— То есть?

— Потеря веса, почти полная.

И тут я, разумеется, понял.

— Клянусь богом, Пайкрафт, — сказал я. — Вам нужно было средство от ожирения. А вы называли это весом. Ну да, вы называли это весом.

Признаться, я был в совершенном восторге. Пайкрафт положительно нравился мне в эту минуту.

— Дайте-ка я вам помогу, — предложил я, взял его за руку и стянул вниз. Он дрыгал ногами, стараясь найти опору. Он напоминал мне флаг в ветреную погоду.

— Вон тот стол, — показал он мне, — он из целого красного дерева. Очень тяжелый. Если вам удастся засунуть меня под него…

Я так и сделал, и там он покачивался, как привязной аэростат, а я стоял на коврике у камина и беседовал с ним.

Я закурил сигару.

— Расскажите, что случилось.

— Я принял его.

— Каково на вкус?

— Омерзительно.

Вероятно, они все такие. Взять ли их составные элементы, или все снадобье в целом, или его возможное действие — почти все рецепты моей прабабки кажутся мне по меньшей мере несо-

блазнительными. Я бы лично…

— Сперва я попробовал один глоток…

— Ну?

— Уже через час я почувствовал себя легче. Я решил принять все снадобье.

— Милейший Пайкрафт!..

— Я зажал нос, — объяснил он, — и становился все легче и легче… и ничего не мог с этим поделать.

Внезапно он дал волю страстям.

— Скажите на милость, ну что я должен теперь делать? — запищал он.

— Одно совершенно очевидно, — сказал я, — это то, чего вы не должны делать. Если вы выйдете наружу, вы полетите все выше и выше… — И я сделал соответствующий жест рукой. — Придется посылать Сантос Дюмона, чтобы вернуть вас на землю.

— Может, действие снадобья прекратится?

Я покачал головой:

— На это лучше не рассчитывать.

И тут опять страсти его прорвались наружу, он поддал ногой близстоящие стулья и застучал кулаками по полу. Он вел себя, как это и следовало ожидать от такого огромного, тучного эгоиста при подобных затруднительных обсто-

ятельствах, — иначе говоря, очень скверно. Он отзывался обо мне и моей прабабушке без малейшего уважения.

— Я не просил вас принимать это лекарство, — заметил я.

И, великодушно игнорируя оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в кресло и начал беседовать с ним рассудительно и дружески.

Я указал ему, что он сам навлек на себя беду и что тут даже можно усмотреть как бы некую высшую справедливость. Он слишком много ел. Тут он стал возражать, и некоторое время мы спорили об этом.

Он становился шумлив и буен, и я отказался от мысли рассматривать случившееся с ним с этой точки зрения.

— Но кроме того, — продолжал я, — вы погрешили против истины. Вы называли это не ожирением, что было бы справедливо и бесславно, но весом. Вы…

Он прервал меня, заявив, что признает все это. Но как быть теперь?

Я предложил ему приспособиться к новому состоянию. Тут мы подошли к делу практически. Я высказал предположение, что ему нетрудно будет научиться ходить по потолку на руках.

— Я же не могу спать, — пожаловался он.

Ну, тут особых затруднений не было. Вполне возможно, пояснил я, прикрепить к потолку пружинный матрац, подвязать к нему тесемками простыню и подушку, а одеяло, вторую простыню и покрывало пристегивать сбоку на пуговицах. Я посоветовал ему довериться экономке, и после некоторых пререканий он согласился и на это. (Было прямо-таки наслаждением смотреть, как впоследствии эта славная леди с самым невозмутимым видом проделывала все эти изумительные переустройства.) Можно принести лесенку из библиотеки и ставить блюда на верхушку книжного шкафа. Кроме того, нам пришел в голову остроумный способ спускаться по мере надобности вниз: просто надо на верхних полках разложить тома Британской энциклопедии (десятое издание). Стоит только взять под мышку два-три тома, и вот он уже спускается вниз. И мы оба сошлись на том, что по низу вдоль стен следует сделать железные поручни, чтоб держаться за них, когда явится необходимость действовать в комнате на низком уровне.

Обсуждая все эти детали, я заметил, что отношусь к делу с искренним интересом. Я сам пошел к экономке и раскрыл ей истину. Почти

без посторонней помощи я прикрепил к потолку перевернутую кровать. Я провел целых два дня в его квартире. Я очень ловок и предприимчив, когда у меня в руках отвертка и клещи, и я сделал множество оригинальных приспособлений для Пайкрафта, — переделал проводку, чтобы он мог доставать до звонка, ввернул все лампочки так, чтоб они светили вверх, и тому подобное. Вся процедура занимала меня чрезвычайно, и было так приятно думать о Пайкрафте, как о большой жирной мухе, которая переползает по потолку и по дверным косякам из комнаты в комнату, и что он уж никогда, никогда, никогда больше не появится в клубе…

И тут, знаете, моя роковая изобретательность погубила меня. Я сидел у его камина, попивая его виски, а он в своем излюбленном углу над дверью приколачивал к потолку турецкий ковер, как вдруг меня осенила идея.

— Клянусь богом, Пайкрафт, — воскликнул я, — все это совершенно лишнее!

И, не успев еще обдумать все последствия, я выпалил мою идею.

— Нижнее белье из листового свинца, — объявил я. И непоправимое свершилось.

Пайкрафт принял мой проект почти со сле-

зами.

— Снова быть как все… ходить по полу.

Я изложил ему весь замысел, прежде чем понял сам, чем мне это грозит.

— Купите листового свинца, понаделайте из него дисков, нашейте их на нижнее белье, сколько потребуется. Сделайте себе башмаки со свинцовыми подошвами, носите портфель, набитый свинцом, — и все будет в порядке! Вместо того чтоб сидеть тут, как в тюрьме, вы снова сможете показаться на свет божий; вы сможете путешествовать.

Еще более счастливая мысль пришла мне в голову:

— И вам нечего бояться кораблекрушений. Вам достаточно будет выскользнуть из некоторых ваших свинцовых одеяний, взять в руку необходимый багаж и взлететь на воздух…

От избытка чувств он выронил молоток, который пролетел на волосок от моей головы.

— Клянусь богом, — сказал он. — Ведь я же смогу бывать в клубе.

Меня словно ошпарило.

— Д-да… клянусь богом… — пролепетал я. — Да. Конечно — и в клубе.

Так он и сделал. И делает поныне. Вот он сидит

позади меня и — клянусь жизнью — уплетает уже третью порцию пирожков с маслом. И ни одна душа в мире — кроме меня и его экономки — не знает, что фактически он ничего не весит. Что это просто нелепый жевательный аппарат, мыльный пузырь, *niente, nefas* самый незначительный из людей. Вот он сидит и караулит, когда я кончу писать. Затем, если это ему удастся, загородит мне путь, устремится ко мне…

Он опять начнет рассказывать мне обо всем. Что он чувствует. И чего он не чувствует. И как иногда у него возникает надежда, что «это» понемножку проходит. И обязательно ввернет этаким заискивающим, приторным голоском:

— Будем держать в секрете, а? Ведь если кто узнает — какой стыд! Меня еще, пожалуй, сочтут за дурака. Ползает по потолку и тому подобное…

А теперь — как бы улизнуть от Пайкрафта, который занимает исключительно выгодную стратегическую позицию между мной и выходной дверью…

1903

Игрок в крокет

1. Крокетист представляется читателю

Мне пришлось беседовать с двумя необычными субъектами, из-за которых я утратил душевный покой. Едва ли будет преувеличением сказать, что они заразили меня чрезвычайно странными и неприятными мыслями. Мне хочется поделиться с вами тем, что я от них услышал, мне это нужно самому, чтобы как-то разобраться в путанице своих переживаний. То, что они рассказали, фантастично и несуразно, но если я изложу это на бумаге, у меня будет легче на душе. Более того, мне хочется изложить все это связно, по порядку — тогда, быть может, кто-нибудь из доброжелательных читателей сможет убедить меня, что история, рассказанная мне этими двумя субъектами, — сплошная выдумка.

Это было нечто вроде истории о привидениях. Но история не совсем обычная. Тут гораздо больше реалистических подробностей, поэтому она не забывается и волнует несравненно больше, чем прочие россказни такого рода. Это не сказка о каком-нибудь доме с привидениями, или о

кладбище с призраками, или о чем-нибудь столь же ничтожном. Привидение, о котором мне рассказали, было куда страшнее: под его властью находилась целая округа; началось со смутного беспокойства, которое сменилось страхом; мало-помалу это ощущение становилось все сильней и неотвязней. Оно непрерывно росло. И наконец перешло в сплошной, беспросветный ужас. Не по душе мне эти духи, которые распространяются и хотят заполонить все вокруг, пусть даже это одно воображение. Но, пожалуй, лучше мне начать сначала и рассказать все по порядку, как я это слышал сам.

Прежде всего несколько слов о себе. Конечно, я предпочел бы не говорить о себе, но без этого вы вряд ли поймете мою роль. Я, пожалуй, один из лучших крокетистов нашего времени и могу сказать это без ложной скромности. Кроме того, я первоклассный стрелок из лука. Тем и другим может быть лишь человек дисциплинированный и уравновешенный. Многие считают меня — я это знаю — несколько смешным и изнеженным по той причине, что моя любимая игра — крокет; это говорят у меня за спиной, а иногда и прямо в глаза; и, должен сказать, бывали минуты, когда я сам готов был с этим согласиться. Однако

многие меня любят, все ласково называют меня Джорджи, и в общем я себе нравлюсь. Каких только людей нет на свете, и я не нахожу нужным прикидываться человеком обычным, когда в действительности я не таков. В определенном смысле я, без сомнения, неженка; однако я умею сохранять хладнокровие и присутствие духа во время игры, и деревянный шар у меня похож на дрессированное животное. А на теннисном корте я привожу в слепую ярость самых свирепых игроков. К тому же я не хуже любого профессионала проделываю фокусы, требующие ловкости рук, известной смелости и полного самообладания.

В сущности говоря, многие спортивные знаменитости, рекордсмены, азартные игроки и прочие гораздо больше мне сродни, чем они могли бы подумать. В их притязаниях на мужественность немало лицемерия. В глубине души они такие же смирные, ручные зверьки, как и я. Они прячутся от жизни. Я допускаю, что хоккей больше сродни гладиаторским боям, чем мой излюбленный спорт, что авиация и автомобилизм представляют больше опасностей, а карточная игра больше волнует; но, по-моему, все эти виды спорта так же далеки от действительности, как мой крокет. Ведь риск лежит за пределами действительности.

И эти люди, подобно мне, всю жизнь занимаются делом безобидным и бесплодным.

Нельзя не признать, что моя жизнь была исключительно бедна событиями. Я родился слишком поздно, чтобы принять участие в мировой войне, и жил спокойно, окруженный комфортом. Воспитывала меня тетка, сестра отца, мисс Фробишер — та самая мисс Фробишер, активная участница всемирного женского гуманистического движения, и лишь взрослым я понял, что воспитание мое было — как это ни парадоксально звучит — в высшей степени банальным. Моя жизнь состояла из запретов и ограничений. Меня приучили сохранять спокойствие, быть учтивым и не выказывать своих чувств при всякого рода неожиданностях. А главное — считаться только с тем, что общепризнано, и соблюдать приличия.

Тетка взяла меня к себе трехлетним ребенком, когда мои родители разошлись, и с той поры уже не расставалась со мной. Эта женщина, надо откровенно сказать, глубоко ненавидит и презирает все, что связано со взаимоотношениями между мужчиной и женщиной; дурной поступок моих родителей — газеты в ту пору печатали подробные отчеты о бракоразводных процессах, — а также некоторые подробности этого дела

до крайности ее шокировали. Когда я поступил в школу в Гартоне, она поселилась поблизости, чтобы я мог жить дома, так же поступила она и позже, когда я учился в Кибле. Вероятно, у меня от природы были задатки неженки, и благодаря такому воспитанию они развивались.

У меня мягкие руки и слабая воля. Я предпочитаю избегать важных решений. Тетушка никогда со мной не расставалась, она на каждом шагу окружала меня безграничной материнской любовью, избаловала меня и не приучила к самостоятельности. Впрочем, я не осуждаю ее и даже не слишком об этом жалею. Такими уж мы созданы. Она была богата, всю жизнь могла делать что хотела и помыкать другими, я благодаря ей чувствовал себя обеспеченным и мог ни о чем не заботиться. До поры до времени нам жилось легко. Подобно большинству знатных и богатых людей, мы принимали как должное и свое привилегированное положение, и подобострастие слуг, и всеобщую благосклонность. Вероятно, многие сотни тысяч людей, так же обеспеченных материальными благами, как мы, принимают это как нечто само собою разумеющееся.

«Чем бы нам заняться? — спрашиваем мы. — Куда бы поехать?» Мы вольны поступать, как нам

нравится. Мы сливки человечества.

У нас собственный дом на Аппер-Бимиш-стрит, в скромном местечке в Хэмпшире, и мы частенько путешествуем. Моя тетушка, как известно многим, женщина весьма темпераментная — конечно, отнюдь не в предосудительном смысле, — и порой мы воспламеняемся энтузиазмом ко всемирному женскому гуманистическому движению (я, впрочем, никогда толком не понимал, что это за движение) и разъезжаем по всему земному шару, где только есть в гостиницах номера с ванной, на чем тетка всегда настаивала, «устанавливая контакты» до тех пор, пока у тетушки не произойдет каких-нибудь неприятностей на почве выборов в комитет; после этого на год или на два мы забываем о всемирном женском гуманистическом движении и гоняем шары по крокетным площадкам в обществе чемпионов или же завоевываем почетные значки искусной стрельбой из лука. Мы оба очень сильны в этом искусстве, и художник Уилмердингс даже изобразил мою тетушку в образе Дианы. Но особенно сильны мы в крокете. Мы, наверное, были бы чемпионами, если бы не гнушались рекламы и вульгарности. Кроме того, мы неплохо играем в теннис, а в гольф, пожалуй, похуже; но в теннисе

теперь разбираются решительно все, так что мы не любим, когда зрители смотрят на нашу игру; гольф же дает возможность общаться с самыми разнообразными людьми. Иногда мы просто отдыхаем. Недавно мы отдыхали в Ле Нупэ после крайне неприятного съезда представительниц женского гуманистического движения в Чикаго. (Чем меньше мы скажем об этих американских делегатках, тем лучше; но тетка моя вполне им под стать.)

Полагаю, что теперь вы получили достаточно ясное представление обо мне и о моем образе жизни. В Ле Нупэ были две прекрасные площадки для гольфа, и, кроме того, мы нашли отличного секретаря-стенографистку, которая вела обширную корреспонденцию тетки, связанную с женским движением, а главное — с процессом против миссис Глайко-Хэрриман, допустившей против нее клеветнические выпады; утром секретарша стенографировала, днем переписывала это на машинке, а после чая приносила письма для просмотра. Там нашлось несколько довольно милых людей, с которыми приятно было непринужденно поболтать. До завтрака, а иногда и после завтрака — крокет, в восемь вечера — обед. В бридж мы играем только после обеда, это — на-

ше нерушимое правило.

Таким образом, у меня оставалось немало свободного времени, пока тетка писала свои письма, заносчивые и саркастические, как могло бы показаться человеку, не знающему ее нрава; с утра я отправлялся на прогулку, поднимался на гору, к источникам Пероны, где я пил воды не столько для здоровья, сколько для развлечения, а потом сидел, предаваясь блаженной праздности, на террасе отеля «Источник», стараясь заглушить чернильный привкус лечебной воды различными прохладительными напитками. Моя тетушка — убежденная трезвенница; но за последние годы я понял, что, если я стану в таких делах следовать своим собственным вкусам, это будет и приятней и полезней для нас обоих. Я хочу сказать, что тогда я делаюсь общительнее.

Думаю, что я достаточно подробно рассказал о себе, и теперь, с вашего разрешения, отступаю, так сказать, на задний план — или, вернее, удаляюсь в тень, — чтобы познакомить вас с первым из двух чудаков, с которыми я встретился на террасе отеля в Пероне.

2. Страхи на Каиновом болоте

Я впервые увидел доктора Финчэттона на террасе, где, жуя булочку, потягивал безобидный вермут с сельтерской водой. Доктор Финчэттон сидел через столик от меня и яростно расправлялся с книгами, взятыми из местной библиотеки. Он раскрывал их одну за другой, прочитывал несколько страниц, потом, что-то сердито бормоча, швырял книгу наземь с пылкостью, которая привела бы библиотекарей в отчаяние. Подняв голову, он встретил мой укоризненный взгляд. Он посмотрел на меня, потом улыбнулся.

— Десятки книг, — проговорил он, — сотни книг — и ни одной стоящей! Все они никуда не годятся!

В его негодовании было что-то комическое.

— Зачем же вы их читаете? — спросил я. — Чтение засоряет память и мешает думать.

— Это как раз мне и нужно! Я приехал сюда для того, чтобы перестать думать — и забыть. Да вот никак не могу! — В голосе его, чистом и звонком, послышались гневные нотки. — Одни из этих книг скучны, другие раздражают. А иные даже напоминают мне о том, что я стараюсь забыть!

Перешагнув через груду отвергнутых томиков,

он направился ко мне с графином и бокалом и, не дожидаясь приглашения, сел за мой столик. Он поглядел мне в глаза с приветливым и слегка насмешливым выражением. Я знаю, что для тридцатитрехлетнего мужчины слишком похож на херувима, и было совершенно ясно, что он обратил на это внимание.

— А вы много думаете? — спросил он.

— Порядочно. Почти каждый день отгадываю кроссворды в «Таймсе». Я часто играю в шахматы, главным образом по почте. И неплохо играю в бридж.

— Я не об этом. Думаете ли вы всерьез о том, что вас мучает и угнетает, о том, что вы не можете объяснить?

— Меня ничто не угнетает.

— Вы интересуетесь духами и привидениями?

— Не очень. Я не из тех, кто верит в духов, но не могу сказать, что я в них не верю. Вы меня понимаете? Я их никогда не видел! Полагаю, что в пользу спиритизма можно привести немало доводов, хотя в этой области шарлатанства хоть отбавляй. Мне кажется, спиритам удалось доказать, что существует бессмертие, и это хорошо. Моя тетушка, мисс Фробишер, такого же мнения. Но столоверчение, спиритические сеансы и про-

чее — это, по-моему, дело специалистов.

— А что, если бы вы обнаружили, что вас окружают духи?

— Со мной такого не бывало.

— Ну а здесь ничто не вызывает в вас беспокойства?

— Где? — спросил я.

— Здесь, — повторил он и указал на спокойное море и мирный небосклон.

— Да что же здесь может быть такого?

— А все-таки?

— Ничего не замечаю.

— Завидую вашей невосприимчивости… или невозмутимости! — Он допил бокал и потребовал еще пол-литра вина. То ли потому, что он не разбирался в винах, то ли по особому пристрастию, он пил простое красное вино. — Разве вы не чувствуете, что тут что-то есть? Какая-то опасность?

— В жизни не видел ничего безмятежнее. На небе ни облачка.

— А я бы этого не сказал… У меня были мучительные переживания. До сих пор не могу успокоиться. Странное дело! Вы ничего не чувствуете. Может быть, я стал так восприимчив после того, как это произошло…

— А что, собственно, произошло?

— Если хотите, я с удовольствием вам расскажу… Это, знаете ли, целая история.

— Пожалуйста, — сказал я.

И он начал рассказывать. Сперва рассказ его был довольно бессвязен, но потом дело пошло более гладко. Не то чтобы он хотел поделиться именно со мной, просто ему нужен был слушатель, и он сам желал услышать, как это прозвучит. Я почти не перебивал его.

Может быть, я напрасно с ним разговорился. Я даже не знал, кто он такой. Он не назвал себя, и мне пришлось спросить его имя. В нем было что-то чудаковатое; я совершенно забыл, что большой дом, стоявший на холме, высоко над городом, был лечебницей для душевнобольных — психотерапевтическим институтом, как выражаются теперь, — и мне следовало улизнуть под каким-нибудь предлогом, прежде чем он приступил к рассказу.

Но в нем не было ничего подозрительного. Ни его манеры, ни внешность не были странными. Казалось, он измучен бессонницей, под глазами темные круги, но в остальном он ничем не отличался от других. На нем был самый обычный серый костюм, цветная рубашка и скромный галстук. Галстук был повязан несколько косо, но это

пустяки. Многие мужчины не умеют повязывать галстук как следует, хотя мне трудно представить себе, как могут они с этим примириться. Повязать галстук правильно вовсе не трудно. Мой новый знакомец был худощав и довольно красив; у него был, что называется, чувственный рот, прикрытый короткими усиками. Он сидел, подавшись вперед и упрятав скрещенные руки под грудь, как прячет кошка свои передние лапы. Говорил он, пожалуй, слишком увлеченно, хотя и старался себя одергивать. Так как до возвращения в Ле Нупэ у меня оставался еще добрый час, я предоставил ему говорить, не перебивая его.

— Сначала, — говорил он, — я думал, что все дело в болотах.

— В каких болотах?

— В Каиновом болоте. Вы слышали о Каиновом болоте?

В школе я был довольно силен в географии, но такого названия припомнить не мог. Мне, однако, не хотелось сразу сознаться в своем невежестве. Что-то казалось мне знакомым. «Болото» как будто давало какую-то нить. Перед моим взором смутно маячили трясины, бесконечные топи, низко нависшее небо, серые, прелые соломенные крыши, пришвартованные старые лодки и пол-

чища гудящих комаров.

— Рассадник малярии и ревматизма, — сказал он, словно в ответ на мои мысли. — Я купил себе там практику… Простите за эти подробности о себе. Сделал я это отчасти потому, что запросили с меня удивительно мало, а при моих ограниченных средствах мне нужен был какой-нибудь заработок, отчасти же потому, что мне хотелось оставить клинику и Лондон и дать отдых голове. Я приехал туда измученный и разочарованный. Работа на первый взгляд показалась легкой. Конкуренции там, среди болот, в сущности, не было, если не считать так называемого «Острова», куда иногда заезжают на своих автомобилях врачи из ближайшего города. Зато в приходы, расположенные у окрестных холмов и среди солончаков, они никогда не заглядывают, разве что их вызовут туда на консилиум. Пришлось приступить к практике, хотя у меня не было достаточной квалификации, так как я нуждался в спокойной обстановке… Я отказался от мысли добиться ученой степени.

Он помолчал, видимо, подыскивая слова.

— Вы заболели? — попытался я прийти к нему на помощь. — Почему вы оставили клинику, не кончив курса? Простите, что я задаю вопросы,

но вы не похожи на человека, который мог бы провалиться на экзаменах.

— Я не провалился. В сущности, во мне честолюбия даже больше, чем следует. Вероятно, я слишком напряженно работал. И слишком много размышлял над различными вопросами. Политикой я интересовался живее, чем большинство наших студентов-медиков. Меня очень волновали вопросы общественной справедливости и вопрос о войне. О войне — особенно. Я работал сверх сил. Возможно, у меня были слишком тяжелые переживания. Да... да, это несомненно. В конце концов утренняя газета могла так меня взбудоражить, что я целый день не в состоянии был работать.

Надо сказать, что нервы мои были в постоянном напряжении с самого начала учебы. Признаю это. Я не любил анатомировать; не любил всех этих больных в палатах. Одно возбуждало во мне жалость, другое ужасало.

Я согласился с ним:

— Медицина и меня всегда приводила в ужас. Я бы этого не вынес!

— Но ведь врачи необходимы людям, — возразил он.

— Во всяком случае, я не стал бы врачом. За всю

свою жизнь я видел не больше трех покойников, да и те мирно лежали в постели.

— Ну а на дорогах? Когда ездишь на автомобиле, вечно видишь ужасные зрелища.

— Мы никогда не ездим в автомобиле. Все здравомыслящие люди от этого отказались.

— Вы, как я вижу, с детства избегали уродливых сторон жизни. Ну а я нет. Я сразу очутился в самой ее гуще, когда избрал медицину. Я думал о добре, которое мог сделать, и никогда не думал о мрачных сторонах действительности. Вы избежали этого. Я же сперва не пытался избежать, а потом отступил. Когда я приехал в те места, у меня было такое чувство, что я убежал от жизни. Там, говорил я себе, никогда не будет ни войны, ни бомбежки. Там я смогу прийти в себя. Там будут только обыкновенные больные, которым я смогу оказать действительную помощь. Каиново болото лежит в стороне от больших дорог. Там не будет даже пострадавших от автомобильных катастроф, на которых порой жутко смотреть. Вы меня понимаете? Каиново болото казалось мне лучшим местом на свете, и мне было приятно приехать туда летом, когда распускаются полевые цветы, когда порхают сотни бабочек и стрекоз и всюду щебечут птицы, а по реке пла-

вают удобные лодки, на которых приезжают туристы и рыболовы с семьями. Я рассмеялся бы, если бы мне сказали, что я попаду в страну привидений!

Я принял все меры, чтобы успокоить нервы. Я не выписывал газет. Я довольствовался краткими еженедельными обозрениями с диаграммами вместо иллюстраций. Я не раскрывал книг, написанных после Диккенса.

Местные жители показались мне вначале туповатыми и скрытными, но добродушными. Ничего подозрительного я в них тогда не заметил. Старик Роудон, викарий церкви Святого Креста в Слэкнессе, стоявшей на краю равнины, рассказал мне, что жители, спасаясь от лихорадки, потихоньку злоупотребляют наркотиками и что он склонен считать их дружелюбие притворным. Я сразу же после приезда пошел засвидетельствовать ему свое почтение. Это был пожилой человек, туговатый на ухо; в Слэкнесс он переехал по болезни, поменявшись с другим священником. Церковь и его дом вместе с еще несколькими домишками приютились, так сказать, на холме, напоминавшем спину крокодила; вокруг росли вязы. Сомневаюсь, собирались ли на его проповеди хоть два десятка прихожан. Он был не слишком

словоохотлив, его старая сгорбленная жена и того меньше; у него были камни в печени и язва на ноге, но больше всего неприятностей ему, кажется, доставлял новый священник, сторонник «высокой церкви», недавно прибывший в соседний приход Марш Хэверинг. Сам он, по-видимому, принадлежал к «низкой церкви» и склонялся к кальвинизму; но первое время я не мог понять, почему он говорит о своем более молодом собрате с такой опаской и с таким возмущением. Дворянских поместий на Каиновом болоте не было, население, если не считать ветеринара, нескольких учителей начальной школы, трактирщиков и содержателей гостиниц в окрестностях Бикон Несса, состояло исключительно из фермеров и сельскохозяйственных рабочих. У них не было ни фольклора, ни песен, ни кустарных изделий, ни местных костюмов. Трудно представить себе почву, менее подходящую для каких бы то ни было психических явлений. И все же, знаете…

Он нахмурился и продолжал рассказывать ровным голосом, словно стараясь выразиться как можно ясней и заранее отвечая на возможные возражения с моей стороны:

— В конце концов… Жизнь там такая тихая, простая, невозмутимая… Может быть, именно

потому все, что скрывается в глубине, все, что осталось бы незаметным в менее серой и скучной обстановке, там выплывало наружу, действовало на воображение.

Он помолчал, выпил бокал вина, задумался, потом продолжал:

— Тишина в тех местах удивительная! Иногда я останавливал автомобиль на извилистой дороге, проходящей по дамбе, и долго стоял, прислушиваясь, прежде чем двинуться дальше. Было слышно, как блеют овцы на лиловых холмах в четырех-пяти милях от меня, иногда доносился далекий крик водяной птицы, резкий, похожий на вспышку неонового света среди безмолвной лазури неба, или шум ветра и морских волн у Бикон Несса, до которого был добрый десяток миль, и тогда мне казалось, что я слышу сонное дыхание земли. Ночью, разумеется, звуков было больше: вдалеке выли и лаяли собаки, свистали коростели, какие-то твари шуршали в камышах. Но и ночью бывает порой гнетущая тишина…

Первое время я не придавал значения тому, что местные жители, такие бесчувственные с виду, потребляют все больше снотворных лекарств и опиума, а число самоубийств и таинственных преступлений, в отличие от преступлений

с ясными и легко объяснимыми мотивами, в этой округе исключительно велико и возрастает на глазах. Хотя, конечно, в округе с таким маленьким населением одно-два убийства уже составляли значительный процент от общего числа преступлений. Встречая местных жителей днем, я не замечал в их облике ничего злодейского. Они не смотрели в глаза, но, может быть, таково было их представление о благовоспитанности. А ведь за последние пять лет на Каиновом болоте были совершены три, если не больше, чудовищных убийства, видимо, дело рук родичей и соседей, причем в двух случаях преступников найти не удалось. Третий преступник был братоубийцей. Когда я заговорил об этом с викарием, он буркнул что-то насчет «дегенератов, которые женятся только между собой», видимо, не желая обсуждать эту неприятную и малоинтересную для него тему.

Странная и тягостная обстановка на Каиновом болоте не замедлила сказаться: у меня началась бессонница. Раньше я спал превосходно, но не прошло и двух месяцев после моего приезда, как сон мой стал тревожным. Я просыпался, охваченный странным беспокойством, меня без всяких причин мучили кошмары. Раньше мне никогда

не снилось ничего подобного. Мне грозили, меня подстерегали, выслеживали, преследовали, я отчаянно дрался, обороняясь, и просыпался с криком, — знаете, как жалобно кричат люди во сне, — весь в поту, дрожа всем телом. Порой сны бывали до того жуткими, что я боялся уснуть снова. Я пробовал читать, но никакая книга не могла рассеять мое беспокойство.

Стараясь избавиться от этого тревожного состояния, я испробовал все средства, какие обычно приходят в голову молодому врачу, но ничто не помогало. Я соблюдал диету. Делал гимнастику. Вставал ночью с постели, одевался и шел гулять пешком или ехал в автомобиле, преодолевая страх. Ночные кошмары продолжали преследовать меня и днем. Ощущение кошмара окутывало меня, и я не в силах был его стряхнуть. Это были сны наяву. Никогда еще я не видел такого зловещего неба, как во время этих ночных прогулок. Я пугался каждой тени, чего со мной не бывало даже в детстве. Иногда по ночам я громко кричал, тоскуя по дневному свету, как человек, задыхающийся в запертой камере, молит о глотке воздуха.

Эта бессонница, естественно, начала подрывать мое здоровье. Я стал нервным, склонным к фан-

тазиям. Я стал замечать за собой галлюцинации, похожие на те, какие бывают при белой горячке. Но они были еще страшней. Иногда я внезапно оборачивался, испытывая ощущение, что у меня за спиной бесшумно крадется собака, готовясь броситься на меня; или же мне мерещилось, что из-под чехла кресла выползает черная змея.

Появились и другие симптомы потери душевного равновесия. Я поймал себя на том, что подозреваю врачей «Острова» в заговоре против себя. Какие-нибудь незначительные мелочи, досадные пустяки, нарушения профессиональной этики, мнимые обвинения разрастались у меня в воображении, словно я был одержим манией преследования. Я с трудом удерживался от желания писать дурацкие письма, бросать вызов или требовать объяснений. Потом мне стали казаться зловещими молчание и жесты некоторых моих пациентов. Я сидел у постели больного, и мне мерещилась какая-то враждебная суетня, злобные перешептывания за дверью.

Я не понимал, что со мной творится. Я старался вспомнить, не было ли у меня какого-нибудь нервного потрясения, но не мог ничего припомнить. Все это осталось позади, в Лондоне. Температура и самочувствие у меня были нор-

мальные. Но ясно было, что я никак не могу приспособиться к новой среде. Каиново болото обмануло мои ожидания. Оно не принесло мне исцеления. Но необходимо было взять себя в руки. Весь свой небольшой капитал я вложил в эту практику, и приходилось держаться за нее. Мне некуда было деваться. Надо было сохранить самообладание, мужественно встретить эту напасть и побороть ее, прежде чем она доконает меня.

Но только ли во мне дело? Неладно ли только с моим здоровьем или же виновата обстановка? Преследуют ли кошмары и галлюцинации и других местных жителей или же это бывает лишь с приезжими и потом проходит? Быть может, это должен испытать каждый? Быть может, это своего рода акклиматизация? В расспросах мне приходилось быть осторожным: врачу нельзя признаваться, что он нездоров. Я стал наблюдать за своими пациентами, за своей старой служанкой, за всеми, с кем мне приходилось общаться, искал симптомов, подобных моим. И я нашел то, что искал. Под внешним тупым безразличием в этих людях таилось глубокое беспокойство! Их, как и меня, преследовал страх. Страх привычный, укоренившийся. Но при этом какой-то неопределенный. Они страшились неведомого. Этот страх

в любое мгновение мог перейти на что угодно и перерасти в непреодолимый ужас.

Приведу вам несколько примеров.

Как-то вечером одна из моих пожилых пациенток оцепенела от ужаса, увидев какую-то тень в углу; когда я придвинул свечу и тень заколебалась, старуха громко вскрикнула.

— Но ведь тень не может причинить вам никакого вреда, — стал я ее убеждать.

— Я боюсь! — отвечала она, и это был ее единственный довод. Не успел я остановить ее, как она схватила часы, стоявшие у нее на ночном столике, швырнула их в черную жуткую пустоту и с головой накрылась одеялом. Должен признаться, что на минуту я остолбенел, уставившись в угол, на разбитые часы.

В другой раз я видел, как один фермер, охотясь на зайцев, вдруг остановился, с ужасом оглядел трепетавшее на ветру воронье пугало, не замечая меня, вскинул ружье и выстрелом разнес в клочья безобидное чучело.

Все поголовно боялись темноты. Я убедился, что моя старая служанка после сумерек не решается выйти даже к почтовому ящику, который был в каких-нибудь ста шагах от дома. Она приводила всевозможные отговорки, когда же ее припирали

к стенке, просто отказывалась идти. Мне приходилось самому вынимать письма или ждать до утра. Я узнал, что даже влюбленные парочки не выходили из дому после заката солнца.

Не могу передать, — продолжал он, — как это ощущение жути овладело мной и мало-помалу усиливалось; оно так захватило меня, что стоило ветру хлопнуть ставнем или угольку выпасть из камина, как я вздрагивал.

Я не мог отделаться от этого состояния; ночи стали невыносимы. Я решил серьезно поговорить об этой странной тревоге со старым викарием. В определенном смысле округа была в его ведении, так же как и в моем. Должен же он знать хоть что-нибудь. К этому времени мои нервы вконец расстроились. После одной особенно жуткой и тяжелой ночи я решил, не откладывая, отправиться к викарию. Очень уж мне было плохо…

Помню, с каким чувством полнейшей беззащитности ехал я к нему по болотам. Они были такими голыми, такими открытыми, что, казалось, там не могла гнездиться опасность. Но когда я приближался к кучке деревьев или кустов, мне мерещилась засада. Я утратил уверенность, присущую всякому живому существу. Я чувствовал, что окружен силами зла, что они угрожают мне.

И это среди бела дня, в ясный солнечный день! И никого кругом, кроме птиц…

Мне повезло: в тот день старик был словоохотливей обычного.

Я прямо приступил к делу.

«Я в этих краях человек новый, — начал я. — Не замечается ли тут что-нибудь неладное?»

Он уставился на меня и, почесывая щеку, обдумывал ответ.

«Как же, замечается», — сказал он.

Он увел меня к себе в кабинет, с минуту прислушивался, как бы желая удостовериться, что никто нас не услышит, потом тщательно запер дверь.

«Вы очень чувствительны, — проговорил он. — С вами это началось раньше, чем со мной. Сначала ощущаешь что-то неладное — и чем дальше, тем хуже… Что-то скверное!»

Мне запомнились эти его первые слова, его слезящиеся старческие глаза и приоткрытый рот, в котором виднелись гнилые зубы. Он подсел ко мне поближе, приложил к волосатому уху ладонь и сказал:

«Говорите тихо и медленно, тогда я услышу».

Он был очень доволен, что может наконец поговорить об этом. Он надеялся спокойно дожить здесь свой век, но понемногу им овладела смутная

тревога, неприметно перешедшая в страх. Уехать он не мог. Он, как и я, застрял здесь. Говорить об этом ему было нелегко. С женой он на эту тему никогда не разговаривал. До переселения сюда они жили дружно и легко находили общий язык.

«А теперь, — сказал он, — нас что-то разделило. Я не могу больше разговаривать с женой! Не пойму, что с ней творится».

«Что же вас разделило?» — спросил я.

«Зло».

Так он назвал это.

«Оно разделяет всех, — продолжал он. — В самых обычных вещах начинаешь усматривать признаки чего-то зловещего».

Недавно у него вдруг зародилось странное подозрение — ему почудился какой-то привкус в еде и необычные ощущения после нее.

«Я начинаю опасаться за свой рассудок, — продолжал он. — Или я схожу с ума, или моя жена. И все-таки с пищей было что-то неладно. Хотя — кому это нужно?..»

Больше он об этом ничего не сказал.

Местные жители показались ему вначале просто тупоумными. Потом он начал понимать, что они вовсе не так уж тупоумны, но до крайности скрытны и подозрительны. Иногда в их глазах

ему чудился блеск, как у собаки, готовой укусить. И даже у детей загорались глаза, когда он начинал следить за ними. Без причины. Решительно безо всякой причины! Все это он говорил шепотом, сидя рядом со мной.

Потом он придвинулся еще ближе.

«Они жестоко обращаются с животными, — сказал он. — Бьют своих собак и лошадей! Не всегда. Это похоже на какие-то приступы.

Дети приходят в школу с синяками, — продолжал он. — И от них нельзя добиться ни слова… Они запуганы».

Я спросил его, не чувствует ли он, что эти таинственные явления нарастают. Всегда ли здесь было так? Письменных свидетельств о прошлом этой округи нет. Но он считал, что они действительно нарастают. Не всегда это было так. Я высказал предположение, что в здешней атмосфере всегда было что-то зловещее, но мы заметили это лишь тогда, когда испытали загадочное влияние на себе.

«Возможно. Пожалуй, отчасти вы правы», — согласился он.

Старый викарий рассказал мне кое-что о своем предшественнике. Этого человека вместе с его женой посадили и тюрьму за зверское обращение

с девушкой, которая была у них в услужении. В тюрьму! Они утверждали, что она лгала и у нее были дурные привычки. Так они оправдывались. Они якобы хотели ее исправить. Но на деле они просто ненавидели ее… А ведь до их приезда сюда за ними никто не знал ничего дурного.

«Это было всегда, — прошептал старый викарий. — Всегда! Где-то в глубине. Какой-то проклятый злой дух овладевает всеми нами. Я молюсь. Не знаю, что было бы со мною, если бы я не молился. Я просто не вынес бы этой жизни: денег уходит пропасть, и все так грубы и делают мне всякие гадости, швыряют в меня камнями… И потом эта мысль о яде. Она угнетает меня больше всего…»

Так разговаривали мы среди бела дня в его большом, убогом, скудно меблированном кабинете, хотя этот разговор скорее пристало бы вести в темной пещере.

Постепенно его речи все больше становились похожими на бред. Зло гнездится в почве, заявил он, под землей. Он особенно подчеркнул эти слова — «под землей». При этом он дрожащей рукой указал вниз. В Каиновом болоте погребено нечто могучее и страшное. Какое-то огромное зло. Оно разбито. Рассеяно по всему болоту.

«Мне кажется, я знаю, что это, — боязливо шепнул он, но не сразу объяснил, в чем дело. — Они тревожат его, не хотят оставить в покое!»

Кто эти «они», понять было трудно. В последние годы через болото прокладывали дороги, там шли осушительные работы, а теперь начались раскопки. И это еще не все. Во время войны распахали старинные пастбища. Вскрыли старые язвы.

«Понимаете, вся эта местность была некогда пустыней, и всюду могилы!»

«Курганы?» — спросил я.

«Нет, — настаивал он. — Могилы, кругом могилы!»

Некоторые из древних людей, по его словам, «окаменели». Здесь попадались камни самой удивительной формы. Омерзительные! И они продолжают выкапывать всякие штуки, говорил он. А лучше бы оставить их в покое. Это просто необходимо. Они сеют сомнения, растерянность, разрушают веру!

И вдруг викарий ни с того ни с сего напустился на дарвинизм и эволюционную теорию. Воспоминания о полемике, которую ему приходилось вести всю жизнь, причудливо переплетались у него в мозгу с ужасами Каинова болота. Он спросил меня, был ли я в музее в Истфоке.

Потом он заговорил о выставленных там исполинских костях. Я заметил, что он, вероятно, имеет в виду кости мамонтов, динозавров и тому подобных животных.

«Великанов, — настаивал он. — Обратите внимание на то, что «они» называют орудиями труда! Орудия эти слишком велики и неуклюжи, чтобы обыкновенный человек мог управляться с ними. Топоры, копья — огромные орудия убийства, и ничего больше».

«Смертоносные камни» — так окрестил он их. Смертоносные камни великанов!

Он сжал костлявую руку в кулак, его дрожащий голос поднялся до крика, и глаза вспыхнули неподдельной злобой.

«Люди, откапывающие эти кости, — продолжал он, — ни перед чем не останавливаются. Они извлекают на свет темные тайны! Им кажется, будто они что-то опровергают… Но могила есть могила, покойник есть покойник, пролежи он в земле хоть миллион лет! И пусть бы эти злобные существа лежали в земле! Пусть лежат! Оставьте их прах в покое!» — Теперь старик уже не говорил робким шепотом, как вначале; охваченный яростью, он забыл о своих страхах. Он не слушал моих возражений.

Наконец он разразился гневной речью. Его дряхлое тело тряслось, он весь преобразился от злобы. Главным объектом его нападок были местные археологи и натуралисты, но самым странным и нелогичным образом он приплел сюда свое возмущение обрядами «высокой церкви», которые ввел новый священник в Марш Хэверинге.

«Как раз теперь, когда Зло вырвалось на волю и, подобно испарениям, поднялось из болот, когда всего нужнее истинная вера, единая истинная вера, — кричал он, потрясая руками, — является этот субъект со своими ризами, статуями, музыкой и балаганом!»

Впрочем, даже если бы я мог описать неистовство этого несчастного старика, его яростные хриплые вопли, я не стал бы докучать вам этим. Он требовал подавления, преследования науки, Рима, всякой безнравственности и нескромности, всякой веры, кроме его собственной, преследований и насильственного покаяния, без которых нельзя спастись от Гнева, неумолимо надвигающегося на нас!

«Они переворачивают землю, выкапывают бог весть что, и мы дышим прахом давно умерших людей! — Казалось, этими криками он хотел

разогнать страх, нависший над всеми обитателями этих мест. — Проклятие Каина! — вопил он. — Воздаяние за Каинов грех».

«Но при чем тут Каин?» — вставил я наконец.

«Здесь он кончил свои дни, — заявил старик. — Уж я-то знаю! Ведь недаром это место называется Каиновым болотом! Он скитался по лику земли и пришел наконец сюда — пришел с худшими из своих сынов. Они отравили землю. Долгие века преступлений и зверств, а затем потоп похоронил их в этих болотах, и здесь они должны бы лежать до скончания века!»

Я пытался оспаривать это фантастическое измышление. Каиново болото — это лишь искаженное название «Гайново болото», как значится во всех путеводителях и, главное, в кадастровой книге. Но старик перекричал меня; где мне было тягаться с его неистовым карканьем! Глухота служила ему щитом против всяких возражений. Голос его заполнял всю комнату. Викарий высказал все, что накопилось в нем за долгие месяцы одиноких раздумий. Слова его казались обдуманными, приготовленными заранее. Подозреваю, что многие из них неоднократно звучали с кафедры в церкви Святого Креста в Слэкнессе. В его воображении беспорядочно переплетались сыны

Каина и пещерные люди, мамонты, мегатерии и динозавры. Это был какой-то ураган дикого вздора. И все же… И все же, знаете ли…

Несколько минут доктор Финчэттон безмолвно смотрел на залив Ле Нупэ.

— После всего этого у меня возникла догадка. Не знаю, покажется ли она вам хоть сколько-нибудь разумной — здесь, в это ясное утро. Но я подумал, что нас преследовало и угнетало нечто древнее, первобытное, звериное…

Он кивал головой, как бы подкрепляя свои слова, в которых, казалось, сам сомневался.

— Видите ли… Когда вас преследует привидение эпохи королей Георгов, эпохи Стюартов или елизаветинских времен, привидение в латах или в цепях, это уже скверно. Но к таким привидениям испытываешь нечто вроде дружеского чувства. В них нет жестокости, подозрительности или дикой злобности! А вот души какого-нибудь племени пещерных людей… Жуткие духи… Как, по-вашему?

— Может быть, и так, — уклончиво ответил я.

— Да. А от пещерных людей один шаг до человекообразных обезьян. Представьте себе, что на нас восстали все наши предки! Пресмыкающиеся, рыбы, амебы! Эта мысль была до того фантастична,

что на обратном пути из церкви Святого Креста в Слэкнессе я попытался даже засмеяться.

Тут доктор Финчэттон умолк и посмотрел на меня.

— Но мне было не до смеха, — добавил он.

— Пожалуй, и мне было бы не до смеха, — сказал я. — Ужасная мысль! По-моему, пусть уж лучше мерещатся духи в образе человека, чем всякие обезьяны.

— Я возвращался домой, — продолжал доктор, — испытывая еще больший ужас, чем когда ехал к священнику. Теперь мне повсюду начали мерещиться привидения. Старик, нагнувшийся в канаве над упавшей овцой, превратился в уродливого, горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не решился посмотреть, что он делает, и когда он крикнул мне что-то, — может быть, просто «здравствуйте», — я сделал вид, что не слышу. Когда я проезжал мимо кустов, душа у меня уходила в пятки, я замедлял ход и, миновав кусты, развивал бешеную скорость.

В тот вечер, сударь, я напился — в первый раз в жизни. Оставалось одно из двух: либо пить, либо бежать! Может быть, я еще неопытен, но таково мое правило: врач, без предупреждения бросающий практику, то же самое, что часовой,

ушедший с поста. Как видите, мне оставалось только запить.

Собираясь ложиться спать, я поймал себя на том, что боюсь отпереть входную дверь и выглянуть наружу. Тогда я сделал над собой судорожное усилие и распахнул дверь настежь…

Передо мной в лунном свете лежали болота: низко стлавшийся туман, казалось, заколыхался, когда я открыл дверь. Он как будто настороженно прислушивался. И казалось, над болотом витало что-то зловещее, чего я никогда раньше не ощущал.

Но я не ушел с крыльца. Я не отступил. Я даже попытался произнести какую-то пьяную речь.

Не помню, что я говорил. Быть может, я сам перенесся далеко назад, в прошлое, в каменный век, и издавал лишь нечленораздельные звуки. Но в своей речи я бросал вызов — вызов всему злому наследию, оставленному прошлым человеку.

3. Череп в музее

И вдруг доктор Финчэттон прервал свой рассказ.

— Вам это кажется бредом сумасшедшего? — спросил он. — Хотите, чтоб я продолжал?

— Нет, ничуть, — пробормотал я. — То есть

да, пожалуйста. Я хочу сказать: пожалуйста, продолжайте! Меня это очень заинтересовало. Разумеется, когда сидишь здесь, за столиком, а кругом так светло и все так ясно и просто, ваш рассказ кажется несколько невероятным… Вы меня понимаете?

— Понимаю, — сказал он, но не улыбнулся мне в ответ.

Он огляделся по сторонам.

— Да, здесь может показаться, что ничего, кроме вермута с сельтерской да завтрака и на свете нет!

На его лице появилось выражение крайней усталости.

— Я отдыхаю, — проговорил он. — Да. Но рано или поздно мне придется вернуться все к тому же. Мне бы хотелось еще немножко поговорить с вами. Если, конечно, вы ничего не имеете против. В вас есть, если можно так выразиться, какое-то ободряющее отсутствие воображения. Вы как чистый лист бумаги!

Я готов был слушать его дальше. Мне и в голову не приходило, что эти россказни могут потревожить мой сон. Я люблю видеть сны по утрам, перед тем как проснуться. Люблю предаваться мечтам и фантазиям. В такие минуты чувствуешь

себя в безопасности. Иной раз проберет дрожь, но настоящего страха нет. Рассказы о невероятном я люблю именно потому, что они невероятны. С тех пор как я в детстве открыл Эдгара Аллана По, у меня появился вкус к жуткому и таинственному, и я, несмотря на сопротивление тетушки — она буквально в ярость приходит при одном намеке на возможность чего-нибудь необычайного или незаурядного, — потихоньку зачитывался его произведениями. Моя тетушка совершенно лишена воображения, а для меня воображение стало ручным зверьком, с которым я любил играть. Я не думал, что он может когда-нибудь серьезно оцарапать меня; этот котенок знает меру. Впрочем, сейчас я уже не так уверен в этом. Но как приятно было спокойно сидеть в безопасности под ярким солнцем Нормандии и слушать рассказы о болотах, над которыми витал ужас.

— Продолжайте, сэр, прошу вас, — сказал я. — Продолжайте!

— Итак, — снова заговорил доктор Финчэттон, — я решил бороться всеми средствами, какие только допускало мое воспитание и звание врача. Виски и произнесенная мной вызывающая речь, — хотя я произнес ее не столько в действительности, сколько в воображении, — принесли

мне пользу. В ту ночь я впервые за много недель забылся крепким сном и наутро почувствовал себя настолько освеженным, что мог обдумать свое положение. Как медик я, естественно, должен был предположить, что эта повальная эпидемия страха и галлюцинаций, охватившая целую округу, вызвана каким-нибудь вирусом, находящимся в воздухе, в воде или в почве. Я решил пить только кипяченую воду и не есть ничего сырого. Но все же я склонен был допустить, что эти явления могут быть вызваны чем-нибудь не столь материальным. Я не могу назвать себя убежденным материалистом. Я готов был поверить и в чисто психологическую инфекцию, но, разумеется, не в Каиновых сынов, о которых говорил викарий. На другое утро я решил наведаться к стороннику «высокой церкви» в Марш Хэверинге, преподобному Мортоверу, которого так ненавидел викарий; мне было интересно узнать, что он скажет по этому поводу.

Но вскоре я убедился, что этот молодой человек так же безумен, как и его коллега, склонный к кальвинизму. Если старик во всем винил науку, раскопки и католицизм, то этот молодой человек поносил реформацию и горячо распространялся о пуританских гонениях на ведьм в шестнадцатом

веке. Он без колебаний заявил мне, что от нас отступились ангелы-хранители и на землю вернулся дьявол. Нас тревожит вовсе не дух Каина и его грешных сынов: мы одержимы дьяволом. Мы должны восстановить единство христианства и изгнать дьявола.

Это был очень бледный, гладко выбритый молодой человек с тонкими чертами лица и горящими черными глазами, говорил он высоким тенором. Он почти не жестикулировал и только крепко стискивал свои худые руки. Будь он не англиканским священником, а католиком, его обязательно сделали бы миссионером. Он владел красноречием, необходимым миссионеру. Он сидел передо мной в своей сутане, глядя куда-то в пустоту поверх моей головы, и излагал свой план изгнания дьявола из болот.

Я чувствовал, что он воображает медленные длинные процессии, идущие по извилистым болотным тропинкам, шествия с хоругвями и ризами, в церковных облачениях, хоры мальчиков, курящиеся кадила, священники, окропляющие топи святой водой. Я представил себе, как старый викарий, увидев все это из окна своего грязного кабинета, с хриплым криком выбегает из дома и во взгляде его жажда крови.

«Но ведь найдутся люди, которые этому воспротивятся?» — заметил я.

В тот же миг мистер Мортовер преобразился. Он встал и простер руку, похожую на когтистую орлиную лапу.

«Мы сломим сопротивление», — произнес он, и в этот миг я понял, почему убивают людей в Белфасте, Ливерпуле и Испании.

Слова доктора показались мне странными. Я перебил его:

— Но, доктор Финчэттон, какое отношение имеют к Каинову болоту Белфаст, Ливерпуль и Испания?

Он замолчал, посмотрел на меня с каким-то странным выражением, не то упрямства, не то подозрительности.

— Я говорил о Каиновом болоте, — сказал он, подумав.

— Так при чем же тут Белфаст и Испания?

— Ни при чем. Я упомянул о них просто к слову… Или нет, позвольте! Позвольте! Я думал о фанатизме. У обоих этих людей — у викария и у пастора — были свои убеждения, да! Убеждения, несомненно, возвышенные и благородные. Но в действительности-то им хотелось драться. Им хотелось вцепиться друг другу в глотку. Вот как

подействовал на них болотный яд! Не вера волновала их, а страх. Они чувствовали потребность кричать и приводить друг друга в ярость…

Ну, я испытывал те же чувства. Отчего я орал и бредил накануне ночью на своем крыльце возле болота? И потрясал кулаками?

Он вопросительно посмотрел на меня, как будто ждал ответа.

— У греков было слово для обозначения этого состояния, — сказал он. — Паника. Эндемическая паника — вот заразное начало болот!

— Может быть, это название и подходит, — заметил я, — но разве оно объясняет что-нибудь?

— Видите ли, — продолжал доктор Финчэттон, — к этому времени мной самим овладел панический страх. Я почувствовал, что должен действовать, и как можно скорей. Если я не изгоню дух болота сейчас же, он овладеет мною! Я не выдержу. Нужно принять решительные меры. Так как у меня не было в то время никаких срочных дел, я решил сбежать на полдня из своей приемной и съездить в Истфок, в музей. Я думал, что мне будет полезно посмотреть на кости мамонта, которые под влиянием викария начали уже превращаться в моем воображении в человеческие; может быть, мне удастся пого-

ворить с хранителем музея, я слышал, что это незаурядный археолог.

Хранитель оказался приятным человеком небольшого роста, в очках, с широким приветливым бритым лицом. Но в нем была какая-то настороженность. Это была настороженность хорошего фотографа или портретиста — единственная неприятная его черта. Я чувствовал, что стоит мне отвернуться, как он изучает меня…

Я проявил большой интерес к кремневым орудиям, которые во множестве были найдены в невысоких холмах над болотами, и к ископаемым человеческим останкам. Хранитель любил свое дело и был не прочь поговорить с неглупым человеком. Он принялся рассказывать мне историю этой округи.

«Вероятно, здешние места были обитаемы уже тысячи лет назад», — заметил я.

«Сотни тысяч, — поправил он меня. — Тут жили неандертальцы и… Но позвольте показать вам нашу гордость!»

Он подвел меня к запертому стеклянному шкафу, и я увидел массивный череп с низко нависшими надбровными дугами, который, казалось, хмуро глядел на меня пустыми глазницами. Рядом лежала нижняя челюсть. Это

грязно-рыжее, как ржавое железо, сокровище представляло собой, по словам хранителя, самый совершенный в мире экземпляр. Череп был почти в полной сохранности. Он уже помог разрешить множество спорных вопросов, возникших из-за плохой сохранности других черепов. В соседней витрине лежали несколько шейных позвонков, искривленная берцовая кость и целая куча всяких обломков; раскопки на том месте, где все это было найдено, еще не закончились, потому что кости, наполовину истлевшие, были очень хрупки, и извлекать их приходилось с большими предосторожностями. Раскопки производились с особой тщательностью. Ученые надеялись в конце концов полностью восстановить весь скелет. В той же самой расселине, в известняке, куда, вероятно, это первобытное существо упало, оступившись, были найдены очень примитивные, грубые орудия. Пока я осматривал череп, обратив внимание на его свирепый оскал и словно живой еще взгляд пустых впадин, из которых некогда глядели на мир глаза, хранитель внимательно наблюдал за мной.

«Это, вероятно, один из наших предков?» — спросил я.

«Более чем вероятно».

«Вот что у нас в крови!» — воскликнул я.

Я украдкой покосился на чудовище и заговорил так, как будто оно могло нас услышать. Я задавал десятки дилетантских вопросов. Я узнал, что этот вид существовал на земле много тысячелетий. Бесчисленные поколения звероподобных, свирепых людей бродили по этим болотам в доисторическую эпоху несчетные века. По сравнению с их невообразимо долгим господством все бытие современного человечества могло бы показаться одним днем. Миллионы звериных существ прожили свою жизнь, оставив после себя обломки, орудия, камни, которые они обтесали или обожгли на кострах, и кости, которые они обглодали. Нет камешка в болоте, которого они не держали бы в руках, нет кочки, которой они не попирали бы ногами миллиарды раз.

«В нем есть что-то страшное», — рассеянно проговорил я, думая о своем. И наконец решился поставить вопрос ребром. Я спросил хранителя, не слыхал ли он — не высказывал ли ему кто-нибудь мнение, — что на болоте нечисто.

Взгляд его глаз, увеличенных очками, стал еще пытливее. Да, он кое-что слышал.

«Что же именно?» — спросил я.

Но он хотел, чтобы я высказался первым. Он

молча ждал, и мне пришлось начать. Я рассказал ему, собственно, все то, что вы сейчас услышали.

«Мне не вырваться из этих болот, — жаловался я. — И если я не предприму что-нибудь, они доведут меня до помешательства. Я не могу этого вынести — и вынужден терпеть. Скажите мне, почему тут снятся такие ужасные сны, почему страх преследует меня днем и ночью?»

«Вы не первый обращаетесь ко мне с таким вопросом», — сказал он, не сводя с меня глаз.

«И вы можете объяснить, что это такое?»

«Нет», — отвечал он.

Хранитель говорил осторожно, взвешивая слова, и пристально смотрел на меня. Он сказал, что ездил туда на раскопки и встречал кое-кого из местных жителей.

«Им не нравятся раскопки, — заметил он. — Нигде не встречал я такого недоверчивого отношения. Может быть, это объясняется местными суевериями. Может быть, страх заразителен. Они явно чего-то боятся. И теперь мне кажется, их страх возрос. В последнее время очень трудно бывает добиться разрешения вести раскопки в частных владениях».

Я прекрасно понимал, что он рассказывает мне далеко не все. Казалось, он делает опыт, как бы

проверяя на мне свои мысли. Он вскользь заметил, что ему самому никогда не удается уснуть среди этих болот, даже днем. Иногда, просеивая землю, он останавливался, прислушивался, опять принимался за работу и опять останавливался.

«Я ничего не слышал, — добавил он, — а все-таки нервы были напряжены!»

Он умолк. Пристально, с непередаваемым выражением смотрел он на череп пещерного человека.

«Неужели вы думаете, что такое безобразное существо могло оставить после себя призрак?» — спросил я.

«Он оставил свои кости, — ответил хранитель. — Вы думаете, у него было то, что называют духом? Дух, который, может быть, до сих пор испытывает потребность вредить, пугать и мучить? Дух подозрительный, который легко приходит в ярость?»

Тут я, в свою очередь, посмотрел на него с удивлением.

«Вы сами этому не верите. Вы стараетесь внушить это мне. С какой-то целью…»

Он рассмеялся, по-прежнему не спуская с меня глаз.

«Если так, то мне это не удалось, — сказал он. —

Я действительно хотел внушить вам это. Если это страх перед привидением — что ж, привидение можно изгнать. Если из-за него начнется лихорадка — лихорадку можно вылечить. Но что можно сделать, если это просто панический страх и затаенное неистовство, — что делать тогда?»

«Это очень мило с вашей стороны, — сказал я, — что вы пытаетесь подбодрить меня таким образом, укрепить, так сказать, мой дух для изгнания дьявола. Но это не такое легкое дело».

— И тогда, — сказал доктор Финчэттон, — он перестал гипнотизировать меня взглядом из-под очков и заговорил откровенно.

Теории его сильно отдавали метафизикой, а я плохой метафизик. Это были странные наукообразные бредни, и все же они кое-что объясняли. Я попробую изложить их, как умею. Вот как он выразился: мы ломаем рамки настоящего — «рамки нашего настоящего».

Доктор Финчэттон вопросительно посмотрел на меня. Я благоразумно промолчал. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое «рамки нашего настоящего».

— Продолжайте, — сказал я.

— Он стоял ко мне в профиль и уже не следил за мною, а смотрел в окно и, видимо, выкладывал

то, что было у него на душе.

«Лет сто назад, — сказал он, — люди гораздо больше жили настоящим, чем теперь. Прошлое их уходило назад на четыре-пять тысяч лет, а будущее, вероятно, представлялось еще более ограниченным, они жили сегодняшним днем и, как им казалось, вечностью. Об отдаленном прошлом они ничего достоверно не знали. Не заботились они и о близком будущем. Вот этого, — он кивнул на череп пещерного человека, — попросту не существовало. Все это было похоронено, забыто и вычеркнуто из жизни. Людям казалось, что их окружает магический круг, который оберегает их, хранит их безопасность. И вдруг в прошлом столетии этот круг разорвался. Мы заглянули в прошлое, стали ворошить век за веком и все дальше заглядывать в будущее. Вот в чем наша беда».

«На болоте?» — спросил я.

«Повсюду. Ваш викарий и тот молодой священник бессознательно чувствуют это, но не умеют выразить. Или, во всяком случае, они выражают свои чувства совсем не так, как мы с вами. Иногда прошлое лежит ближе к поверхности, но оно всюду. Мы сломали рамки настоящего; и прошлое, долгое темное прошлое, исполненное страха и

злобы, о существовании которого наши деды не знали и даже не подозревали, хлынуло на нас. А будущее разверзлось, как пропасть, готовая нас поглотить. Вернулись звериные страхи, звериная ярость, и былая вера уже не в силах их сдержать. Пещерный человек, обезьяноподобный предок, зверь-прародитель вернулись. Вот в чем дело! Уверяю вас, то, о чем я говорю, вполне реально. Это происходит всюду. Вы были на болотах. Там вы почувствовали их присутствие, но, говорю вам, эти воскресшие звери бродят повсюду. Во всем мире ощущается их грозное присутствие». — Он умолк, блеснул на меня очками и снова стал смотреть в окно.

«Ну хорошо, — заметил я, — только чем же эта мистика может помочь мне? Что мне-то делать?»

Он ответил, что это — явление психического порядка и от него необходимо избавиться.

«Мне придется сегодня же вернуться на болото», — сказал я.

А он все твердил, что рамки настоящего сломаны и восстановить их невозможно. Я должен раскрыться — он так и сказал: «раскрыться» — и охватить сознанием тот всеобъемлющий мир, в котором пещерный человек — такое же «сегодня»,

как ежедневная газета, а грядущее тысячелетие уже у порога.

«Все это прекрасно, — сказал я, — но какой в этом смысл? Что мне делать? Я спрашиваю вас: что мне делать?»

Он опять посмотрел на меня.

«Боритесь с этим, если можете, — сказал он. — Возвращайтесь домой. Бегством вы не спасетесь. Возвращайтесь и снова начните борьбу с тем, что вам мерещится: со Злом, Страхом, духом Каина или духом вот этого существа…»

Он замолчал, и мы оба посмотрели на безобразный череп, словно ожидая, что он тоже скажет свое слово.

«Приспособьтесь к новым масштабам, постарайтесь охватить их мыслью, — сказал он доверительно, понизив голос. — Сопротивляйтесь. А если начнете терять почву под ногами, ищите помощи. Хорошо бы вам съездить в Лондон и полечиться. Обратитесь к Норберту, он живет на Харли-стрит, кажется, в доме номер триста девяносто один, я могу узнать точно. Он один из первых открыл психическую болезнь, от которой вы страдаете, и нашел какой-то способ лечения. Признаться, он помог и мне. Правда, методы у него грубые и необычные. Я страдал

приблизительно тем же, что и вы, и, услышав о нем, обратился за помощью. Это было как раз вовремя. Раз или два в неделю он бывает в Ле Нупэ. Там у него клиника…»

Этим и кончилась моя встреча с хранителем музея в Истфоке. Он ободрил меня. Современный научный язык, на котором он со мной разговаривал, был мне понятен. Мне стало ясно, что тут нет ничего загадочного, невероятного и что положение мое не безнадежно; я просто экспериментатор, которому предстоит совершить неприятный, рискованный, но все же вполне осуществимый опыт.

— Но мне не посчастливилось в этой последней борьбе с призраками пещерных людей, — продолжал доктор Финчэттон. — Я уехал из Истфока засветло. Еще по дороге домой я увидел жуткое зрелище. Это была собака, которую забили до смерти. Да, до смерти! Вы скажете, на этом свете столько ужасного, что зверски убитая собака не такая уж важность. Но для меня это было важно.

Она лежала в крапиве у дороги. Я подумал, что какой-нибудь автомобиль переехал ее и отбросил в сторону. Я вышел взглянуть на собаку и удостовериться, что она мертва. Она была не просто убита; ее буквально превратили в месиво. Ее били

каким-то тупым и тяжелым орудием. Вероятно, у нее не осталось ни единой целой косточки. Кто-то обрушил на нее град, ураган ударов.

Я знаю, что для медика я слишком чувствителен. Как бы то ни было, я уехал в ужасе, мне стало страшно за человека: какой глубокий источник зверства таится в его природе! Что за взрыв ярости убил это злополучное животное? Но не успел я вернуться домой, как получил новый удар. Вам это опять-таки может показаться мелочью. Меня же это буквально сразило. Из прихода Святого Креста примчался запыхавшийся мальчишка на велосипеде. Он был так испуган, что в первую минуту я ничего не мог понять из его слов и только потом разобрал, что старый викарий Роудон набросился на свою несчастную жену и чуть не убил ее. Он повалил ее на пол и начал избивать.

«Бедная старуха! — проговорил мальчик. — Езжайте туда скорей! Мы связали его и посадили в сарай, а она лежит в постели и до того перепугана, что говорить не может. А ему все мерещится что-то страшное. Просто ужас. Он говорит, будто она хотела отравить его… А ругается как!..»

Я сел в свою машину и поехал. Мне удалось кое-как успокоить бедняжку; муж не так сильно избил ее, как я опасался, — несколько ссадин, все

кости целы; но главное — моральное потрясение. Пришли два полисмена и отвезли старика Роудона в полицейский участок в Холдингем. Я не хотел спускаться вниз, не хотел видеть его. Женщина почти не могла говорить. «Эдуард! — пробормотала она и с изумлением повторила: — О Эдуард!» Потом с каким-то ужасом вскрикнула: «Эдуард!» Я дал ей снотворного, попросил соседку посидеть с ней ночью, а сам уехал домой.

Пока мне приходилось заниматься делом, я был бодр, но как только добрался домой, почувствовал резкий упадок сил. Я не в состоянии был есть. Я выпил довольно много виски и вместо того, чтобы лечь в постель, заснул в кресле у камина. Проснулся я в холодном поту и увидел, что огонь в камине догорает. Я лег в постель, но когда наконец уснул, меня начали преследовать кошмары, и я опять проснулся. Я встал, надел старый шлафрок, сошел вниз и развел огонь, решив ни за что больше не спать. Но я все же задремал в кресле, а потом опять лег. Так, между кроватью и креслом, я провел всю эту ночь. В моих сновидениях все смешалось: несчастная запуганная старуха, ее не менее жалкий супруг, рассуждения хранителя музея, засевшие у меня в голове, а над этим всем маячил дьявольский палеолитовый череп.

Этот первобытный человек все больше и больше преследовал меня. Я не мог выбросить из памяти его безглазый взгляд и торжествующий оскал ни во сне, ни наяву. Просыпаясь, я видел его таким, каким он был в музее, словно живое существо, которое задало нам загадку и потешалось над нашими бесплодными попытками ее разрешить. Во сне череп увеличивался. Он становился исполинским, огромным, как утес, а глазницы и впадины на месте скул превращались в пещеры. Мне казалось — сновидения так трудно передать, — что череп вздымался и в то же время по-прежнему неподвижно высился у меня перед глазами. А перед ним кишели, как муравьи, его бесчисленные потомки; полчища людей метались во все стороны. Вид у них был обреченный, они робко, почтительно склонялись перед своим предком, и, казалось, их неодолимо влекло скрыться в его всепоглощающей тени. Вот эти полчища начали строиться в шеренги и колонны, облеклись в мундиры и зашагали к черному провалу его рта, ощерившегося темными, словно ржавыми, зубами. И из этой тьмы потекло нечто… нечто красное и липкое, что он явно смаковал. Кровь.

И тут Финчэттон произнес очень странную

фразу:

— Маленькие дети, погибающие на улицах во время воздушных налетов.

Я ничего не сказал. Я спокойно и внимательно слушал. Это была «реплика в сторону», как говорят актеры. Он продолжал свой рассказ с того места, на котором остановился.

— Утро, — продолжал он, сосредоточенно помолчав несколько мгновений, — застало меня у телефона. С огромным волнением и трудом, едва не разорившись, я нашел себе заместителя и помчался в Лондон, к пресловутому Норберту, стараясь удержать, так сказать, остатки рассудка. И Норберт направил меня сюда… Норберт, надо сказать, человек весьма незаурядный. Он оказался совсем не таким, как я думал.

Доктор Финчэттон умолк. Он взглянул на меня.

— Вот и все.

Я молча кивнул головой.

— Ну, — сказал он, — что вы обо всем этом думаете?

— Через день или два я, может быть, начну об этом думать. А сейчас не знаю, что и сказать… Это неправдоподобно, и все же вы меня почти убедили. Я хочу сказать, что не думаю, чтобы все это на самом деле могло произойти, — это я не

решусь утверждать, — но я верю, что это случилось с вами.

— Вот именно! Я рад, что мне представился случай поговорить с таким человеком, как вы. Именно это и предписал мне Норберт. Он настаивает, чтобы я освоился с происшедшим и научился отличать действительно случившееся со мной, жизненную реальность, как он выражается, от страхов и фантазий, которыми я ее окутал. Он говорит, что я должен смотреть на это бесстрастно. Ибо в конце концов, как вы думаете, — он пытливо поглядел на меня, — что именно из всего, что я вам рассказал, — реальность, действительное событие и что следует считать — как бы это выразиться? — психической реакцией? Старик Роудон, набросившийся на свою жену, — это реальность. Зверски убитая собака — тоже реальность… Норберт, видите ли, считает, что я должен спокойно поговорить обо всем этом с человеком уравновешенным, который не слишком тревожится о прошлом или о будущем. Чтобы факты воспринимались именно как факты, а не как страхи и ужасы. Он хочет вернуть меня к тому, что он называет «разумной чувствительностью», и таким образом направить мои дальнейшие действия.

Финчэттон допил вино.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы выслушали меня, — сказал он.

Тут какая-то тень упала на террасу перед нами и воскликнула:

— А, здравствуйте!

4. Несносный психиатр

Тень доктора Норберта не понравилась мне еще до того, как я поднял голову и увидел его самого. Вид у него был нарочито самоуверенный и внушительный, а я, хоть и ленив, изнежен и пассивен, порой бываю упрям, как целый табун мулов. Он еще и рта не успел раскрыть, а я уже готов был встретить в штыки каждое его слово.

На мой взгляд, он совсем не был похож на психиатра. У психиатра, по-моему, должен быть мягкий взгляд, успокаивающие манеры и полнейшее самообладание. Вид он должен иметь свежий и здоровый, а доктор Норберт был похож на труп. Он был рослый, подвижный, неопрятный, у него были непослушные черные волосы и густые брови, а большие сверкающие темные глаза либо бегали по сторонам, когда он разглагольствовал, либо неподвижно, сосредоточенно разглядывали меня, сверкали на меня из-под нахмуренных бро-

вей в минуты зловещего молчания. Черты лица были у него крупные, рот выразительный, как у оратора, голос необычайно звучный и сильный. Он носил старомодный стоячий белый воротничок и свободный черный галстук бабочкой, сдвинутый на сторону. Казалось, он оделся раз навсегда по какой-то старинной довоенной моде и с тех пор ни разу не переодевался. Он скорей смахивал на актера в отпуску, чем на психиатра. Глядя на него, я вспомнил карикатуры в старинных номерах «Панча» — на Гладстона, Генри Ирвинга или Томаса Карлейля. Самый неприятный субъект, какой только может нарушить покой двух прилично одетых современных англичан, сидящих за аперитивом на террасе отеля «Источник» в Пероне.

Но вот он здесь, совсем не такой, каким я его себе представлял, великий доктор Норберт, целитель душевных недугов Финчэттона; подбоченившись, он смотрел на меня сверху вниз с самым внушительным видом. Финчэттон назвал вид Норберта «неожиданным», но меньше всего я мог ожидать такой огромной, самоуверенной и старомодной фигуры.

— Я наблюдал вас сверху, — заявил он таким тоном, словно он был сам всемогущий Господь

Бог. — Не хотел прерывать Финчэттона, пока он рассказывал свою историю. Но я вижу, вы кончили, — теперь держитесь!

Финчэттон поглядел на меня, безмолвно умоляя примириться со странными манерами Норберта и выслушать его.

— Вы слышали его рассказ? — спросил меня Норберт. Он и не думал скрывать, что он психиатр, а Финчэттон его пациент. — Рассказывал он вам, как пещерный человек овладел его мыслями? Говорил об ужасах Каинова болота? Отлично! А о все усиливающемся ощущении зла, разлитого вокруг? Ну и как вы к этому отнеслись? Что вы, человек нормальный, об этом думаете?

И он приблизил ко мне свое широкое лицо, на котором выразилось любопытство.

— Расскажите это своими словами, — прибавил он и ждал, как учитель, экзаменующий ребенка.

— Доктор Финчэттон, — сказал я, — рассказал мне много необычайного. Это так. Но мне нужно как следует все обдумать, прежде чем я смогу высказать свое мнение.

Норберт скорчил гримасу, как учитель, раздосадованный непонятливостью ученика.

— Но я хочу знать, как вы относитесь к этому сейчас. Прежде чем вы это обдумаете.

«Можешь хотеть сколько угодно», — сказал я про себя.

— Не могу, — сказал я вслух.

— Но для доктора Финчэттона чрезвычайно важно, чтобы вы высказались сейчас! На это есть особые причины.

Вдруг я услышал бой часов.

— Боже! — воскликнул я, вставая и бросая десятифранковую бумажку официанту. — Тетушка ждет меня к завтраку! Это невозможно!

— Но не можете же вы так это оставить, — сказал Норберт, изобразив на своем лице удивление и недоверие. — Никак не можете! Ваш долг по отношению к ближнему — выслушать эту историю и помочь разумно ее объяснить. Вы должны помочь нам. — Глаза его сверкнули. — Я положительно не могу отпустить вас!

Я повернулся к Финчэттону.

— Если доктор Финчэттон, — сказал я, — захочет продолжить разговор на эту тему…

— Разумеется, он хочет продолжить разговор!

Я не сводил глаз с Финчэттона, который кивнул мне с умоляющим видом.

— Я еще приду, — сказал я. — Завтра. Примерно в этот же час. Но сейчас я больше не могу задерживаться… Ни в коем случае.

Я стал спускаться по извилистой дороге быстрым шагом, почти бегом, — я в самом деле был обеспокоен тем, что так замешкался: тетушка моя, надо сказать, из себя выходит, когда ее заставляют ждать в час завтрака. Я уже немного жалел о своем обещании и злился, что дал вырвать его. Выходило, что я уступил каким-то глупым требованиям, лишь бы поскорей уйти.

Я обернулся и увидел над собой обоих моих собеседников — они сидели рядом, причем Норберт закрывал собою Финчэттона.

— До завтра! — крикнул я, хотя вряд ли они могли меня услышать.

Норберт важно махнул рукой.

Между тем меньше всего на свете мне хотелось снова увидеть этого доктора Норберта! Право, я чувствовал к нему сильнейшую неприязнь. Мне не нравилось, что он всем своим видом как бы говорил: «Вы с Финчэттоном — кролики, и сейчас я начну вас анатомировать». Мне не понравился его громкий и словно бы обволакивающий голос, его нависший лоб, его настойчивость. К тому же я не выношу повелительных угловатых жестов, особенно когда у человека непомерно длинные руки. Однако мне очень понравился доктор Финчэттон, и его история меня заинтересовала. Мне

кажется, он очень живо все рассказал. Мне очень хотелось бы, чтобы и в моем пересказе прозвучала его убедительная интонация. Расставшись с ним, я начал обдумывать вопросы, какие следовало бы ему задать, и мне захотелось снова его увидеть. Норберт казался мне нахалом, который прервал рассказ на самом интересном месте. Я отбросил мысль о нем и продолжал думать о Финчэттоне.

Было что-то необычайное в этой истории с заколдованным болотом, куда человек попадал душевно здоровым и уравновешенным, любовался бабочками и цветами и откуда убежал сломя голову в безумном страхе и ярости, — она завладела моим воображением. А этот зловещий древний череп, череп предка, который сперва таился где-то в тени, а потом медленно выступил на передний план!.. Словно за прозрачной перегородкой зажегся свет. Это объяснение само по себе было загадкой. И вот мало-помалу эти челюсти облекались плотью, призрачные губы появились над оскаленными зубами, а под низко нависшими бровями загорелись злобные, темные, налитые кровью глаза. Чем больше я думал об услышанном, тем больше пещерный человек становился живым существом.

В конце концов уже не череп, а лицо смотрело на меня, когда я вспоминал эту бредовую повесть. Конечно, это нелепо, но мне, право, казалось, что глаза чудовища следят за мной. Они следили за мной весь вечер, лицо кривлялось и скалилось всю ночь. В тот день я играл в крокет очень рассеянно и небрежно, а вечером оскорбил тетушку до глубины души из рук вон плохой игрой в бридж. Она была моим противником, но ожидала от меня обычного искусства, и ее так смутили и сбили с толку мои промахи, что она проиграла партию вместе со своим партнером. Но я едва ли слышал ее упреки и, уйдя к себе в комнату, раздевался медленно, поглощенный мыслями о болоте, заклятом и таинственном, по которому бродил звероподобный выходец с того света. Я долго сидел, размышляя об этом, прежде чем лечь спать.

На другой день я довольно поздно пришел в отель «Источник», хотя собирался прийти пораньше. Я рассчитывал поехать на трамвае, но полицейский в штатском сказал мне, что трамваи не ходят. Коммунисты организовали забастовку, и в трамвайном парке произошла стычка, несколько человек было ранено.

— В наше время нужно быть твердым, — заме-

тил полицейский.

Пришлось идти пешком, и я с неудовольствием увидел длинные ноги доктора Норберта, торчавшие из-под столика на террасе, а доктора Финчэттона не было и в помине. Норберт знаками подозвал меня к себе, и я сел на зеленый стул за его столик. Сделал я это с большой неохотой. Я хотел дать ему понять, что желаю видеть только Финчэттона. Мне хотелось узнать о нем поподробней, а анализ моей психики, вивисекция, вторжение этого самоуверенного субъекта в мой интимный мир мне вовсе не улыбались.

— А где ваш друг? — спросил я.

— Сегодня он прийти не может. Но это все равно.

— Но ведь мы, кажется, условились…

— Да, он тоже так считал. Но ему помешали. Однако, как я уже сказал, это не имеет значения.

— Я этого не нахожу!

— С моей точки зрения, это неважно. Мне очень хочется узнать, как здравомыслящий посторонний человек смотрит на эту историю, завладевшую сознанием Финчэттона. Для него это не менее существенно, чем для меня.

— Но как же я могу вам помочь?

— Очень просто! Слыхали вы когда-нибудь о

местности, называемой Каиновым болотом?

Он повернулся и взглянул на меня совершенно так же, как посмотрел бы на животное, которому только что сделал впрыскивание.

— Вероятно, это где-нибудь в Линкольншире.

— Никакого Каинова болота не существует!

— Значит, оно называется иначе?

— Это миф!

С минуту он рассматривал меня, потом решил, что больше наблюдать за мной неинтересно. Он сложил на столе свои огромные руки и заговорил, тщательно подбирая слова, устремив взгляд на море.

— Наш приятель, — сказал он, — был врачом и жил близ Или. Все, что он рассказывал вам, — правда, и вместе с тем все, что он рассказывал вам, — ложь. Его необычайно волнуют некоторые вещи, а высказать их, даже про себя, он может только в форме вымысла.

— Но что-нибудь из всего этого было в действительности?

— О да! Был случай зверского обращения с собакой. Был пьяный бедняга викарий, избивший свою жену. Такого рода случаи бывают каждый день во всех странах света. Это в природе вещей. Тот, кто не в силах примириться с такими фак-

тами, сэр, не сможет жить на свете. И Финчэттон действительно ходил в музей Трессидера в Или, и хранитель музея Каннингэм понял его состояние и направил его ко мне. Но его заболевание началось еще до того, как он попал на болото. Он рассказал вам, в сущности, все, но вы увидели это как бы сквозь бутылочное стекло, искажающее форму. А знаете, что побудило его измыслить всю эту историю?.. — Доктор Норберт повернулся ко мне, подбоченился и посмотрел мне прямо в глаза. Он говорил неторопливо и вдумчиво, точно писал заглавными буквами: — Современная действительность так страшна и чудовищна, так его угнетает, что ему приходится облекать ее в форму сказки о древних черепах, о безмолвии в стране бабочек; он хочет внушить себе, что все это лишь галлюцинация, чтобы поскорей от этого отделаться.

Выражение лица у доктора было такое странное, что мне стало не по себе. Я отвернулся и поманил официанта, чтобы заказать еще вермута и вернуть себе самообладание.

— Но что же ужасного в нашей действительности? — спросил я небрежным тоном.

— Неужели вы не читаете газет? — сказал доктор Норберт.

— Не слишком усердно. Большая часть того, что там пишут, кажется мне либо напыщенной ложью, либо преднамеренным искажением истины. Но я почти каждый день решаю кроссворды в «Таймсе». Кроме того, читаю почти все статьи о теннисе и крокете. Разве я пропустил что-нибудь интересное?

— Вы пропустили все то, от чего Финчэттон сошел с ума.

— Сошел с ума?

— Разве он не повторял мои слова — эндемическая паника? Зараза, носящаяся вокруг нас? Болезнь, таящаяся в самой основе нашей жизни, прорывающаяся то в одном, то в другом месте и сковывающая людей бессмысленным страхом?

— Да, он употребил это выражение.

— Вот видите! С этим-то мне и приходится иметь дело. И я еще только начинаю разбираться. Это новая чума — чума психическая! Умственное расстройство, долго таившееся в сокровенных тайниках сознания, эндемическая болезнь, возникающая внезапно и разрастающаяся во всемирную эпидемию. То, что наш друг рассказывал про какое-то заколдованное болото, на самом деле происходит сейчас с тысячами людей, а завтра будет происходить с сотнями тысяч. Вас ничто

не тревожит. До поры до времени… Может быть, у вас иммунитет… Для моих исследований этого распространяющегося заболевания чрезвычайно важно знать, как реагирует на него незатронутое сознание!

— Мое сознание всегда с трудом воспринимало чуждые мне мысли, — сказал я. — Но все-таки я не хочу рисковать. Не думаете ли вы, что теперь и я начну бояться темноты и открытых мест, что мне будут мерещиться обезьяны и дикари, угрожающие человечеству?

Он положил на стол свою огромную руку, придавив ею мою.

— Если это с вами случится, — сказал он, зловеще сверкнув глазами, — могу посоветовать вам одно: мужайтесь.

Мне вдруг пришло в голову, что этот человек, в сущности, такой же помешанный, как и Финчэттон. Я спросил его напрямик:

— Доктор Норберт, уж не заболели ли вы сами?

Глаза его сверкнули еще ярче. Он вскинул голову, потом уронил ее тяжело, как молот.

— Да!

Он произнес это таким тоном, что у меня на лбу выступил пот.

— Я заболел давно, — продолжал он. — Мне

пришлось лечить себя самому. Помочь было некому. Я должен был изучать болезнь на себе. Да, сэр, через все это я прошел. И выкарабкался. Теперь я закален, приобрел иммунитет. Ценой отчаянной борьбы…

И он прочел мне самую удивительную лекцию, какую я когда-либо слышал. Прежде чем начать, он некоторое время молчал. Он не мог говорить о таких вещах, откинувшись в удобном кресле. Сперва он сидел, ухватившись за подлокотники обеими руками. Потом встал и, говоря, расхаживал взад-вперед по террасе, не столько говорил, сколько ораторствовал. У меня неплохая память, но я не могу восстановить все хитросплетения его рассуждений. Поэтому я приведу дословно лишь некоторые его фразы. История Финчэттона казалась фантастичной. В словах же Норберта не было ничего фантастического. Он начал с псевдонаучных и философских рассуждений, но мало-помалу его речь превратилась в бурную, путаную проповедь. Мы должны овладеть жизнью, ухватиться за нее. Некоторые его мысли мне уже были известны со слов Финчэттона. Я узнавал его любимые выражения. Например, «сломанные рамки настоящего».

— Но что это означает? — спросил я не без раз-

дражения.

— Животные, — сказал он, — живут всецело в настоящем. Их кругозор ограничен непосредственно окружающей средой. Точно так же жили и примитивные народы. Израэли, Сэндс, Мерфи и множество других ученых работали над этой проблемой. — Он быстро перечислил десятка два фамилий, но я запомнил только эти три. — А мы, люди, проникали в прошлое и в будущее. Мы множили свои воспоминания, предания, традиции, мы полны предчувствий, надежд, страхов. И потому мир стал для нас подавляюще огромным, страшным, пугающим. То, что казалось навсегда забытым, вдруг воскресло в нашем сознании.

— Иными словами, — сказал я, стараясь удержать разговор в конкретных рамках, — мы узнали о пещерном человеке.

— Узнали! — воскликнул он. — Да мы живем с ним бок о бок! Он никогда не умирал. И не думал умирать. Но только… — Он подошел и хлопнул меня по плечу. — Только он скрывался от нас. Скрывался долгое время. А теперь мы очутились с ним лицом к лицу, и он, скалясь, издевается над нами. Человек ничуть не изменился. Это — злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски,

человек оказывается все тем же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад. Это не преувеличение. То, что я вам говорю, — чудовищная реальность. Зверь затаился и выжидал подходящего времени, чтобы наверстать упущенное. Любой археолог скажет вам это; у современного человека череп и мозг ничуть не лучше, чем у первобытного. Это настоящий пещерный человек, только более или менее дрессированный. Никакой существенной перемены не произошло, никакого ухода от прошлого не было. Цивилизация, прогресс — все это, как мы видим, самообман. Мы ничего не достигли. Решительно ничего! Некоторое время человек строил себе в уютном мирке своего настоящего, мирке богов и божественного промысла, радужные надежды. Это были искусственные выдумки, красивый обман. Только теперь мы начинаем понимать, до чего все это надуманно. Все это рушится, мистер Фробишер! Все вокруг нас рушится, а мы, кажется, бессильны помешать этому. Кажется, это так… И спасения не видно. Нет, сэр. Вся цивилизация была жалкой, бесполезной фикцией. И теперь это обнаружилось; слишком беспощадной была ее судьба. Ошеломляющее открытие приходится делать, сэр! И когда чув-

ствительные, не подготовленные к этому люди, вроде нашего бедного друга Финчэттона, осознают это, они оказываются слишком слабыми и не выдерживают. Они отказываются воспринимать такой жуткий, огромный мир, как наш. Они жадно слушают всякие россказни об одержимости, о случаях помешательства в надежде узнать какой-нибудь способ изгнания дьявола, им кажется, что это принесет исцеление… Но исцеления нет. В наше время невозможно отмахнуться от действительности, приукрашая ее.

— Да, сэр! Фактам надо смотреть в глаза! — загремел Норберт. — Прямо в глаза! — Он размахивал руками и, казалось, обращался не ко мне, а к какому-то многолюдному публичному собранию. — Прошло то время, когда на людей можно было надевать шоры, чтобы они не видели слишком много… Прошло навсегда. Ни одна религия уже не вселяет в душу уверенность. Ни одна церковь не приносит утешения. С этим навсегда покончено.

— Ну и что же? — спросил я подчеркнуто спокойным тоном. Чем громче он орал, тем холоднее и неприязненней я становился.

Норберт сел и опять схватил меня за руку. Голос его стал проникновенным. Он уже не кричал, а

говорил тихо и многозначительно:

— Сумасшествие, сэр, с точки зрения психиатрии — это лишь реакция бедной природы на ошеломляющий факт. Это — бегство. Теперь интеллигентные люди во всем мире сходят с ума! Они дрожат, ибо понимают, что борьба против пещерного человека, который над нами, в нас, который, в сущности, и есть мы, это борьба против их воображаемого «я». Ни от чего в мире нет спасения. Мы только воображали, будто нам удалось победить Его. Его! Зверя, неотступно преследующего нас!

Я высвободил руку движением, которое, надеюсь, показалось ему непроизвольным. У меня явилось нелепое ощущение, что я похож на свадебного гостя, схваченного Старым Моряком.

— Но в таком случае, — сказал я, пряча руки в карманы и откидываясь назад, чтобы он не мог снова схватить меня, — в таком случае, что вы делаете с Финчэттоном? Что вы намерены предпринять?

Доктор Норберт развел руками и встал.

— Говорят вам, — крикнул он, словно я находился в двадцати шагах от него, — ему придется в конце концов сделать то, что должны будем сделать все мы! Взглянуть в глаза фактам! Взгля-

нуть им в глаза, сэр! Пройти через это. Пережить, если хватит сил, или погибнуть. Сделайте, как я, приспособьте свое сознание к новым масштабам! Только гиганты могут спасти мир от гибельного возврата к прошлому, и потому мы — все, кому дорога цивилизация, — должны стать гигантами. Нам придется сковать мир, как стальной цепью, более крепкой, более сильной цивилизацией. Мы должны сделать такое умственное усилие, какого еще не бывало под небом. Воспрянь, о Дух Человека! (Он так и назвал меня.) Или ты будешь сокрушен навеки!

Я хотел было сказать, что предпочитаю поражение без шума и крика, но он не дал мне вставить ни слова.

Ибо теперь он просто-напросто бредил. На губах у него даже выступила пена. Он шагал взад-вперед и говорил, охваченный безумием.

Думается мне, что с незапамятных времен приличным людям, вроде меня, не раз приходилось выслушивать подобные бредни, но было нелепо слушать все это на террасе отеля «Источник» в Перонне, над Ле Нупэ, в прелестное утро лета от Рождества Христова тысяча девятьсот тридцать шестого. Он метался взад и вперед, как древнееврейский пророк. Все это, пожалуй, было бы

неплохо для далекого прошлого — вся эта риторика, судьбы мира и прочее, но в современной жизни его хриплые вопли звучали неуместно. Скажу прямо: это была возмутительная неблагопристойность. Я старался не слышать и не запоминать то, что он говорил.

Отвечать ему не имело смысла. Легче было бы плыть против гигантских каскадов Ниагары.

Теперь он уже открыто уговаривал меня. Да, именно меня. Никогда еще я не слышал таких дурацких угроз. Он заклинал меня ободриться духом, чтобы спастись от Грядущего Гнева. Так он и выразился: «От Грядущего Гнева». Он напомнил мне о Петре Пустыннике, который буйствовал в тихих христианских городках в одиннадцатом веке и затеял крестовые походы. Он напомнил мне Савонаролу и Джона Нокса, всех этих смутьянов, так много нашумевших в истории, но ничего не изменивших в мире, призывавших людей отдать свою жизнь, «все по шатрам своим, израильтяне» — взяться за оружие, штурмовать Тюильри, разрушить Зимний дворец и совершать множество бессмысленных поступков. И все это — заметьте — в крохотном Ле Нупэ!

Он принялся перечислять зверства, убийства и ужасы, творившиеся во всем мире. Конечно, в

наше время на белом свете немало кровавых злодеяний и мучений. Конечно, перспективы наши довольно мрачны. Возможно, нам предстоят жестокие войны, воздушные налеты и погромы. Но что могу сделать я? Что толку меня запугивать? При всей его пылкости нетрудно было заметить, что в нем нет уверенности, что в лучшем случае он борется с призраками идей. Всякий раз, как я пытался что-нибудь спросить, он повышал голос и осаживал меня.

— Слушайте, что вам говорят! — гремел он.

Но, как видно, сказать ему было нечего.

— В скором времени, — продолжал он, — люди окончательно лишатся покоя, уверенности, отдыха. (Слава богу, он не сказал, что я «живу у кратера вулкана».) Человеку не останется другого выбора: он должен будет либо превратиться в загнанное животное, либо стать ревностным приверженцем истинной цивилизации, упорядоченной цивилизации, какой до сих пор не видел мир. Либо жертвой, либо членом Комитета общественного спасения! И я имею в виду вас, друг мой! Я говорю это вам! Вам! — И он ткнул в меня костлявым пальцем.

Так как на террасе, кроме нас, никого не было — официант ушел, — это «вам» и это тыканье

пальцем было совершенно излишне. Доктор Норберт был лишен чувства меры.

И все же… Как мне ни неприятно, должен сознаться, что эти два человека в конце концов загипнотизировали меня, заразили своим беспокойством и одержимостью. Я стараюсь трезво взглянуть на них, когда пишу эти строки, и вижу, как трудно мне остаться беспристрастным. Мне это удается так же плохо, как Финчэттону, когда он изливался передо мной. Не думал я, что можно подпасть под гипноз, просто сидя рядом с человеком и слушая его. Мне казалось, что при этом нужно сидеть смирно и сознательно «поддаваться» гипнозу, иначе ничего не выйдет. А теперь я замечаю, что сплю уже не так хорошо, как прежде; я ловлю себя на том, что меня заботят мировые проблемы; между строками газет я читаю про всякие ужасы и сквозь прозрачную оболочку вижу иногда неясно, но порой достаточно четко лицо пещерного человека… Как это выразился Финчэттон? «Вздымается и в то же время по-прежнему неподвижно высится у меня перед глазами». И должен сознаться, что я теперь не так спокойно разговариваю с людьми, как раньше. На днях я даже осмелился довольно резко перечить тетушке, что глубоко удивило нас

обоих. И накричал на официанта…

Но всю серьезность положения я понял только после разговора с Норбертом. С этих пор я потерял душевное равновесие и, расставшись с Норбертом, твердо решил никогда больше не встречаться ни с ним, ни с Финчэттоном. Но семена безумия были посеяны и дали всходы. За эти два утра я успел заразиться. Зачем только, о глупец, слушал я этих людей? Теперь я уже болен.

Мне это кажется возмутительным. Зачем обрушивать на человека ужасы Каинова болота, не сказав при этом толком, что ему делать? Да, я понимаю, что наш теперешний мир скоро провалится ко всем чертям. Я вполне сознаю, что мы все еще находимся под властью пещерного человека и что он готовится снова ввергнуть нас в первобытное состояние. Удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Мне уже является во сне исполинский череп, и эти кошмары мучительны. Но что толку говорить о них? Если я расскажу тетушке, она решит, что я спятил. Что вообще может поделать такой человек, как я?

Познать действительность, приспособить свое сознание к новым масштабам? Стать «исполином духа»? Ну и выраженьице! Строить новую, могучую, стальную цивилизацию на месте старой,

гибнущей?.. Это мне-то?.. Но ведь я не так воспитан. Разве это для меня?

От таких, как я, этого нечего и ожидать.

Я готов поддержать все, что сулит людям надежду. Я всей душой за мир, за порядок, за социальную справедливость, за служение обществу и тому подобное. Но если от меня требуют, чтобы я думал!.. Но если от меня хотят, чтобы я решил, что мне делать с собой!..

Нет, это уж слишком.

В то утро я с большим трудом избавился от потока норбертовского красноречия. Я встал.

— Мне надо идти, — сказал я. — В половине первого я должен играть с тетушкой в крокет.

— Но что значит крокет, — крикнул Норберт нетерпеливо, — когда мир рушится у вас на глазах?

Он сделал такое движение, словно собирался преградить мне путь. Ему хотелось продолжать свои апокалиптические пророчества. Но я был сыт ими по горло.

Я посмотрел ему в глаза твердым, спокойным взглядом и сказал:

— А мне наплевать! Пусть мир провалится ко всем чертям. Пусть возвращается каменный век. Пусть это будет, как вы говорите, закатом цивилизации. Очень жаль, но сегодня утром я ничем не могу помочь. У меня другие дела. Что бы там ни было, но в половине первого я хоть тресни должен играть с тетушкой в крокет!

1936